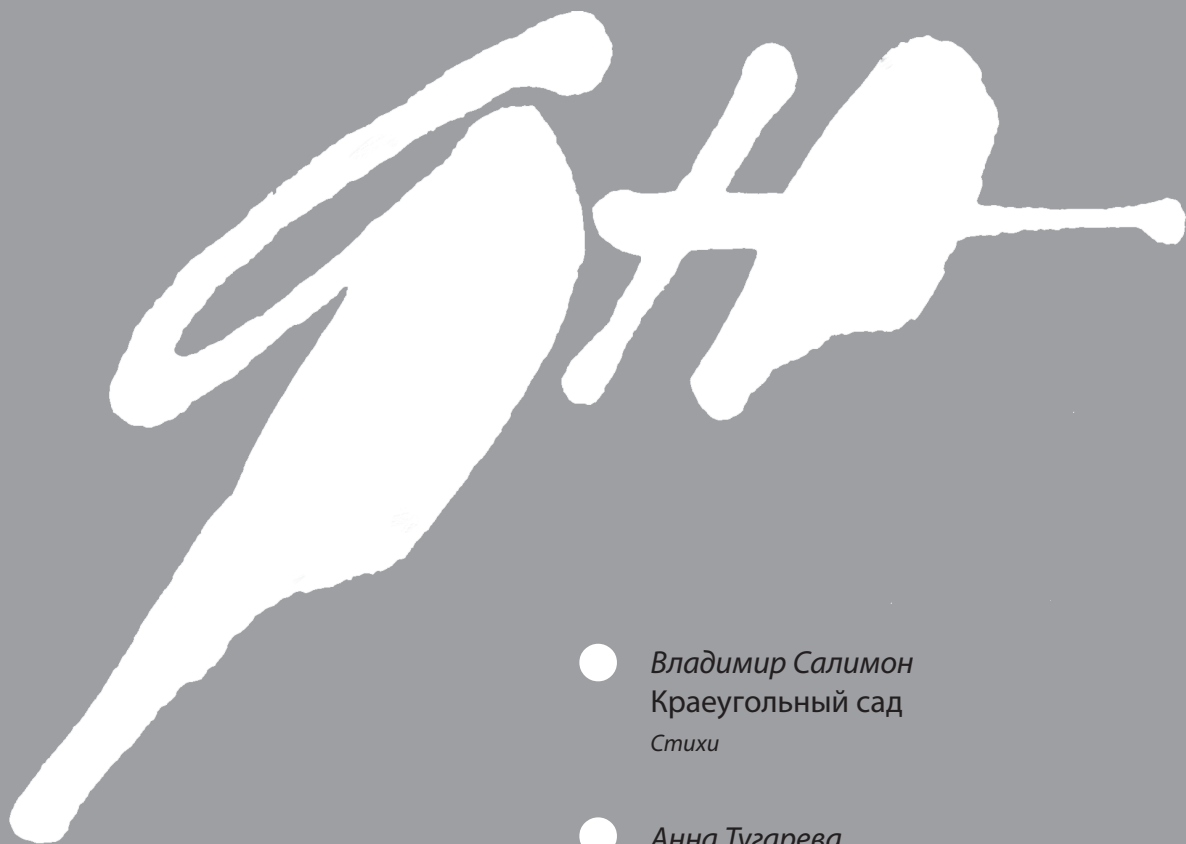


ДРУЖБА НАРОДОВ



● *Владимир Салимон*
Краеугольный сад
Стихи

● *Анна Тугарева*
Иншалла
Чеченский дневник



● «Я устал верить в себя...»
Письма Вениамина Блаженного
Г.Корину, С.Липкину, И.Лиснянской, Е.Макаровой

● *Юрий Каграманов*
На площади Бастилии больше не танцуют
Французы за пересмотр опыта «великой» революции

● Литературные итоги 2016 года
Заочный «круглый стол»

1'2017

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.11.2016.
Подписано в печать 27.12.2016.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 4636. Цена свободная.

Дружба народов 1'2017

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Зам. главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Зам. главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

Проза и поэзия

Владимир САЛИМОН. Краеугольный сад. Стихи	3
Анна ТУГАРЕВА. Иншалла. Чеченский дневник	8
Сергей ВАСИЛЬЕВ. Из последнего... Стихи	82
Владислав ГОРОДЕЦКИЙ. Рассказы	85
Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Небесное паломничество. Стихи	100
Мурад ИБРАГИМБЕКОВ. Тыко Вылка. Рассказ	104
Ло ИН. Печальные песни. Стихи. С китайского	112

Цели связи

Николай АЛЕКСАНДРОВ. Письма к Соломонову. Повесть-проект	116
«Я устал верить в себя». Письма поэта Вениамина Айзенштадта, прозванного Блаженным, Григорию Корину, Семёну Липкину, Инне Лиснянской, Елене Макаровой (1980–1992)	138
ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ	
Вениамин БЛАЖЕННЫЙ. Мне неизвестны библейские сроки... Стихи	162

Библионавтика

Ольга БАЛЛА. Точка доверия	166
----------------------------------	-----

Публицистика

Юрий КАГРАМАНОВ. На площади Бастилии больше не танцуют. Французы пересматривают опыт «великой» революции	171
---	-----

Нация и мир

Андрей РУСАКОВ. Страна разных скоростей	187
---	-----

Культурный слой

Керен КЛИМОВСКИ. Заметки фестивального путешественника. Попытка анти-травелога	218
---	-----

Критика

Писатель и читатель в мире, потерявшем будущее. Литературные итоги 2016 года. Алиса ГАНИЕВА, Александр ЕВСЮКОВ, Евгений ЕРМОЛИН, Елена ЗЕЙФЕРТ, Алёна КАРИМОВА, Павел КРЮЧКОВ, Елена САФРОНОВА, Давид ФЕЛЬДМАН, Вика ЧЕМБАРЦЕВА	234
--	-----

Эхо

Плата за русскость. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	253
Summary	256

Владимир Салимон

Краеугольный сад

* * *

Вселенную, где всё всегда течёт,
на лавочке в саду вообразил я.
Она, как сад, что к нам из года в год
всё приближает эру изобилья.

Я мысленно представил уголки,
куда и солнца луч не проникает,
как берега речного закутки,
где всяческая нечисть обитает.

Обманчива такая глухомань.
Здесь всё так зыбко, так неочевидно —
и берега граница, и та грань,
что перейти и боязно, и стыдно.

* * *

Я от жизни столько получил
впечатлений, что не нужно ездить в Прагу!
Понемножку всё, что накопил,
отдаю теперь, пером скребя бумагу.

Длинный получается рассказ,
повесть целая, роман в стихах и прозе,
речь в котором о стране, о нас,
листьях, быстро почерневших на морозе.

О любви, поскольку без неё
невозможно обойтись, по крайней мере
сердце ей принадлежит моё.
А душа моя святой открыта вере.

И не без надежды я смотрю,
как и подобает главному герою,
должно славному богатырю,
на объятую огнём и дымом Трою.

* * *

Попробуй очертить границы мира,
который представляется порой
огромным, как отцовская квартира,
казавшаяся темной и сырой.

Расставив ноги и раскинув руки,
как тот гимнаст, что в парке городском
под тяжестью железа, от натуги
едва не обмочился кипятком:

Вот он каков! —
воскликнул я победно —
Едва хватает силы удержать
мир Божий, заграбастав худо-бедно,
зажать в объятьях и не отпускать!

* * *

Благоуханный сад напоминал
пристанционный или же пришкольный,
где флоксов куст роль важную играл,
по сути дела был краеугольный.

Сиреневые мелкие цветы,
подвязанные бережно хозяйкой,
казались эталоном красоты
природы нашей милой, но не яркой.

Козлобородым ирисам они,
как и жемчужным лилиям, неровня,
а настроению нашему сродни,
особенно тревожному сегодня.

Нет радости на лицах у детей.
Тоскуют старики — всё ждут чего-то.
Сейчас. Немедля ждут дурных вестей.
И у меня не клеится работа.

* * *

Ночь после дня солнцестоянья
глуха, темна.
Пришла гроза,
покрыв от Тулы расстояние
до здешних мест за два часа.

При свете молний лица спящих
ужасно сделались бледны,
как у актёров настоящих,
что таковыми рождены.

Идёт непросто между ними
распределение ролей,
идёт борьба одних с другими
чувств, мыслей, образов, идей.

Интриги. Кляузы. Измены.
Никто не хочет уступать.
До смерти ветераны сцены
мечтают Гамлета сыграть.

* * *

На склоне лет читая Жюль Верна,
впасть в детство шанс достаточно велик,
скорее так — велик неимоверно,
когда ты стар, однако не старик.

Что может быть прекрасней возвращенья
на родину, в те дивные места,
где ощутил ты первое влечение
и ломоту чуть ниже живота.

Почувствовал немыслимую тягу
к перу, к бумаге,
страх переборов,
явил незаурядную отвагу,
попутно наломав немало дров.

Я не скажу, что родина и детство —
синонимы, но памятью о них
я прожил жизнь и передал в наследство,
потомков щедро наградив своих.

* * *

Воробушек!
Ведь вот какое слово!
Само собой катается во рту,
как камушек.
Я чувствую, что снова
красу и ясность речи обрету.

Достаточно в день три-четыре раза
воробушек вспорхнул произнести,
и эта малозначимая фраза
излечит немоту твою почти.

Она, Бог даст, тебе язык развяжет,
который, верно, одеревенел,
и слова в простоте уже не скажет,
что, будто гад морской, окаменел.

* * *

Избыток солнечного света
всю ночь таится в дебрях сада,
в настольной лампе у поэта,
в цветах, горящих ярче злата.

С лихвой энергии запасов
на освещение дорожек
хватает.
Как у папуасов,
горят глаза у диких кошек.

Для построенья коммунизма
не достает советской власти,
прекраснодушья, оптимизма,
любви, надежды, веры, страсти.

* * *

В нём есть лёгкость, нежность, детскость,
всё, что так любимо нами.
В небе нашем планер — редкость
с красновзвёздными крылами.

Вдруг невесть откуда взялся.
Утром вдруг в одно мгновенье
в небо синее поднялся,
словно высших сил творенье.

Может, он — игра природы,
может быть, воображенья,
символ подлинной свободы,
полного освобожденья.

* * *

У меня таких нет разновесов,
чтобы взвесить капельку дождя,
каплю крови, до крови порезав
палец ржавым остриём гвоздя.

До чего же маленькие гирики
нам с тобой понадобятся, чтоб
взвесить содержимое пробирки —
каждый по отдельности микроб.

Боже правый, а какие гири
быть должны, чтоб оценить числом
крайних сил соотношение в мире,
в вековой борьбе добра со злом!

* * *

Родители приснились мне к дождю.
Такая вот случилась неприятность.
А день был жарким, ясным и нулю
в Москве дождя равнялась вероятность.

Должно быть, сон свой я истолковал
неверно в корне, чересчур банально,
а он был тоньше, он лишь намекал,
лишь только выражался фигурально.

Отбросить напрочь версию дождя
мне нужно было с самого начала,
поскольку только два-три дня спустя
бюро погоды дождь нам обещало.

А скрытый смысл явившихся во сне
родителей моих был очевиден,
они всегда спешат на помощь мне,
спасти меня от чар ужасных злыдень —

Тоски, уныния, докуки наконец.
Забавно семят по-стариковски:
мать впереди, чуть позади отец,
догнать стараясь мальчика в матроске.

Анна Тугарева

Иншалла¹

Чеченский дневник

Жизнь пролетела, как в ярости захлопнутая дверь.
Столетний горец

Сирота

Не презирайте слабого детеныша. Им может оказаться
детеныш льва.

Хаджи Рахим аль Багдади²

Ветер идет стеной. Что унесло — то пропало. Догонять
нельзя — поднимет тебя вместе с ветром, песком
засыплет. Искать негде. Всё.

Один люли

Они потеряли меня, эти люли. Есть такой народ в Средней Азии. Их всегда можно найти в туркменской степи, где еще нет снега. Если, конечно, поторопиться, пока ветер не поднял их пестрые юбки, юрты, тюрбаны, чтобы дать им осесть в безымянных песках, где снега уже не будет.

Почему-то я должен был дни и ночи шагать с этими исполинами пеших дорог. Наверное, чтоб неокрепшие детские стопы мои навсегда впитали кочевье как прививку. Старики говорили, люли не имеет ничего позади себя. Он везде чужой. Одиноким отшельником без родины и флага. Скиталец. Так я узнал, что я люли. Мне было неизвестно, где и когда я родился. Запомнили, кукуруза была уже желтой — а это от августа до февраля. Кукурузы же в Азии было много — где именно пожелтела моя, не мог бы сказать теперь никто. Страна праздновала что-то очень советское, выпустили тогда же новый железный рубль — я отличал его от остальных, как своего близнеца. Матери своей я не помню. Слышал от кого-то, что зарыть ее пришлось с одним открытым глазом — никак не могли

Анна Альбертовна Тугарева родилась в 1970 году. Окончила ЕГТИ по специальности «актер театра драмы и кино», мастерская В.И.Анисимова (2002), а также СПбГУКиТ, факультет экранных искусств, сценарное отделение, мастерская Ю.Н.Клепикова (2010). Работала в театрах Петропавловска-Камчатского, Армавира, Омска, Новосибирска, Екатеринбурга. Автор киносценария «Письма к жене» («Искусство кино» № 6, 2013 г.), монопьесы «Натурщица» («Знамя», № 7, 2014). Живет в Санкт-Петербурге. В «ДН» печатается впервые.

¹ Ин ша алла (*араб.*) — если пожелает Аллах.

² Хаджи Рахим аль Багдади — дервиш и ученый, летописец Чингисхана.

опустить веко. Уходя, она оставила после себя детей, младшим из которых был я. С тех пор я знал — мать приглядывает за мной, только очень тихо. И от этого становилось покойно и тепло на душе. Зато меня никогда не трепали по пустякам, как доставалось соседским мальчишкам от их шумных матерей, докучных теток и ворчливых старух. Правда, иногда меня ругали на незнакомом языке. Я не мог бы перевести ни слова, но почему-то был уверен, что все понимаю. Так я узнал, что, наверное, не совсем люли. Говорили, что где-то на Кавказе у меня есть отец. Женщины цокали языками и закатывали глаза, когда вспоминали о нем. Но тут же разговор уходил о других его женах и множестве их спиногрызов, лишним из которых был я. Это все, что было известно. Но даже не знай о себе и того или же знай в точности все по часам, я не сумел бы распорядиться своей судьбой иначе — кровь рода произвольно двигала каждым моим шагом.

Иногда мне везло, и тогда я мог целый день покачиваться между верблюжьими горбами, ухватившись за жесткую шерсть. А пока меня долго вели за руку, не очень-то считаясь с моим ростом, и от этого больно тянуло под мышкой. Из одежды на мне были майка и трусы. Круглый год. Не удивлюсь, если в этом костюме я появился на свет — с неизменными двумя дырками на заднице от многократного присаживания где ни попадя. Перед глазами рябило от мелькающих ног людей, верблюдов, ослов. Скрипели повозки. Сквозь всю суету перехода я выхватил обрывок разговора.

— Надо что-то делать с нашим рыжим, а то на границе могут возникнуть проблемы. Там много урусов. Начнут донимать, откуда у вас светленький.

Я догадался, что разговор обо мне, но не придал ему значения. Туркменское солнце морило голову и жгло пятки. Как созревший орех, от жара лопался с треском камень.

Пустынные бури всегда надувают целые барханы песчаной пыли. Она собирается повсюду в соблазнительные рыжеватые бугорки, образуя целые острова на зыбучей глади песка, — до свежих ветров. Я заметил, если с размаху топнуть по самой макушке такой пыльной горки, она с легким хлопком рассыпается фонтаном, засыпав тебе ногу теплым и мягким. Я давно уже задумал при первой возможности высвободить руку, чтобы непременно взорвать каждый манящий вулкан из тех, что мы непростительно оставляли в стороне. Смутно помню, что мне показали вдалеке какие-то подвижные точки, сказали, что там мои братья и разжали пальцы. В мгновение ока я оказался предоставлен себе. «Пыщ, пыщ, пыщъъ» — разлетались из-под моей ярой ступни брызги пыли. «Пыщ! Тыщц! Ты-дыщ-тыщ! Бдыщццц!» Каждая новая горсть пыли под ногами становилась целью на поражение, а легкость победы увлекала завоевателя все дальше и дальше. Не представляю, сколько вражеских точек мне удалось подорвать, прежде чем я остолбенел перед собственной тенью. Ноги моего двойника-великана вытянулись к горизонту. Я вздрогнул и только теперь вспомнил о крепкой надежной руке, волочившей меня через пустыню, едва не отрывая моих ног от земли. Вокруг не было ни души. Солнце за моей спиной стремительно утекало в пески. Я побежал в ту сторону, куда, мне казалось, ушли люли. Затем в другую, где оставались братья. Я кричал и плакал. Мне никто не ответил. Волной вечернего ветра подхватило невесомое облако верблюжьей колючки и с легким шорохом уносило от глаз. А вот и оно исчезло в золотистых складках пустыни.

— А-ха-ха-хаха, аха-хаха-ха.... — высоко над головой прохотала стая журавлей, и все стихло. Пески поглотили все звуки. Жуть обняла меня. Я знал, что должен идти, и знал также, что волен идти в любую сторону — но и трижды повернув обратно, я не был уверен, что приду куда-нибудь. Так я узнал, что и свободы бывает слишком много.

Я опух от слез и выдохся от крика. Страх кончился. Подступила усталость. Воздух стремительно остывал. Ребристые дюны темнели, сглаживая острые тени. Разумная часть моего существа требовала позаботиться о ночлеге. Почему-то я знал, что согретая за день пыль не успеет остыть до утра. Поспешно и деловито я нагреб из нее внушительный холм себе по росту в твердом убеждении, что эта постель сумеет защитить меня от ночной стужи. С проворством зверька я забрался в ее мягкую нежную утробу. Было тепло и уютно. Мать приглядывала одним глазом, а значит, можно было спокойно спать, подложив локоть под ухо. Но, засыпая, я знал, что никогда больше не захочу быть маленьким.

Один мусульманин пришел к своей угасающей матери и спросил:

— Чем окупить могу все, что ты сделала для меня, матушка? Чем оплачу животворное молоко твое, бессонные ночи и проплаканные глаза?

— У меня есть давняя мечта, — отвечала мать. — Дни мои сочтены, а я никогда не была на Хадже. Возьми меня на плечо и ступай в Мекку. Да поможет тебе Аллах!

Добродетельный сын повиновался. За девять месяцев до Хаджа он посадил на плечо свою матушку и отправился на Святое Место. Дорога легла сквозь стиснутые зубы и пропиталась соленым потом. Волею Всемогущего остались позади пустыни и горы, ожоги морозов и зноя, секущие ветры и жало скорпиона. И когда, наконец, сын опустил перед Каабой иссохшее тело матери, он осмелился заговорить:

— Ну, теперь ты, матушка, довольна?

— И часа не окупил ты, сынок, из тех девяти месяцев, что я носила тебя под сердцем.

Мне всегда казалось, что на всей круглой земле один я знаю цену этим словам.

Проснулся я взрослым.

... И еще не открыв глаз, знал, что на меня смотрят. Шагах в десяти от меня фыркнула лошадь. Сквозь ресницы я разглядел угрожающе-гигантские копыта. Они то и дело выбивали из песка пыль и все же не трогались с места. Хотелось окончательно проснуться, но шелохнуться я пока не отваживался. Тут конь над моей головой ржанул что есть мочи и встал на дыбы. Мигом разлепились глаза, я поднял голову, отплевываясь от пыли, и стал вылезать из своего ночного убежища. Только теперь я заметил наездника, едва смиравшего взволнованного своего скакуна. В седле был немолодой киргиз с глазами, слезящимися от песчаных ветров. Тревожно разглядывая меня в упор, он шептал молитву. В глазах его играл неподдельный страх. Напряженно и громко он о чем-то спросил меня на своем языке — я сумел разобрать слово «шайтан». Немудрено, что оба они приняли меня за маленького шайтана — пыль покрыла меня «шерстью» от пяток до ушей. Киргиз спешился, но все еще не торопился подойти. Он повторил свой вопрос, уже спокойней и мягче. Я не отвечал ни звуком. Тогда осмелела лошадь и с любопытством двинулась навстречу, похоже, признав во

мне человеческое существо. Я в ужасе замер, наблюдая, как огромное животное склонило гнедую морду, чтобы обнюхать меня. Я чувствовал щекой жаркий выдох мощных влажных ноздрей. Несколько раз кобылица лизнула мою колючую макушку и, храпнув напоследок, отошла в сторону, потеряв ко мне всякий интерес. Киргиз догадался предложить мне воды. Я сделал из фляжки глоток и закашлялся — пересохшее горло не верило живительной влаге. Мужчина подбодрил меня, уговаривая глотать не жалея. Я выпил всю его воду. Он посадил меня в седло впереди себя, и мы двинулись в путь. Всю дорогу всадник тщетно пытался разговорить меня. Я не понимал ни слова, чувствовал себя виноватым, шелковистая грива хлестала в лицо — и от этого плакать хотелось еще сильнее. Вскоре россыпью утлых кибиток показался кишлак. Меня подстерегали новые испытания. На лошадином загорбке я был доставлен к бедному жилищу, откуда вытекла гурьба ребятишек и где должна была решиться моя судьба. Не похоже было, чтобы хозяйка обрадовалась моему появлению. С нескрываемой досадой она разглядывала подкидыша как неугодную вещь и говорила все громче и напористее. Раздражение женщины росло тем сильнее, чем спокойнее и тверже отвечал ей немногословный муж. Металл в ее голосе явно говорил в пользу того, что киргиз тащит в дом всякую нечисть и что-де прокормить бы своих. При этом она хватала за шиворот рассыпавшихся отпрысков, как бы желая напомнить недотепному отцу о голодном желудке каждого из них. В довершение мысли она звонко ударила ногой по пустому kazanу, выставленному на солнце для просушки. Казан отгудел, и все стихло. Я зажмурился и желал одного, чтобы мне было отказано в приюте. Но киргиз, видимо, стоял на своем. Он положил мне руку на голову и снова спросил о чем-то, заглядывая в глаза.

— Да нет. Смотри, он рыжий. Ты русский, что ли? — Спросила вдруг женщина на русском.

Я насупился еще сильнее.

— Какой он русский... А хотя... На туркмена ты не похож, — глухо пробормотал киргиз на туркменском — и вдруг все скопившиеся от страха и горя слова тесниной пошли из моего горла. Я говорил и плакал о караване, о пыльных кочках, о том, что солнце садилось, а люлей нигде не было, что было темно и страшно, что они, наверное, ищут теперь меня, а я потерялся, но я их обязательно догоню, вот только разузнать бы, куда они ушли так быстро... Женщина мигом нырнула в юрту и вернулась с лепешкой и влажными глазами. Я съел лепешку. Прямо у юрты развели огонь и согрели воды, чтобы отмыть меня. Горячую воду с пузырьками тут же разбавляли холодной и из ковшика поливали мне на голову.

— Паспорт мой хорошенько, — подсказывал киргиз и бросал через плечо жене:

— Ты говоришь, русский. Ты что не видишь, у мальчишки буян обрезанный.

Сюнет¹... Знакомые слова мягко ложились на слух. Вода нежно лилась по спине, струилась по лицу, щекотала уши, закрывала глаза... Когда меня обтирали насухо, я уже спал.

Мне объяснили, что караван мой ушел на Памир пережидать зиму и запастись мясом, что мне его не догнать и что лучшим для меня будет остаться

¹ Обрезание.

пока здесь, в семействе Алиш и Айи, вместе с другими детьми приносить мелкую пользу по хозяйству. С утра же меня снарядили в школу, облачив в старые одежды моих новых братьев. Школа не прижилась ко мне. Я с радостью бы принял ее, даром что ни бельмеса не догонял на киргизском. Да и сама утренняя дорога туда до бровей наполняла тебя важностью взрослого человека. Загвоздка оказалась в возвращении оттуда. Пока мы все вместе — трое моих братьев и сестра, кто старше, кто младше, вываливались из школы — играя, дразня, обгоняя друг друга, все было прекрасно. Но стоило нам, вернувшись домой, сбросить башмаки на пороге, как дети Алиш и Айи с визгом повисали на шее у матери, а та каждого прижимала к груди и целовала в макушку. Я уводил глаза и оставался в стороне от обыденного праздника чужой любви. Айя замечала это, подходила с улыбкой сама и приобнимала меня за плечи — но я чувал, что посторонний, что к телу не прилипаю. Меня она обнимала не так, как своих детей, — иначе. И когда в одно не прекрасное утро местный бабай выкрикнул мне в лицо «Э, сен джетым!»¹, мне стало ясно, что руки киргизской матери, так безыскусно и просто любившие своих детей, едва коснувшись моей головы, способны были только жалеть сироту... Так я узнал, что я джетым. Теперь для каждого утра у меня появилась новая забота: я собирал камни — много камней — и, сидя в засаде, подстерегал обидчика на пути в школу. Я не завидовал ему. Меня обуревала жажда мести. Но точно кто-то вполглаза подглядывал за мною, мешая всецело, сочно отдаться ярости — ведь каждого из камней могло быть достаточно, чтобы стать последним. Я почему-то знал, что камень должен лететь низко — тогда меня накажут, но не сильно. Я не давал себе труда задуматься, на что способен камень, летящий высоко, — всем телом я ощущал опасность этой мысли и безупречно целил по ногам.

— На! Держи!! Поймай!!!

До последней гранаты держал я осаду, пока не обращал ничтожного в презренное бегство. Он кричал и падал, поднимался снова и, размазывая по лицу грязь, покидал поле битвы, грозно обещая расплату. Мне пришлось понимать по-киргизски. В другой раз он появлялся в окружении своих бабаёв². Снарядов у меня хватало на всех. С раннего утра я собирал тяжелые камни, рассовывая их по карманам, — так что если приходилось бежать, атакуя противника или же временно отступая, то одной рукой я должен был придерживать за резинку свои каменные штаны, иначе рисковал показаться врагу с голым задом. Борьба требовала затрат, порядком изнуряла, истощала силы, но с неколебимостью воина каждое утро, обложившись камнями, я терпеливо выжидал гяура снова и снова, пока однажды он не появился со старшим братом. Завидев меня издали, мой обидчик попятился. Я прицелился, но брат успел сделать предупреждающий знак рукой. Мишень моя пригнула голову и побежала прочь, петляя на ходу. Я знал, что камень догонит его и присел для точного броска по ногам.

— Стой ты, э!.. — брат смело зашагал в мою сторону. Камень в руке застыл. Ярость моя не имела власти над братом.

— Вот красавчик, вот молоток, — заговаривал тот меня осторожно, как строптивного верблюда, чтобы я как-нибудь не передумал.

— Ты зачем брата моего гоняешь, а, мелкий? — спросил он, подходя

¹ Эй ты, сирота!

² Бабаи — здесь и далее, азиаты (разг.)

ближе. — Ну, давай, не тяни, вали как есть, да разбежимся, у меня физика началась-ты. Я тебя не трону. Так за что?..

— Он меня сиротой обзывал.

Брат помолчал. Я выронил камень.

Идем, вдруг говорит.

— Куда?

— Идем со мной, не бойся.

Я не боялся. Он привел меня к себе и хотел, чтобы я вошел, но я никак не давал себя уговорить, и, махнув рукой, он оставил меня стоять у входа. Тут же под навесом оказалась голубоватая машина с выпученными фонарями по бокам. Мне приходилось наблюдать издали, как величаво проплывает она сквозь наш убогий кишлак, исчезая в облаке пыли. Теперь же она сверкала рядом и казалась доступной, как дремлющее животное в стойле. С передней крышки прямо мне в руки выпрыгивал серебристый олень, гордо выпятив грудь. Я потянулся к его рогам проверить, прочно ли они сидят, как за спиной заблеял баран. Я вздрогнул и оглянулся — барана нигде не было. Зато я увидел позади себя стену спелого винограда. Тугие гроздья теснили друг друга. Ягоды были огромными и прозрачными. Кисти свисали тяжело, как недоеное вымя. Я до того загляделся, что успел позабыть, зачем я здесь.

— Возьми, сколько сможешь съесть, — услышал я собственными ушами, как сказал виноградник. Прошло какое-то время, прежде чем я осмелел и подошел поближе. Сквозь витые виноградные прутья на меня смотрели древние глазные щели. По ту сторону густых зарослей, в тени виноградной лозы сидела старуха-киргизка и просеивала муку. Я вдруг ощутил, что передо мною то, что было всегда и никогда не могло быть иначе. Эта почтенная старая птица никогда не была молодой, но всегда сидела именно здесь, в резной тени винограда и, просеивая муку, в белом облаке пыли, дарила встречных сладкими ягодами, а заодно мудрым советом:

— Возьми, сколько сможешь съесть.

Я надолго запомнил эти слова. Уже своим детским чутьем я знал, что весят они больше, чем весь виноград разом. Я отщипнул ягоду, чарующую, как кошачий глаз, и посмотрел через нее на солнце — крупные зерна бусинами заиграли внутри. Виноградина с треском лопнула у меня на зубах, вырвавшись из рта стремительной струйкой сока. Брызнула слюна. Захрустели косточки. Я отправлял в рот ягоду за ягодой, обливаясь пьянящим виноградным сиропом. Я уговаривал себя, что эта ягода уж точно последняя — и тут же оправдывался тем, что могу съесть еще одну. Мои липкие пальцы разжались только тогда, когда я устал жевать. Старуха улыбалась, не прерывая сева. Брат терпеливо стоял на пороге дома, не смея потревожить меня раньше срока. В руках он держал горсти конфет, настоящих, шоколадных, которых я не видал прежде.

— На, держи, — стал он рассовывать их по моим вытянутым карманам. Я пытался противиться, но не мог шевелиться: подбородок и майка были пропитаны виноградным нектаром, и, стоя с растопыренными клейкими пальцами, я чувствовал себя засахаренным истуканом, не способным к сопротивлению.

— Вот, ешь. А своему я уши надеру еще, ты не думай. Заходи — дорогу знаешь.

Снова заблеял баран и с целым шумным семейством вышел проводить

меня. Скоро у меня начались рези в животе — и задним умом я догадался, что винограда во мне оказалось все-таки больше, чем я мог съесть...

Так шли мои дни. Меня переобули, заменив прежние коцы другими, снятыми с брата постарше, которого, в свой черед, переобули точно таким же образом. Так невзначай намекало о себе время. Случалось, над кишлаком тучей зависала угроза. Слух доносил, что идут люли. Тогда детям строго приказывали прятаться по домам.

— А то люли заберут вас.

До последней курицы пересчитывали киргизы свое хозяйство. Кишлак вымирал на время. Даже собаки затихали. Я один выбегал наружу, жадно всасывая пустоту улиц. Я старался не думать о том, что люли избавились от меня, чтобы забыть обо мне навсегда. Я искал их, как на чужбине ищут своих. Я ждал их отовсюду, откуда только дул ветер. Но люли проходили стороной.

И было утро, когда я проснулся раньше обыкновенного. В глубине юрты тихо, чтобы не разбудить детей, Алиш и Айя переговаривались о чем-то. Я не слышал их слов, но с уверенностью мог бы сказать, что разговор шел обо мне. От этого-то я и проснулся. Пищу готовили в то утро почему-то особенную, праздничную. Запах стряпни растекался от очага все настойчивее и гуще, радостно проникая во все щели, даже под одеяло. Наконец я стал разбирать некоторые обрывки речи, в которой не было ничего необычного, если бы не слово *чечен*, которое неоднократно врезалось в разговор. Непрошеным гостем оно толкалось в уши, врывалось в грудь и оседало на дне сердца как обещание подарка. Почему-то это неясное слово внушало и приятную тревогу, и долгожданный покой. Я пробовал его на вкус, смаковал, мял губами, сглатывал и выщептывал снова — по звуку выходило, будто я заговорщик. Я не спешил открывать глаза — боялся спугнуть чувство торжества и тайны, от которого бабочки в животе тихо шевелили крыльями. Мерно заскребла у порога метла — Айя выметала сор, что отменяло последние сомнения в моих догадках. Я лежал в ожидании какого-нибудь внятного знака, пинка, после которого наступит ясность и ответы придут сами собой. И вдруг, не дождавшись ни того, ни другого, вскочил на ноги и через минуту уже стоял на пустыре и смотрел вглубь дороги, откуда приходило все новое. Я не знал, сколько мне придется стоять, прищурив от солнца глаза, но ни одна сила на свете не могла бы сдвинуть меня с этого места, пока...

...Пока в сизом мареве горячего воздуха, на кривой разбитой дороге, в самом хвосте этой неподвижной мурой змеи не появилась движущаяся точка. И по мере того, как она росла, приближаясь, увеличивалось в размерах мое сердце, все труднее помещаясь в грудной клетке. Я упустил момент, когда ноги мои оторвались от земли. Заметил уже на бегу, и то потому, что забыл обуться, а дорога была каменистой. Точка становилась пятном, пятно — незнакомцем, который тоже как будто прибавил шагу. Я видел этого человека впервые, но знал его, кажется, всегда. Растопыренными локтями он прижимал к телу две огромные дыни. В руках, на плечах — ноша. В жилах моих клекотало, толкалось и прыгало, выскакивая наружу.

Я развил скорость ветра.

Я плакал, размазывая над губой юшку.

Я рухнул, не добежав пяти шагов до его башмаков.

Это потом мне стало известно, что отец искал меня...

Ветром донесло до него, что осенним кочевьем люли потеряли меня где-то в киргизских песках. В гневе он готов был истребить все племя разом, но оставил несчастных на волю Всевышнего и объявил всесоюзный розыск. Около года искали по Средней Азии бесхозного мальчика с приметам, слишком размытыми для скорого результата, поскольку отец знал обо мне немногим больше, чем я о нем. И только теперь, когда я слышал над головой взволнованный голос, не предлагавший ни одной знакомой буквы, оба мы имели все признаки, по которым безошибочно кровь призывает свое.

Так я узнал, что я чечен.

Пока отец благодарил мою киргизскую семью, я собрал на прощанье пацанов и прямо на траве делил с ними персики, халву, сахарную дыню вприкуску с лепешкой — все, что приехало в отцовской сумке. Бабаи сидели, понурившись, и редко поднимали глаза. Сколько камней я на них перевел, как не убил никого... А теперь они глотали молча кавказские лакомства и не хотели, чтобы я уезжал, есть же...

Уже следующим утром, всей пятерней ухватившись за отцовский палец, я поднимался по белой крутой лестнице. Я видел собственными глазами, как она подъехала на колесах к чудовищно длинной машине, больше похожей на акулу — с распахнутыми плавниками и высоко поднятым хвостом. Откуда-то громко заговорила женщина-невидимка. С металлическим треском в голосе она повторяла, что началась посадка на ТУ-134 и что-то еще важное, чего нельзя было разобрать из-за нарастающего гула вокруг. Конечно, я не раз видел, как маленький беззвучный червячок оставляет молочно-белый хвост высоко в небе. Взрослые указывали вверх пальцем и говорили, что это самолет, только он далеко. Но никто не предупредил меня, что самолет, который близко, имеет такое громадное туловище, острую морду и к тому же так громко рычит. Я с опаской нырнул в его открытый зев и уткнулся лбом в круглое окошко. Всем телом я задрожал вместе с ожившей машиной.

— У-у-у-у-у... — затрепетало мое нутро. Затем что-то оборвалось в животе.

— Не бо-о-о-о-ой-ся... — низко прогудело прямо в оглохшие уши — и я поравнялся с пуховым облаком. Когда я осмелился посмотреть вниз, то увидел огромный синий застывший лоскут с рваными краями. Я еще не знал, что это море. Отец смотрел мне в затылок. Одним глазком заглядывала с облака мать. Я чувствовал себя в безопасности. Я спал. Губы мои улыбались. Так начиналась моя новая жизнь.

12.01.2015

Отец

Отец всегда говорил мне: веди дневник.

Я ни разу не записал ни строчки. Дурак был.

Один чечен

Она была единственной женщиной, чьими поцелуями я не брезговал, даже если они оставляли на щеках мокрое. Отсюда начиналась моя память. Узбечка с косой под платком, Урусалат Ханая. Я запомнил ее сильные руки и густой раскатистый смех. Я мог убежать, вырываться, даже плакать — Урусалат была большая и всякий раз настигала меня в полтора прыжка пантеры, чтобы,

вскинув на руки, прижать к пышной мягкой груди и затискать, замять, заласкать.

— Ты мой вкусный хлеб! — Чмокала она мое лицо, уши, макушку — без разбора, ясно давая понять, что и крошки невкусной у хлеба не бывает. Эта женщина помнила моих родителей. Она не говорила об этом вслух, но как только я замечал ее даже издали, почему-то чувствовал где-то рядом их обоих, мать и отца. Урусалат встречала меня так, будто я был единственным счастьем ее жизни, хотя сама растила четверых сыновей. Они были моими ангелами-заступниками. Они же и научили меня защищать себя камнем, если во время беды никого из них почему-то не окажется рядом, а потом они обязательно разберутся.

Я всегда немного опасался, что в один день запас ее женской щедрости закончится на мне — но радость Урусалат была неиссякаема. Иногда мимоходом она уносила меня в дом, чтобы играючи вымыть в тазу и, накормив чем-нибудь вкусным, отпустить на свободу. Я убежал, как из заточения, вырвавшись из ее крепких любящих рук. Это входило в условия игры. Но всегда возвращался. Я знал, что при любой погоде, при самых неотложных заботах услышу восторженный всплеск:

— Ах, ты мой вкусный хлеб!..

А теперь я смотрел в глаза женщин — и в один голос они говорили: не-не, другой живот тебя таскал, здесь его нет. Слезы набегали на глаза, и я покрепче цеплялся за отцовскую ногу, которая казалась единственной и последней опорой. Кавказские жены были страшно недовольны находкой отца и напрямую советовали ему отказаться от азиатского рта. Старшую из них, язык которой посмел озвучить эту общую волю, он избил ногами — взял грех на душу. Потом собрал меня и увез в Туркменистан.

Впервые отец оказался там лет пятнадцати. Тогда, в 44-м, вместе с родителями он делил участь полумиллиона единокровников, насильно лишенных родины. Отцу крепко запомнилось это время: немецкую фуражку боишься — он тебе конфету сует, а ванию как будешь бояться — свой же он. А вания гранату в дом бросает — и так заходит.

— Как дела? Два часа у вас. Собирайтесь. Теплушки ждут.

Плотняком набили, кто шевелился, — и в Среднюю Азию, почти без остановок. Так только, чтобы трупы вынести да иногда воды людям плеснуть в лохань. «За пособничество фашистским оккупантам» — это для газеты. Но свои знали — Коба сводит с чеченами кавказские счета. Азиатов пугали — людоедов везут. Те верили и обмирали. Потом присмотрелись — просто ярые мусульмане, непокорные серые волки. Женщины присмотрелись раньше других. Много воды утекло в Терек, пока горячие пески Чарджоу принимали в свое лоно чеченское семя. Только в 57-м, когда страна простила своих горных сынов и разрешила возвращение, отец увез в Грозный своих стариков, но продолжал жить на две стороны. К тому времени, как я появился на свет, он имел два высших образования, уважаемую специальность, поперечные морщины на лбу и тучу детей от нескольких жен — в Туркменистане и на Кавказе. Мусульмане говорят: один сын — нету сына, два сына — полсына, три сына — есть сын. Я был семнадцатым сыном джихангира¹. Не последним. Никого из нас отец не обделил

¹ Джихангир — господин, повелитель. В мусульманском обиходе глава семейства.

вниманием, но ни один не принес ему так много седины и боли, как я. Все его сыновья были при матерях. Я один вырос на колготках у братьев. Вам меня не понять, и мне вам не объяснить. Это чувствовал только мой суровый отец. Ни одно горе на свете не было для него поводом плакать. Чеченцу это не подобает. Все отпущенные ему слезы он пролил на мою голову.

— Я приеду еще, боцман. Привезу подарок.

Я сразу почувствовал спиной облезлую штукатурку сарая, холодную даже при азиатском солнце. Я не мог говорить. В первый раз тогда мне отказал язык. Я только пяtilся от этих слов все дальше и дальше, как будто от них можно было спастись бегством. Я нащупал спиной курятник и пересчитывал позвоночником ржавые прутья. Заревел движок, и ГАЗ-24 с шашечками на капоте надолго разлучил меня с самым родным человеком на свете.

Меня уже изрядно тронула седина, а я все еще стою там, спиной у обвисшей рабицы, где раз и навсегда сломан был мой мотор. Сломан как — нет-нет перебирать надо. А с каждой новой починкой он начинает потреблять больше бензина, даже если кажется, что работает лучше. Отец возникал в моей жизни так же внезапно и ошеломляюще, как исчезал. Я никогда не умел подготовиться, как плохой боксер к хорошему апперкоту. Расставания с ним я переживал с той же остротой и силой, с какой боялся его глаз. Взглянет — мокрая тряпка вспыхнет. Я ждал его, как непозволительно ждать человека. Однажды я здорово поплатился за это.

Есть на руке такой крепеж, на котором держится пятерня. Вот это хрящеватое место — запястьем называется — с тех пор лучше всего запомнила моя детская спина. Стоило мне сблизиться с кем-то из местной шпаны и, заигравшись, ступить на его территорию, как тотчас появлялась мамаша, чтобы дружку моему срочно пора было в дом: или набивать брюхо, или учить уроки, или помогать с младшими, или играть на дудке, или тупо ложиться спать. Мне же, непонятливому, между лопаток приходился знакомый тычок тем самым запястьем, которое лучше всяких слов говорило:

«Уходи. Не мешай. Ты сирота. Ты беспризорный. Ты моего сына плохому научишь».

Так я узнал, что я чужак.

С таким багажом начинаешь видеть все по-другому. И когда курица впервые цыпляет своих к общей кормушке выводит, где зерна навалом, на весь курятник, но стоит одному маленькому, желтенькому, неотлично такому же, но отбившемуся от другой матери, клюнуть зернышко, ты один замечаешь, как ястребом налетает отгонять его разъяренная несущка. С тех пор в каждой женщине я боялся угадать курицу.

Школа никогда не умела приручить во мне ощерившегося волчонка, потерявшего стаю. Вздрыбленной шерстью я защищал свою обособленность в любом хоре. Даже если хор отправлялся на бесплатный обед за молочно-рисовой кашей, я выбивался из шеренги и не завидовал никому, кто бы в этот момент вздумал взять меня за руку. От одного вида расчески я всегда чухал галопом. Прилизать, приладить, пригладить меня как надо было нельзя.

— Ишь какой выискался! — говорила завуч. Я не понимал этого слова, но почему-то мне было неприятно. Я не хотел, чтоб это было обо мне и бил стекла директорской.

— Спелый огурец, — говорили обо мне старики.

— Он созрел раньше времени. У него не было выбора.

У меня не было выбора. Время торопило меня поскорее примерить шкуру взрослого волка, чей инстинкт выживания неминуемо приводил на тропу охоты.

Я успел заметить, что люди очень отличаются друг от друга. Это легко было обнаружить хотя бы по тому, как по-разному наша училка разговаривала с учениками в одинаковой форме. Тогда я стал обращать внимание на их родителей, которые по-разному разговаривали с нашей училкой, и очень быстро догадался о чем-то таком, что делало эту разницу ощутимой. Этим «что-то» оказались деньги. Они меняли людям голос, походку, осанку, взгляд — не только одежду и завтрак в портфеле. Невидимо они предлагали своему владельцу какие-то особые права, вроде пропуска в военный санаторий. И несмотря на всеобщее равенство и братство, похоже, они одни и дарили уверенность в завтрашнем дне. Но пока было неизвестно, каким способом эти всемогущие бумаги достаются взрослым, я должен был получить их другим путем.

Первой своей жертвой я выбрал круглолицего сына туркменского бая.

— Деньги есть? — Не виляя, приступил я к делу, преградив ему дорогу из школы.

— Вот. Два десюлика, четыре пятака. Сорок копеек. Хватит?

— Все что ли?

— Шас... — Чуть помявшись, маленький бай вытряхнул из ранца школьную свою дребедень. Со дна тяжело выкатился железный рубль.

— Юбилейный, — с гордостью протянул он монету.

— А, 50 лет Октября... Мой однолетка. Годится.

На лицевой стороне рубля Ильич прямо указывал путь к светлому будущему. Нам это подходило.

— Пойдем. — Я помог ему застегнуть плотный ранец.

— Куда?

— В кино. Мультики любишь? «Ну, погоди!»

— А домой? — Он уже бежал за мной следом.

— Домой не успеешь, что ли?

На ходу мы съели по пломбиру, выпили лимонаду за три копейки — настроение набирало обороты. Мультиков уже не было, зато мы посмотрели про золото Маккенны, а на обратном пути заглянули в чайхану и от пуза накачались дымящимся лагманом. Маленький бай был мой.

— Завтра деньги бумажные цепляй — в зоопарк пойдем. Отцу скажешь — смотри, не жалуйся.

— Не-не, принесу. Я знаю, где брать.

Ташить меня на аркане в школу не сулило моим братьям ни радости, ни славы. Зато пренебречь этой повинностью гарантировало при случае молчание отца, холодное и опасное, как булат горца. А потому старшие договаривались, как разделить между собой неизбежную обузу, чтоб никому не обидно было. И каждый в очередь находил свои ухищрения, чтобы сдвинуть с места упрямого ишака, каким я становился всякое утро, когда касалось школы. Один готов был купить мне по пути семечек, другой обещал прокатить на своем велосипеде, старший же убеждал, что я должен хотя бы научиться считать до десяти. И не сговариваясь, мы поддерживали игру в строптивого осла и терпеливых пастухов, в чьи обязанности входила доставка меня до школы. В школе же мы разбегались

по классам, и на этом воля моих проводников теряла силу. Книжному знанию я предпочитал то образование, в котором нуждался мой охотничий нюх.

— Принес? — спросил я подбежавшего после уроков ручного бая.

— Принес! — Чуть не завилял тот хвостом. Доверчиво, радостно он протянул новенькую режущую купюру, большую и зеленую. На ней тоже красовалась лысина Ильича. Я никогда не держал раньше таких денег, и о том, что это не просто деньги, а деньги большие, я сумел догадаться только по разряду тока, шарахнувшего мне в ладонь. Машинально зыркнув по сторонам, я немедленно перепрятал вождя в свой карман, дважды проверив, не там ли сифонит дырка. Сердце мое колотилось, как после футбола. Что-то подсказывало, что бумага потребует хитрости и даже опасности, прежде чем даст себя выдоить. Это не железный рубль в чайхане. Это...

Сообщника я оставил стоять у булочной, на случай бегства.

— Тетенька, отец просил передать, что нужна булка белого и много мелких. Во-он он, на углу, знакомого встретил.

Продавщица потрепала полтинник на ощупь, посмотрела на просвет окна, а затем ловкими шуршащими движениями отсчитала сдачу и вместе с горой мелочи протянула мне батон. Я вынырнул из магазина, как из пожара за миг до обвала крыши. В этот день мы никуда не пошли — слишком рискованно было таскать на себе столько денег, что ими хватило бы украсить новогоднюю елку. Главное, что сработало. Я знал, где берут деньги и что с ними делать. Оставалось придумать, где их следует прятать. Мысль работала лихорадочно, но безотказно. Я надломил пополам свежий хлеб и, вынув из сердцевины немного мякушки, заложил внутрь всю сдачу с мелочью.

— Теперь это наш клад, — показал я баю самую дорогую булку Туркменистана. — Приходи завтра. Приводи апачей. Будем кататься на чертовом колесе и лопать мандарины.

А пока следовало залечь в логово и припрятать добычу. Завтрашний день обещал себя прокормить, а сегодня не было ничего вкуснее ароматного мякиша — из самых недр дышащего хлеба.

...А назавтра уже понеслось. Система заработала без сбоев. Сытые сынки стояли в очередь преподнести мне долю от семейных сбережений. Таскали из зашитых чулок, как крысята, — внаглую, при свете дня. Я знал теперь все дома, где охотнее всего загуливал дедушка Ленин. Ни счета, ни стыда, ни запаха не знали их разноцветные фантики. Одной такой бумаги было бы вдоволь, чтоб месяц кормить семью голодранцев, а ни одного бая ни разу не трухануло от нехватки. Уж как там причесывали их послушные отпрыски! Что делать, если им не хватало воображения разменять большие деньги на маленькие удовольствия. Я больше не боялся электрических бумажек, а они льнули ко мне, как осы к дыне. Я не жадничал — мои поставщики не знали ни в чем отказа. Но стоило все копейки, и денег все равно оставалось слишком много.

Я чувствовал в себе укротителя дикого зверя и заклинателя змей.

Я управлял водяными знаками, как хороводом дрессированных шавок.

Я презирал их.

Я терял им цену.

Я смеялся над ними.

Я плевал им в харю.

Они же видели в этом только знак моей силы и продолжали устилать мне

путь. Они еще возьмут реванш, чтобы сполна отыграться. Но это будет когда еще... А пока я продолжал смотреть мультики у соседей, хотя каждый день мог бы покупать по телевизору. Но ведь нельзя было принести домой и рубля — сразу всему конец. Я страдал до болезни, когда мой старший брат метался в отчаянных поисках денег, но так и не смог уехать к любимой девушке, с которой был разлучен. Какая-то пара кремлевок и тогда решала чужие судьбы. Я готов был бросить к его ногам весь общак — только бы они встретились... Но — удержался. Закон засады велел не высовывать носа. К ночи меня вырвало от напряжения — и я стал крепче стали. А пока только:

— Где взял?

— Угостили. Держи!

Вот и весь спрос. Голыми руками было меня не взять.

Твоя добыча всегда привлекает других хищников — не захочешь ли ты ею поделиться. Я не выходил из дому, если трусняковой резинкой у меня не было подвернуто червонца или хотя бы пятерки. И, конечно, моя состоятельность не могла оставаться незамеченной. Косясь на мои дорогие трусы, ко мне подкатил долговязый парень.

— Драться умеешь?

— Ну...

— А так? — Он протянул измусоленную книгу, на обложке которой один из борцов легко, без напряжения, держал противника вниз головой.

Так я не умел.

— Не ссы. Пойдем — научу. Это просто. Для начала надо уметь подготовить противника к броску. — Начал он по пути, перелистывая рисунки.

— Ну, вот, например, мы с тобой в стойке, да?левой рукой ты делаешь сковывающий захват, а правой хватаешь противника за левую подмышку. Хватай, давай. В тот момент, когда противник, я, то есть, буду становиться на правую ногу, делаешь небольшой шаг левой ногой назад и сильный рывок левой рукой вниз и на себя влево, а правой рукой — на себя влево и вверх.

Наверное, я сделал что-то неправильно, потому что тут же оказался на земле, а из тайника вылетели трубочкой свернутые купюры.

— Ну, ничего, сразу ни у кого не получается, — утешал меня «тренер», поднимая мои бумажки. — А что это у тебя, дай зыбануть... Ой, так это ж ненастоящие, давай я их себе возьму, а тебе завтра настоящие принесу.

— Не, не дам, мне самому нужно.

— Ну, тогда учить не буду — так и будешь землю носом рыть.

— Ну, тогда возьми одну. — Я пожертвовал пятеркой на урок по боевому искусству — уж так хотелось поднять своего противника вверх ногами, как учила обложка.

— Смотри, где ты ошибся. Ты рванул, а я тебе блок раз — и ты на земле. Рывок должен быть сделан, я не придумываю, тут написано — «в направлении продолжения линии между ступнями противника, причем правое плечо мое должно направляться под углом 45 градусов вниз, а левое под тем же углом, только»...

— Ты его не слушай! — Вынырнул другой. — Нечего там ювелирничать. Не надо ничего этого: стойка, захват... Какой там блок! Выскочил — и кромсай! За волосы и к земле! Сразу атакуй! Мордой об камень! На! На!! На!!!

Трубочка быстро разошлась. Думаю, я был единственным учеником в

Союзе, который платил за уроки. И это были именно те уроки, которые еще не раз пригодятся мне...

Земля проглотила отца так давно, что я начал походить на него рисунком морщин. Но до сих пор меня настигает эхо его сердца. Оказывается, отец не уставал повторять старшим братьям:

— За боцманом хорошенько смотрите. Берегите его. От властей стороните.

Таково было его завещание. До меня докатилось оно сегодня, спустя тридцать с лишним лет. Посмертная отцовская забота пришла из Туркменистана, из райского ада моего детства, где и теперь кто-то живет в ношенной майке, мечтая поскорее стать взрослым. Звонил четвертый сын джихангира, Аргун, что значит «скакун». Принес печальную весть: девяноста семи лет от роду умерла старшая сестра отца, нашего деда второй жены дочь. Мы не видимся с братом годами, но могли бы до утра молчать в трубку, безошибочно улавливая морзянку крови. И когда он снимает там с урожая первый персик, за тысячи километров здесь я вынимаю марочку, чтобы промокнуть с пальцев клейкий ароматный сок. Теперь его сынишка пугает мною своих обидчиков.

— У меня на Кавказе есть дядя, он тебя вы...

А тогда Аргун остро нуждался в деньгах, и как ни дорог был ему собранный по рычажку и винтику велик, пришло время обменять его на рубли. Он продал мне коня — в придачу к честному слову, что никто не узнает о моих капиталах. И я стал братом ветру. Притяжение земли больше не довлекло надо мной. Всякая минута, когда я вынужден был перемещаться пешком, становилась теперь лишней и досадной, как холостой патрон. Я чувствовал себя лихим наездником, для которого исчезли препятствия и границы.

В тот день я как нарочно покинул школу раньше обычного. Железный ахалтекинец успел унести меня слишком далеко от дома, когда донесло суховеем, что приехал отец. Колеса мои полетели, не касаясь трассы. Горячей пылью обдавали меня груженные фургоны, снося, как былинку, в сторону. Я караванил, как одержимый. Режущим вжжжиком пронзали грудь встречные и попутные чудовища, но мысль об опасности не успевала врезаться в мою скоростную волну.

Я не знал, что отец вышел навстречу.

Я не знал, что, заведя на взрослой дороге беззащитное насекомое на двух колесах, он остолбенел и не сделал больше ни шагу.

Я не знал, сколько проводов перегорело в нем, пока он стоял на обочине и взглядом отбрасывал обгонявшие меня грузовики.

Я не мог дышать от изнеможения, когда повернул педали на тормоз и спешил. Загнанный конь рухнул мне под ноги. Отец молча ждал, пока я переведу дыхание. Пот с моей головы капал на дорожную пыль. Я был рад до немоты и, было бы можно, заскулил бы щенком у молочного брюха. И вдруг...

— Тааааааа! — говорят в моем народе, когда не могут описать взрыв. Мне прилетел сильный короткий удар под лопатку. Любимая отцовская ладонь, которую я готов был целовать от счастья, как бич небесный, опустилась мне на спину. Отец приподнял велосипед за руль, забинтованный изолентой, и, не оглядываясь, молча поволок его в сторону дома, как ведут за шиворот сильно провинившегося плохиша. Я плелся следом и беззвучно ронял слезы от обиды и боли.

— Неси топор.— Глухо приказал отец вышедшему навстречу Джебе, что означает «стрела». Седьмой брат повиновался.

— Тарххх! Тарррх!! Тааааарх!!! — Еще и еще раз обрушивался бич, превращая моего скакуна в груды лома. Я видел это ушами, потому что глаза я плотно закрыл ладонями. Когда же руки мои упали, отец тихо плакал.

— Когда ты Туркменистан покидал, в Чарджоу последнего верблюда зарезали проводы тебе учинить — только бы ты не передумал. — Еще напомним мне об этом времени Аскер, что значит «солдат», старший сын джихангира.

Слава Аллаху, отец никогда не узнал сотой доли моих заслуг — ему довольно было того, что он видел и чуял. С этого дня он больше никому не мог доверить рискованное опекуновство над оболтусом и шалопаем. И принеся в жертву моего стального жеребца, я получил в наказание награду:

— Собирайся. Будешь жить со мной. На Кавказе.

Так, грозным приговором отца, я снова очутился в Грозном. И как форель на нерест, ломая хребет, идет по горной реке вверх, к истоку, туда, где из мизерной икринки она стала рыбой, так буду я вновь и вновь возвращаться на родину своих предков — верхом ли, небом, водой ли, за рулем или на паровозе, со щитом или на щите... Или во сне, как теперь все чаще. Но это «теперь» будет когда еще...

А пока отец мой считал за благо отдать меня в русскую школу, где учились все его сыновья. При моей тяге к обучению это было сильно против шерсти, но отец настаивал на русской разговорной речи.

— Учите язык, черти, — иначе в этой огромной русской стране вас никто не услышит.

И если кто-то из умников смел возражать, дескать, пусть русские сами учат язык вайнахов¹, чтобы нас понимать, устало отвечал:

— Вы со своим языком дальше Волгограда не уедете. У шлагбаума жить останетесь.

Русский же давался мне только в его запрещенных глаголах, и то связи слов ради. Раствор есть же: цемент, песок — кладка когда катит... Конечно, мусульманин не должен сорить скверными словами, особенно в гневе — так могут сгореть все его добрые дела. Но я человек грешный, а Аллах всемилостив — и потому все еще держит меня на земле для чего-то. Одним словом, мои упражнения в языке не сумела оценить школа. Русский давала нам классуха. Наша неприязнь друг к другу была взаимной и устойчивой. Мое появление в классе в обвисших на коленях трико она приняла как личное оскорбление, которое пыталась смыть с себя доступным ей одной способом. Если она возвращала после проверки тетрадь, с первого взгляда было ясно, кто в нашем поединке ведет: мои синие каракули не умели занять столько линованного места, сколько залито было ее красными чернилами, да еще с неизменной фигурной двойкой в оконцовке. Она писала неутомимо, яростно и беспощадно, отстаивая так свою неоспоримую победу. Победа же означала избавление от такого истукана, как новенький нохча² с туркменскими приливами, который, по ее мнению, и смотреть не умел по-русски. В один день — наверное, когда кончились ее красные чернила, она догадалась пригласить в школу отца.

¹ Вайнахи — «вольные», «наши люди», чеченцы и ингуши.

² Нохча — так называют себя чеченцы.

— А портфель ты оставишь в классе. Пусть его отец заберет.

Я ощутил между лопатками знакомую выдавливающую силу запястья. И тут русский впервые пришел не подвести меня.

— Идитына! — завопил я. — Делать отцу нечего! Он маму твоей мамы трепал! А портфель я тебе на день рожденья дарю! Сама учись, сука! — И все в стихах — до самого восклицательного знака хлопнувшей за мной двери. Это и был мой последний звонок.

Оттуда вела одна дорога — на площадь «Минутка». Там происходило все самое значимое в жизни Чечни и ее народа. Там был автовокзал, откуда ходили междугородние рейсы. Я выбирал глазом невредного водилу и начинал тереть шкуру.

— Тебе куда? — Должен был рано или поздно спросить он.

— А куда повезешь?

— Хы... До Ханкалы, пойдет?

— А обратно когда будем? — Я четко рассчитывал время, чтобы вернуться домой не позже, чем братья из школы. И на переднем сиденье рядом с курящим шофером я объездил весь Кавказ. В открытое боковое окно врывался ветер и не давал скучать во весь наш путь, полный неизвестности и пьянящего простора. Там, в водительской кабине, я подтянул русский, правда, без падежей, в виде «есенина» — если надо было объясниться коротко, ясно и крепко. Оттуда берет начало моя взрослая биография, моя именная пухнувшая папка «Личное дело №...».

На маршруте Грозный — Гудермес мою бесхозность заметили серьезные люди. Они-то уж основательно распорядились моим образованием, положив конец кочевым каникулам. Я подходил им со всех щелей. Я был дерзок, неудержим, летал над землей, а кубатурил не хуже вашего Кутузова. Надо же, таблицу во сне увидел, до сих пор по ней все живут. Не Кутузов, а кто там зимой в одних штанах в Петербург шлепал с кучерявой головой.

Так я пошел в пираты. Личный состав экипажа состоял из бывших экзов. Тотчас я был окружен пристальным вниманием и чуть не семейной опекой. Курить мне было строго запрещено по малолетству. К распитию меня не приглашали, хоть я без того имел к тому врожденное отторжение. К азартным играм допускали неохотно — так разве, чтобы не фраернуться в приличных кругах, в секу, на деньги. Единственное, к чему прививалось уважение, это ремесло, чистая работа. Юнгу приодели, прикормили и взяли в долюну.

Время назначалось без изменений: между двумя и тремя часами дня. Я стучал в указанную мне дверь. Ждал. Стучал громче. Снова ждал. Стучал смело — и, если дверь молчала, я со всех ног бежал сообщить об этом друзьям. А дальше вступали в силу фомка и ловкость рук. Впрочем, от самого шмона я был избавлен. Чаще всего я оставался на шухере, пока дежурившая во дворе желтая шестерка не увозила добычу. А назавтра в привокзальном кафе «Забегайка» меня ожидала доля. И новая дверь. За дело мне никогда не платили меньше ста рублей, а больше случалось. Я продолжал притягивать деньги и плыл по течению, куда прикажет ветер.

Однажды дверь все же открылась. На пороге стоял зрелый акинец¹, крепкий и не очень-то дружелюбный. «Нну?» — Говорили его сомкнутые губы и холодные глаза.

¹ Этническая группа чеченцев. Чистый чеченец, без примесей.

— Салам алейкум! — Дрогнул мой голос.

Акинец безмолвствовал.

— Мне... Я... Меня просили, — замямлил я. — Просили спросить Рахмета. Он дома?

Акинец не удостоил меня и звуком. Дверь захлопнулась на английский замок. Задвинулась щеколда. Я просигналил атас, но с этого дня в кадыке моем засел осадок. Без всяких указаний я устроил засаду, выслеживая оскорбительную жертву. Квартира, как назло, изо дня в день оживала шумами. Мне даже не приходилось тревожить дверь — я слышал в глубине жилища то едва различимые голоса, то звуки посуды, которые были со мной заодно. Это было уже не работой, а делом чести, а то и вдохновеньем. Я должен был наказать глухонемого хама, не ответившего на мой салам. Я смог бы отличить его лицо среди пчелиного роя, случись ему стать пчелой — и однажды встретил акинца на рынке. Он разговаривал с пожилой женщиной и не торопился — это все, что я успел заметить. Пулей я оказался у заветной двери. Стучал. Ждал. Стучал громче. Снова ждал. И наконец, стучал смело — и не получил ответа. Сквозняком я ворвался в шалман, где всегда находился кто-нибудь для связи.

— В 23-й у ипподрома пусто, — прохрипел я едва живой.

Квартира была незамедлительно очищена от лишних сбережений. В тот раз я даже отказался от доли.

Отец подождал, пока я выйду из-за стола. Когда человек кушает, его и змея не кусает.

— Подойди ко мне, — тихо позвал он. Я повиновался ему, хотя ноги повиновались мне плохо.

— Как дела, боцман? В школе был?

— Был.

— Что получил?

— По русскому пару. По физре пятак. — Новость была сильно устаревшей, и оба мы знали об этом. Он погладил меня по голове и вдруг крепко зацепил мою шерсть на затылке. Так взрослые волки, почуяв опасность, перетаскивают в новое логово своих детенышей, ухватив зубами за гриву.

— Еще раз увижу на вокзале, в лес отвезу и живым зарюю. Ты запомнил?

Отец не стал бы повторять этого дважды. Я запомнил. Запомнил, что он бывает иногда в «Забегайке», где больше мне появляться не стоит. Я вынужден был искать другие места. Огорчить отца я боялся не меньше, чем послушаться его и быть зарытым в лесу. Домой я теперь возвращался всегда с опаской, в ожидании разоблачения и неминуемой казни. Но случилось другое. Почему-то все были дома, и я не успел еще никуда улизнуть от пытливого взгляда отца. Лежа на своей железной кровати, он листал бумаги, исчерканные значками и формулами. Это был самый обычный день — пока не наступила на горло эта тишина. Даже лампочку Ильича слышно стало, которая обычно бесшумно пашет. А потом женский крик, причитания...

...И время двинулось дальше. Только уже без отца. Кончился его хлеб на земле. А я снова не был готов к удару и навсегда остался в нокауте. Я долго не понимал, зачем я здесь, где будут отныне все, кроме него. Но не мог сдвинуться с места. Сколько бы я продержался в этой невесомости? Так бы и остался, как суслик в степи, на атасе стоять, если бы не случай...

В тот день я пришел раньше времени. Моя тетушка резала для гостя салат.

— Может, ты тоже поешь? Шамиль придет сейчас на обед.

И тетушке и отцу Шамиль приходился старшим братом. Он приезжал нечасто, и я всегда бывал рад человеку с отцовским носом. Я был в том возрасте, когда топка свистит постоянно, и с готовностью принял приглашение. Мы сидели напротив и ели из одной посуды. Среди скупого родственного разговора он взял со стола перец и хорошенько начернил им салат.

— Настоящий воин ест мужскую пищу. Ты не против?

— Я тоже люблю поострее, — простодушно откликнулся я и снова заработал ложкой. В миске было на троих зрелых едоков. Нас было за столом двое. Не прошло и минуты, как воину снова понадобилось подперчить пищу.

— А так? — Говорили его глаза. Салата становилось меньше, а перца все больше.

— Ничего. Пойдет, — принимал я вызов, защищаясь хлебом. Я еще не смел поверить своей подлой догадке, когда он густо поперчил салат трижды. Глотка пылала, высекая из глаз слезы. В груди закипала ярость. Человек, в чьих жилах текла отцовская кровь, выдавливал меня из-за стола. Спина моя безошибочно узнавала запястье. Дядя закашлялся и первым отложил ложку. Я же, как ни в чем не бывало, закатывал остатки, скребя по перченому дну. А затем еще насухо вымакал огненную жижуху хлебной горбушкой.

— Зря ты не доел. Отличный вышел салат! — Зарядил я ему в лицо и только тогда вышел из-за стола. Много бы я отдал, чтобы моя борода выросла теперь же, немедленно. Мне было бы что добавить. Маленькому душу поцарапаешь — он вырастет, тебе седло сломает. А пока я остановил себя в рамках почтения к старшему.

Когда земля тебя вытесняет, ты должен ее оставить. Не надо цепляться.

— Спасибо. Бывайте. Быть с добром!

Выше не лезь и на дно не падай, — говорил мне отец...

Мои крадуны отбывали новые сроки. Мне тоже не удастся миновать этой участи, но это будет когда еще...

А пока что на всех парах я летел напрямик в республику Шкид!

11.06.2015

Каменный Город

Все понемногу выталкивает на берег.

Один чужак

Чувствуешь знакомый сквозняк — значит, сейчас упадут двери.

— Всем оставаться на своих местах. Руки за голову. Раздеться до носков. Не торопиться. Спокойно.

— Просьба относиться с пониманием, да, командир? Это вы последние в этой стране убедиться хотите, что у меня нет ничего? Буяна не зацепите. Только он и есть у меня.

— Имеющиеся в карманах предметы выложить на стол.

— Э, командир, предупреждающе прошу — ногтегрызку не тронь, не отделяй меня от него, да? С Урала таскаю. Меня и в самолет с ним пускают — брат он мне третий, есть же?..

— Где первые два?
— Вот же, командир: один левый, другой правый. Третий — перочинный.
— Да кому он нужен. Шуруй, не задерживаю. Не до тебя сегодня.
— Золотые слова, командир! Редко услышишь. Почти никогда! Мое спасибо девятнадцать человек не поднимут!

— Много тебя.

— Нету. Собака ногу поднять не успеет, как тень моя растворится. Встречу — двумя руками здороваться буду!

Из твоего Каменного Города одна дорога — в Кресты. Не хочу я в Кресты. В данный момент, по крайней мере. А так... Ты права, ощутимо правильно говоришь: туз козырный не может всегда приходить. Нужно все забыть. Ни на что не надеяться. И не стыдиться лопаты. Мир-труд-май — страну подымай!

С вокзала за руль посадили, в пару со сменщиком медь возить. Пришел чистенький, опрятненький — как сын хирурга. У того пинцет таким чистым не бывал, как мои коцы. Двух месяцев хватило, чтоб обосраться. Конкретно деградировал я на этом сарае — как в горных лесах не сумеешь. Из белого только зубы и глазные яблоки остались на мне. Руки черными рытвинами пошли. Хлоркой чистил, фэри — не отмывались и не заживали раны мои. Пришел туда, где самки под лампочкой ногти красным пачкают. Пусть подшаманят, думаю. Одна испугалась, отказывается прикасаться. Вам, говорит, в больницу надо.

— Сделайте так, чтоб меня в больницу взяли, я ваш нюх трепал!

Очешусть, с какими рогами я в Питер зарулил. Об каждый забор их точил.

Опять мотор застучал. Кольца сели, поршня надо менять, масло менять, а то и вал точить. Прокладку менять на двигателе. Фольксваген называется. Немец после капитуляции. На рембазе бы пожить ему недели три. Экономят.

— Если б меня слесарем приглашали, под брюхом этой коровы лежать, я б к вам не пришел. Водителя звали — здесь я. Эта корова дает три литра молока — тридцать человек напоить можно. Так почему же корове этой хорошего сена не дать? Э, я знаю, какую прокладку тут менять пора: между рулем и сиденьем.

— Я на таком памятнике в последний раз в Грозном ездил, после бомбежек, — лупанул в один день мой напарник. — Служил я там. Воевал немного. С пулеметом вдвоем ордена получали.

Надо было за тысячи километров уехать, чтобы в Каменном Городе, промасленными одним солидолом, с этим героем на двоих одно ведро с болтами на колесах возить. 60 патронов в минуту в братьёв моих выпускал — и даже не споткнулся.

— Фартовый я. Иногда такое отчаянье вылавливал — выбегал в самое пекло. Ни одна маслина¹ не зацепила. Девять месяцев Ханкалы — ни царапины.

В Аллаха больше, чем я, верит. И хули его не прощать. Он туда не воевать пришел. Он туда выживать пришел. Но хули не улей, пчел не соберешь. Мой Шалинский район с четырех сторон градными установками утюжил. Один снаряд гектар земли сжигает в песок. Что от дома моего остаться могло? Все ровненько. Красиво, что разминулись. Живы оба. Одно неправильно: он убил — орден Мужества, я убил — Соликамск². Непорядочно...

¹ Пуля.

² Соликамск — город в Пермской области, где находится соликамская тюрьма строгого режима.

Трубил так, что на метро не успевал. Платили так, чтоб на дорогу хватало. Устал, как ишак на весеннее-полевых работах. Тоннами через кузов мой благородный металл прошел. Бензин кончился у меня. Медные трубы заглохли. Бывайте! И добра не надо, только в спину не стреляйте. Всегда веришь, что за поворотом что-то лучшее тебя поджидает.

— Дайте мне самую черную работу с самыми белыми динарами!

— Вам потребуется водительская медсправка, ее можно сделать у нас всего за две с половиной, справка от МВД, справка из ГАИ — не было ли нарушений с лишением прав, справка из ФСБ об отсутствии судимости, справка...

— Стоп, чуть не промазал поворот. Я прекращаю это заполнять. Это шутка или серьезно? Я должен писать рост, вес, размер обуви?

— Нет, не шутка. Там же написано — надо заполнять.

— Девушка, вы меня за руль посадить хотите или на ракету устраиваете? Что-то у меня пропадает охота к вам трудоустроиваться.

— Да-да, вы нам тоже не подходите — регистрация у вас, смотрю, очень свежая. Прописаны недавно. Нам это не рекомендовано.

Ну, так и я вас в белых ботасах кой-где видал! И покатила система ниппель: туда дуй — оттуда х... Сколько барьеров для дикаря, Акула, — сплошной апорт. А ты говоришь, семью шесть то же, что шестью семь. А байсангура¹ моего им не надо? Ну, ничего, прорвемся. Река сама выносит на такие места, где грести не надо.

— Все живое приветствую!

— Вы что-то хотели?

— Хотел за руль сесть. Поможете?

— Сколько вам лет?

— 45 с утра было.

— Где проживаете?

— В Каменном Городе, там же, где вы проживаю.

— Прописка совпадает с местом проживания?

— Обязательно!

— Образование?

— Самое среднее. Не хватает?

— СНИЛС? ИНН?

— Да захватил мандаты свои. Дай, думаю, проветрю, а то плесенью отдавать стали.

— Как вас зовут?

— Ну, Икрам, допустим! А так я чист, как макушка Антарктиды.

— Где родились?

— В Советском Союзе! Это решающее значение за рулем имеет?

— Вакансия закрыта пока, извините.

Ах, жизнь бекова — нас долбят, а нам некого! Ты думаешь, легко остановить ветер, Акула? Трудно остановиться ему. Даже остановился, может. Все. Стоит. Да пыль еще не осела. В любой момент в любом направлении рвануть еще может. А тут хочешь работать — лопату не дают. Это дома у себя

¹ Байсангур — чеченский полководец кавказской войны. Нарипательное мужества и благородства.

расскажи — жопой засмеют. Эх, ваня... И Кавказ не оставляешь, и работы не даешь. Разве так можно...

— Может, тебе надо говорить хотя бы, что ты татарин?

— Ну, ты сказала. Чего надумала. Лучше работы не иметь. Но ты гриву не опускай. И кремлевкам никогда не проигрывай. И помни, не забывай: важнее человека нет ничего. А твое от тебя не уйдет. Среди ночи разбудят — приди, заberi, скажут. Свое и ветром не уносит. Никогда не торопись. Торопящаяся вода до моря не доходит. Только на зебре поспеши немного — и то из уважения к водителю, который тебя пережидает.

Ох, посмотрел бы на них, когда с нуля, с голой жопой, на выживание пойдем. От светофора один квартал не сделают, как «мама» кричать будут. А я, беспонтовый, как маргарин, и на экваторе, на самой середине, х.. растаю! Хорошо иметь мешок мудрости, но еще лучше горсть терпения.

— Здравствуй-ти-те... Как дела, девчата? Юла в моем детстве так не крутилась, как голова среди вас. Можно нож точить!

Девушек насыпало, как мошкары на свет: кому карандашик поточить, кто скрепочки растерял, кому факсы-максы отправить срочно. Заходят одна за одной — а тут велосипед худой, «Кама», — а им тоже нет-нет покататься охота.

— Как же вас так запилили, что вы готовы в подсобники: подай-принеси... Это не по вас. Жена же у вас наверняка русская. Русские женщины неприхотливы. Вот у моей подруги муж семь лет не работал. Ничего, держала. Вы, как я вижу, типичный шофер. Вам здесь ловить нечего — или я напрасно в своем кресле 40 лет обивку протираю.

— А вы не хотите устроиться по спецпредложению — «муж на час»? Неправильно не подумайте. Я, например, не замужем — и всегда вызываю: вентиль заменить, кран подтянуть, гвоздик забить, полочку прикрутить там, я знаю?.. А что вы смеетесь? Мебель подвинуть... Очень советую.

Советую мне не советовать. Такие ямы не посещаем. На час — кому хвост, нам сразу по два! За час можно только заразиться. Я того всё, если ваши на библии не поклялись не дать мне здесь работы. Вечером проходил дом попа вашего — с крестом на золотой шапке. Будка сторожевая, охрана, а там, гляди, собак спустят, и света нет, и камеры везде стоят — кошмарина. И на воротах — на тяжелых цепях, на тебе — чабодза¹! — церковь привязали на замок амбарный! От крадунов, чтоб святыни не поворовали! У кого две головы, две жопы, чтобы рука поднялась на такое. Это от христиан они так баррикадируются? А кто туда еще может зайти! Как можно храм закрыть на ночь, я их нюх топтал! Посмотреть не зайду! Сам дух напрямую с богом беседует. Не надо к ним под купола бегать руки целовать. Рубля нет — не отпоят, не зароят. Ты сделай так, чтоб последний человек сегодня не лег спать голодным! Вот тогда я за тобой пойду — хоть в мечеть, хоть в огонь. Почему этот ваш, который в церкви брызгает, об этом не думает? Скоро и нашего брызгать научит. Гяуры. А хули, если еще Пушкин ваш сказал, нутяна, немытая Россия²! Не вывезла Россия правды, проглотила кучерявого эфиопа. А теперь за два метра земли и мусульманин заплатит должен, когда перекинется. Да будь у него такие деньги, он не умер бы, я того всё.

¹ Каюк (*жаргон*).

² «Прощай, немытая Россия, // Страна рабов, страна господ». (*М.Ю.Лермонтов*)

— Встречался с волчарами... Идут, будто в Петербурге и дождь не идет.

— И что, у них есть для тебя работа? Должна же быть какая-то поддержка от диаспоры.

— Работы валом. Но за каждым трудоднем такие статьи вырастают, что и в тумане густом, в ситуации очень неважной видимости — сквозь лобовое стекло Соликамск просматривается. Остаток жизни ласточкой раком висеть от их работы. Двое из стаи пару шевроле под реализацию выпелили — целки, с конвейера, муха не садилась. Прямо из таксопарка выехали — и тут же фортануло им срочный заказ получить междугородний — до Москвы две машины люкс-класса! Если надо, из Улан-Батора в любое время суток шевроле закажут — волки нигде не дремлют. Ну, и пока их обратно в таксопарке ожидают, навигатор уже на Гудермес маршрут построил.

— Угнали что ли?

— Угнали как — нохча не крадун. Так, взяли прокатиться — и не вернули. Ну, конечно, это не добыча. Дома свои же тазами закидают, если они из Каменного Города на двух самокатах приедут. По пути придется еще движения наводить. Но я им не завидую. Будешь в ресторане удачу свою отмечать чаем индийским с шоколадом вприкуску, как по спине ветерок сквозанет.

— Не горчит? — Прямо в ухо тебе засадит с затыльника — самым почтительным тоном официанта. И так это скажет, что ты с первой буквы знать будешь, что он все от начала до конца видел, только дистанцию держал до сих пор. Не-не, тупить не буду, пацаны, я пас. Лучше черный хлеб на свободе, чем белый на киче. Будешь в шевиотовом костюме в луже лежать, ваня своим стокилограммовым весом, не замечаячи, на голову мимоходом наступит, спросит сверху:

— Торопитесь? Тут у нас пара вопросов накопилась — не уделите внимание?

Пачка такая — из пистолета не застрелишь. В такого магазин АКМ-а разрядить придется, чтобы только набок уложить. Таких человек пять как заскочит, да человек двадцать здание как оцепят... Будешь селедку жрать — в очень безымянных вагонах, прицепленных кой-где меж ног Российской Федерации, оцепленных слишком красными мухоморами... Таких дорогих бабок мне больше не надо. Я чисто, мирно хочу заработать их — по трудовому кодексу, с выходным пособием, больничным листом и путевкой в лечебный профилакторий. Я со своей добычей хочу спокойно домой идти, не бежать и не оборачиваться. И спать без гранаты под подушкой.

Тех, что я видел, нохчей, если раздеть, на эти бабосы хату на Арбате выхватишь. Но это уже не люди — торпеды. Проданные души. Себе не принадлежит никто. Так, доживают. В любой момент цинк получают — быть там-то, взорвать то-то. Ни один не замедлит с исполнением. А пока ему нужно везде успеть, в самых ярых местах пожить напоследок. Они уже до того начудили, что по одному ходить бояться. Забыли, что у волчары хвост спереди. Никто из них бабу снести уже не в состоянии, потому что с ней самому придется идти куда-то, а он только в сторону шагнул — все уже, компас потерял. Я им сказал, кучкой вы — раса, по одному — х/ня. Им это не могло понравиться. Конечно, они не довольны, что я от стаи отбил. Обидно им. Они бы тоже хотели, может, но их нет больше. Тротил в дорогих шмотках. Все в ушах — ждут своего «Фас!» Сколько я с ними воевал, которые ради денег все проданы, — от Панкинского ущелья до Эльбруса всем затолкал! Спросил, где можно легально пару кремлевок

отработать, чтобы они кровью пропитаны не были. Моего вопроса даже не понял никто.

— Вырви, если ты волчара. Дядю Сэма не ищи. Все вокруг — жертвы.

— Долг на мне висит. Мне работа не запаadlo. Я водила и мужик по жизни и за свое «надо» воробья в поле загоняю. Машину бы мне, чтоб на светофоре не стыдно стоять было. Я бы на ней любые бабки отбил.

— Моя подойдет? Держи ключи. Я тебе еще ништяками ее до отказа заправлю. Лимонов десять-пятнадцать хватает оттянуться? А потом вспомни этим урусам, откуда Терек течет. Подумай, с чем наверх подтянешься, к предкам нашим, к братьям нашим. Что они о нас скажут? Что мы сделали, чтобы за кровь их заплатить, подумал? Год проживи, как катит. А там на этом же лексусе, да на хорошем газу, да в час пик в трамвайную остановку — что, не заедешь, не хватит духу, а?

Кикабидзе, кто сознательно добровольно на смерть идут, есть же. Такого из меня сделать хотели.

— Ты это... Два поживи, а потом сам на ней поезжай... к Аллаху. Да же?

Правды уронил на пару каратов и развернулся к лесу задом — к тебе передом.

— Если моя волчица узнает, что я тут с вами разлагаюсь, она вас тут всех выевищымбарит. А теперь показывайте, где тут ваш «ехит» — я покатил.

Я от этого патриотизма после Беслана сильно остыл. 1-го сентября, когда мать сына за руку первый раз в школу ведет, что ты там делаешь с килограммами взрывчатки? Кяфары¹. Найдите такое место, чтоб птица не долетела труп его склевать. Таким шайтанам горло с расстояния резать надо, чтобы близко не подходить. А я буду не при чем — я только водитель, и мне заплатят за то, чтоб это смертоносное железо до места доставить. Как я буду потом на мокрых деньгах ездить? И зачем мне после этого такой миллион? В оконцовке у меня этого добра много будет: и евро, и доллары, и ванины — что хочешь. И поди попробуй-ка с этих денег переварить одну конфетку ириску. А потом возьми-ка — не-не, не человека, не ребенка, который на воздух взлетел, — муравья создай-ка. Воистину Книга говорит, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не изменяют того, что с ними.

Один среди них все отдал бы, чтоб со мной поменяться. Я, говорит, всегда нахожу деньги, чтобы покой свой утратить. Ничего, кроме тяжелой зависти, не принес на себе. Состарился — ноги не держат.

— Не приbedняйся. Я видела, как ты солнце крутишь.

— Нет, Акула, я уже древний. В кулаках больше нет силы — здесь есть, на острие жала. Я теперь нож таскаю. Всегда со мной гюрза моя.

— А раньше не таскал?

— Зачем мне раньше? Раньше я сам, как нож. А теперь радуюсь, что лопату доверили страну подымать, для миллионщиков за копейки хаты элитные строить, этажей по двадцать пять — твой бы Трязиня² обосрался. С бабаями-мистербайтерами на ихних языках затираю — они путают. Узбеки, таджики, киргизы — с утра меня ждут как переводчика — узнать, чего от них прораб хочет.

— Вы, наверное, всех на стройке знаете, — говорит мне молодой узбек, шпаклевщик.

¹ Кяфар — «неверующий».

² Доменико Трезини — первый архитектор Санкт-Петербурга.

— Да никого не знаю. Как и тебя вижу впервые.

Если бы ты видела, как они на работу снаряжаются. Одеты, как вратари команды СССР. На него можно сесть и тросом тащить — санки заменит. До дури одежды — и в последнюю очередь фуфайки строительные, самых непригодных огромных размеров. И ходят все, как тыквы, ног не видно. А спроси его, когда носки менял, не вспомнит. Сапог снимет — глаза режет. Но каждого черта же подбодрить надо — они же от этого размораживаются, нет-нет. Ты его похвали, человека, — он сам тебе расскажет, какая глубина у Невы.

Обеда все ждут, как потерпевшие. Если пот со лба не упадет, хлеб вкусным не бывает. А как пот уронишь, каждый волос орать начинает:

— Э-э! Закинь че-нибудь в циркулярку, а то подведемنا!..

Да еще ветер совковую лопату пыли нежданчиком как поднимет и несет тебе прямо на рыло. Спрятаться вариантов нету — настигает из любого положения. И ты успеваешь ему телеграфировать:

— Ветер, браток, пронеси эту пыль мимо, очень тебя прошу!

И в ту же секунду шквальный брат пройдет сквозь тебя и, опережаячи, весь строительный шлак поднимет в воздух и несет впереди тебя. Ты идешь по чистому, и тебя одного ветер не задевает. И когда метров восемьсот прошагаешь по его следам, подошвы себе не мараючи, благодаришь его от души и знаешь, что это Всевышнего ладонь на темя тебе легла. А когда на восемнадцатый этаж гипрок поднимешь, да двенадцатый раз вниз спустишься — дух перевести, тишину поймать, на облако глаз кинуть — тут и подлетает начальничек. Живет два понедельника, пора, думает, мне давление поднять.

— Какого хрена стекловата не на шестнадцатом этаже?!

— Я не знаю, какого хрена стекловата, но ты, когда с людьми базаришь, за метлой следи. И прежде, чем барахолку открыть, нет-нет в лицо загляни — может, оно тебя уже пониже шестнадцатого посылает. Спецовка у меня, как у тринадцатого. Но ты смотри — я и в двубортном выскочу, если это погоду сделает.

— Ты вообще кто такой?

— Начальник свежего воздуха. Не похож?

Возле него в этот момент прикуривать нельзя — взрыв будет. А он еще на мои чищенные ботасы косится. Не верит, что в таких работать можно. Только по чистой обуви чечена спалишь — в самую грязную погоду. С его привилегиями я б такие коцы носил... Этого крокодила кормили бы форелью, растили бы в Африке, зарезали и сушили бы в Испании, шили бы в Югославии, красили бы в Японии... А после с эмблемой, нашлепнутой в Америке, «Доставлено в Россию» с двуглавым орлом на мандате — в упаковочной коробке, которая в воде не тонет, в огне не горит — лично в руки. А ему мой размер пятки натирает.

— Что не работаешь, начальник воздуха?

— Как не работаю? Еще как работаю.

— Что-то я не вижу, чтоб ты работал.

— Ты не видишь, но ты знаешь, что я работаю. И если ты по стройке прохаживаешься, и я вдруг тебя увидел, это не значит, что я должен мешок цемента схватить и бежать тебе навстречу, нет же?!.

Правды подкинул — и аккуратно ступил на эскалатор. А правда, она везде одна и та же: и в воде, и в горах, и на небе, и в крови. А вам такие не нужны, вольнодумцы. Шныри и кивалы нужны вам. Вы думали сверху вниз со мной

потолковать. Забыли, что в земле одинаково гнить будем. Одни черви дюрбанить нас будут, долбил я ваш белый галстук! Так что застегните сандали, трасса не по нам. Шас будет зебра — перебегать будем. Кто нашу ветку не уважает, мы тех лес е/м!

Жизнь в восьмиугольник загнала. Ничего не хочу. Ни денег, ни работы, ни дома, ни бабы — ничего. Хочу только автомат в руки, желательно РПК, передернуть — и от живота, пока он плевать не начнет. Мочить, мочить, мочить — пока пулю во лбу не почувствую. Сука эта, власть — наглее тагильского педараса, ей бы только буденовки менять! Всем, кто против шерсти, через жопу ангину вырезает. А там глядишь, тетрациклину предложит и Вишневым замажет. Как далеко ушли от меня деньги, как далеко... Работаешь — нету, не работаешь — тоже нету. Наверное, я успел хапнуть больше, чем мог проглотить — за это они отвернулись от меня. Ладно... Побеждает — кто скажет «ладно», слышал я от одного аксакала из туркмен. Когда-то все неприятности, как кочки под большое колесо, уйдут. Терпеливый холм берет. А нам ни высоты не нужно, ни дна не угодно. Самый средний, но только вперед, даже если там не дорога, а направление. Не надо бояться заблудиться. Кроме Невы, все остальное стоит на месте. И чему я хорошо обучился, по стране петляючи, так это из любого положения выхватывать указатель «Выход».

30.06.2015

Акула

С тобой бы Наур¹ защищать — война бы еще лет пятнадцать не закончилась.

Один воин

— Курите в неподобающем месте. Табличку читайте над головой.

— У меня Акула есть...

— Что?..

— Белая. За три километра в темной воде кровь чует. Зубы в три ряда. Из одного два делает. Она если свистнет, у нас у троих фуражки упадут. Нервы до того подняла, что таблички не вижу. За это я курю.

— А... У нас тоже есть, кому свистеть, но мы в неподобающем месте не курум.

Снаружи никто не видит, а внутри разорвалось. Это у двигателя бывает, когда перегревается. За термометром кто не смотрит, не замечет вовремя, как кипит уже — и двигателю амба. Рухнула жизнь пополам, как туркменский арбуз.

— Ты, наверное, и не знаешь, как даму вести под руку...

— Откуда... «Подходить запрещено!»..

Акула, я иногда чувствую, что плачу. Нутро у меня мокрое. Я просто высох весь. Полные легкие слез у меня. Горечью переполнились меха, на глаза давит. Я от этого видеть стал хуже. Дворники не справляются. Мотор, как курага. Будто попал под челюсти многих тысяч барсов. Они уже шкуру догрызают.

¹ Наур — районный центр Чечни.

Душа ноет где-то рядом, тело жалеет. Полные легкие воды. Я иногда говорить не могу за это. Глотка мокнет. Слова в гортани набухают и застряют там.

Забыл сказать. Акула — это моя волчица.

У меня в тот день сильные планы были. На смену не вышел. На все хвост положил. Или свое найду или пакован на плечо — и «ровно в семь тридцать покину столицу, даже не гляну в окно». Жизнь дала трещину — а-а! Допинаю ее как-нибудь. Когда вдвоем рыбачишь, и у другого, в шаге от тебя, такой клев катит, что улов не помещается, а у тебя с утра плавника над водой не показалась, думаешь:

— Харту!¹ Не то место выбрал.

И когда счастливчик отлучится — крючок заменить, наживу насадить, а ты украдкой спешешь рыбное место его занять ненадолго, хоть разок заблеснить, он эту комедию немедленно замечает.

— Полови, полови, — говорит. Подбодрит тебя широким жестом: покурит еще, пока ты с его камня червяка купаешь. Забываешь нет-нет, что где б ты ни был, ты на своем месте — и только твое к тебе придет.

Я не сделал пяти шагов, как об настоящее стукнулся. На самом шумном проспекте, где никто никого в упор не видит, бегут, лица не поднимают, будто всем разом поссать надо. Ты одна никуда не торопилась. Меня осадила молчаливая зрелая сила большой женщины, хотя телом ты оказалась и хрупкой, и тонкой. Я не сразу понял, что ты не одна. Только тебя видел. В двух шагах зеленая ондатра непрерывно щелкала фотоаппаратом, отдавая на ходу команды: смотри в объектив, не смотри в объектив, прижми к груди сумочку, придержи пальцами края шляпы. Я, конечно, сразу тебе выложил, что «вы великолепны, и что вам равных нет» — все, что говорил каждой кассирше в магазине, покупая шоколад и сигареты. Но, роняя заезженные слова, впервые чувствовал, что говорю правду. Ты отвечала согласием женщины, знающей себе цену, — ни смущения, ни высокомерия. Я же корчил из себя глухого и переспрашивал каждое слово, подбираясь все ближе к белому пятну платья. Широкие поля шляпы папоротником держали дистанцию до твоего виска, но один х.., сквозь легкую волну Парижа и тяжелый выхлоп Лиговского я выхватил запах своей волчицы. Я задымился на месте. Ошибки быть не могло. Ничего лишнего — только свое. Я терпеливо выжидал, когда же закончится чертова пленка, чтобы остаться с тобою вдвоем. И даже пальнул, похоже, этот вопрос в воздух.

— А у меня цифра, — отвечала ондатра. — Не кончится, пока батарея не сядет. Все слова были сказаны, а я стоял, как дурак, застряв посреди Каменного Города. Сапогами 43-го размера ходили по моему лицу — ничего, выдержал. А взгляда твоего не сумел вынести. — Я же сейчас уйду, потеряюсь. Никогда не увижу вас, а я этого не хочу. Помогайте, что делать, я один не справляюсь.

— А вы не уходите, — услышал я шкурой. Вот тогда и закручена была последняя контргайка. Ну, все, думаю, клюнуло. Но рановато его сразу на берег. Надо еще по воде потаскать внатяжку. Я еще не знал тогда, что это у тебя клюнуло.

Знаешь, бывают необъезженные лошади, воробей на них не садился. Такого скакуна ты в тот день одна, без усилий, оседлала. Взяла и приручила ветер. И не просто ветер, а ветер конкретный, шквальный! Такого географа нету,

¹ Харту — ругательство на туркменском наречии.

чтоб определить, где этот ветер зависает, откуда старт берет. А вот замерз возле юбки твоей.

Ты одна сумела дать капитальный ремонт разбитому ВАЗику, каким подкатил я на твою эстакаду. От корпуса до запчастей все требовало детального техобслуживания. В больницу я попадал до сих пор только при потере крови, при огнестрельном или ножевых ранениях — эти в одиночку не ходят. Кто под холодный замес попадал, знает: нож, который ударил, одним разом никогда не насытится, остановиться трудно ему. Другие болезни никогда не лечились до встречи с твоим красным крестом. Ты отскоблила меня изнутри и снаружи. Болгаркой с меня лишак снимала. Все язвы мои залатала. О которых не знал, нашла. Топку мою пахать заставила, которая, кроме ядерного чая с шоколадом, другого пищеблока давно не помнила и не принимала. А я долго еще не знал, как прятать на своем запястье татуировку с осьминогим пауком, что значило «восемь сломанных лет», — чернильное тавро в память о северном курорте.

— Соловьи — слышишь, заливаются? Тёхкают, слышишь как?

— В наших лесах тоже есть птицы, которые так поютбля.

Первый холод твой сняли... В печку когда начинаешь бросать дрова — в смешку: сухие с сырыми, есть? — она медленно нагревается. Еще не тепло — уже не холодно. А потом как займется — пожар, х.. потушишь.

— Мы к вам собрались на войну, а вы нас не приняли. Я подумал, пока там ваша артиллерия подготовится, пока мы прицелимся, война кончится. Беспредельное нападение что ли учинить на вашу территорию?

— Ну, я не готова...

— Ничего подобного. Ты всегда, как стингер на плече у боевика.

Я должен был нюхать по пути все цветы: твою любимую черемуху, твои любимые сирени, твой любимый жасмин. Я чувствовал, что обязан как-то реагировать.

— Мылом пахнет? — промазывал я с ходу.

Ладно. Простуда отойдет от меня — там разберемся, где бурку обронили. А пока так — хоть стоя, но доехали. Не успел разогнаться — трасса кончилась. Негде было четвертую передачу поставить.

— Но вы мне нравитесь, мадам!..

— Как женщина или как человек?

— Со всех щелей. Но больше эти гайки не закручивай — прямые держи волосы.

Для тебя не было большего развлечения, как устроить мне пытку прогулкой на острова, как ты называла густые зеленые насаждения с белыми львами всмешку.

— Если не хочешь, чтоб я умерел, прошу тебя, не показывай мне этот лесной массив. У меня перенасыщение таежным кислородом. Я еще не успел забыть, как остро стране нужен лес, когда детям карандашей не хватает. Я и внукам этих детей карандашей заготовил. Я в такое место мясо жарить не поеду.

— Восемью два?

— Восемнадцать.

— Нет. Это то же самое, что дважды восемь. Это ты знаешь.

— Двенадцать?

— Ну, все, между нами все кончено! Пока не выучишь, я не раздеваюсь. Мораторий.

— Тормозные колодки как шумят на КАМАЗе, слышишь? Два раза восемь не знаешь?! Шестнадцать говори всегда, как ты не можешь запомнить! Ты когда со своими цифрами подбираешься, надо мной будто с мочитой стоит кто-то, кол в башку вбивает. Локалку перекрывают, чтобы я еще умнее не стал. Но я выучу, долбить царя в голову. А ты мне стала ближе.

— Чем кто?

— Чем вчера.

Ты спишь на ходу — и буян не шелохнется. Радар помех не чувствует. Нейтральные воды чисты. А так... Движения начнешь наводить — мы, конечно, захватим вашу столицу. А если я еще бушлат скину... С места пятую включу. Россия у меня все отняла. Россия мне рожать будет. Акула, глина моя, родишь мне — я для тебя сухую воблу со дна океана достану. И пусть нас жизнь мнет дальше. Хочу видеть тебя капризной. Хочу, чтоб ты среди ночи захотела съесть что-то сверхъестественное. Я обрадуюсь. Вот эти все моменты хотел бы выхватить с тобой. А я за свою красавицу ежику спину обдеру. Мне все это еще вчера надо. Я слишком многое оставлял на потом. Нет его больше. Сейчас.

С первой минуты ты не старалась ни казаться, ни нравиться. Я сразу заметил, что на лице твоём ничего не намазано — никаких лишаков. И еще одно: вольная. Грудь твоя дышала свободой, как ветер внутри меня. В любую дверь ты не входила, а заплывала. Тогда-то я и понял, что ты Акула. Через все многомиллионные потоки любовь находит ровню! Так я подумал. Но оказалось, встретившись на перекрестке, мы разошлись, как Большая Нева от Малой.

Куда она ведет меня, эта Акула? Темнеет. Отовсюду дует и капает. Из ботинок выливать уже поздно. Вжикает все.

— Сейчас, сейчас, еще чуть-чуть, скоро придем. — Подбадривает, будто обещает впереди что-то сухое и теплое, но продолжает тащить в какую-то ливневую засаду. Нет бы Петру вашему город подальше построить, а не там, где ветер живет, я ваш рот долбил! Кроме одного корпуса для корабля ничего тут не надо было строить! Сушу не мог, что ли найти, эти его мать! Климат, говорят, не мой. Я знаю, где мой климат. Где черешня в мае спеет. Где абрикос вдоль дороги сыплется, гниет. Где кукуруза, подсолнух...

— Я поеду с тобой туда, где черешня.

Акула, я большие деревья не пересаживаю. Ты выросла уже в Каменный Город, как эти черти мраморные, что его на плечах держат.

И только когда ресницы воду в глаза пропускать стали, она остановила меня перед каким-то обелиском.

— Вот. Читай.

Пришлось зажечь фонарик. И — лап!.. Теперь я знал, на каком месте были казнены декабристы. Я буквы не проронил вслух, сохраняя последние живые клетки под мокрой одеждой. И мы повернули обратно.

Яблоня есть же... Груша. Слива в саду за домом растут. А бывает, что и в горном лесу на такой плод нарвешься. Сам вырос. Дичка. Зачем тебе дикарь? Я ничего не могу. В театр тебя повести не могу. В кино хорошее — не могу. В ресторан сводить не могу. С бантиками твоими разговаривать не умею. Подарок ярый преподнести не в состоянии. В постели порадовать — и то не способен.

Могу только встать на любом месте земли и умереть за тебя — но этого же тебе не надо.

— Хватает...

Я никогда не верил, что двоечник с рогаткой на задах школы может понравиться отличнице с бантом в гармошку. Зачем я ей? У нее 40 абонентов в телефоне с одними суффиксами и о-о-очень деловыми отношениями, которых и при пожаре можно водить на кладбище декабристов. И я один на планете, которому туда не нужно. У нее за турникетом кафедра, куда мне входа нет. У нее за фанерной стеной бывший муж — профессор ебомурических наук. А тут на тебе, парашют у дикаря не раскрылся, под ноги плюхнулся — голый, как молдаванин, х.. да душа, хоть вниз головой переверни — ничего не упадет. Бывает бывший муж за стеной, э? Тысячу извинений за доставленные мелкие неудобства. Где ваши кони спотыкаются, там наши нет-нет проскакали уже. Я просто забыл, что змею в траве поймать нельзя. Только на песке она бежать не может. Я как бич небесный в твоей жизни возник. Как видение останусь в твоих глазах.

Бывает, бутылку с водой оставят на морозе. И не треснет даже, а так только — *ццццкрк...* Короткий глухой звук — и все, больше для употребления не годится стекло это. Только плавить!

С тобой время летит, как порох горит. Ты все чаще пишешь что-то, поглядывая на меня исподлобья. Подбросил тебе ветер особь невиданного вида — изучай, шиш до дна доберешься. Ловишь, как вратарь, слова мои. Нет-нет, выхватываешь из глубины кавказской земли мои смыслы. А там кто его знает, что ты пишешь. И для кого. Никому не верю. Никому. Театр все. Цветы в машинах! Нарисуешь ты мне, жопой чую, кота на сковородке. Ну, ничего. Однажды я доберусь и до этого документа твоей бехтной¹ жизни.

— Вода с пихтой. И лаванды немного.

— Зачем это?

— Ноги вымыть тебе. Успокаивает.

Бой прошел — и только-только ощупал себя. Все кости на месте — похоже, живой. Вот такое состояние у меня. И чаек правильный — толкает, как 95-й. Ты права: не все наждаком шоркать. Иногда и полировкой пройтись, шлифануть — тоже покатит. Я теперь хочу что-нибудь мягкое услышать. Тепла твоего хочу и покоя. Больше ничего не надо уже сегодня. Надо посмотреть, что там есть впереди. Всегда до конца! Нельзя оставлять руль до полной остановки. Самое страшное — это на полной скорости дать по тормозам. Сразу. Без сцепления. И в гололед.

— А ты эдельвейс видел?

— Какой эдельвейс — дивизию?

— Какую дивизию? Цветок... Это же цветок горный, один из первых из-под снега выходит, красоты невиданной. Эдельвейс...

— А х.. его знает... Мало ли что ногой топчешь.

У нас говорят: если вода прошла семь песчаных камней, она уже халал² — чистая. Можно пить ее. Пройдет ли моя Акула семь камней... А пока кручу

¹ Тайный, скрытный (*жаргон*).

² Все то, что разрешено и допустимо в Исламе (противоположно хараму).

баранку, или сверлю перфоратором дыры в бетоне, или таскаю на плечах как местный атлант пуды гипрока — я все-таки надеюсь: Акула ждет меня, сторожит спину мою с береговой охраны. И когда я исчезну, она будет искать меня всюду — и не найдет ничего похожего, потому что только однажды на пути встречается твоя глина.

— Этот белый, который вылетает, есть же?..

— Сссерпа, что ли?..

— Ну... Закончился, по ходу.

Прокладка на глушаке сторела у кого-то. Ревет. Мне говорили, что деление — то же умножение, только навыворот. Правда, что ли?

07.07.2015

Этап

Когда судьба человека становится мрачной,
он делает все, чего не следует делать.

Восточная мудрость

— Проходим.

Дверь тяжелая лязгает за твоим затылком.

— Проходим.

Локалка за локалкой отсекают тебя от свободы, от радости, от жизни.

— Проходим.

Еще дверь. А за дверью еще одна. Бряцает железо. Но велика Всевышнего сила. И когда сто пятьдесят замков за спиной защелкнулись и ты снова в камере, вдруг — шарх! Шарх!! Шарх!!! Всемогуший ломает все затворы. Открывается окошко, и тянется к тебе дымящаяся миска — хоть баланда, а твоя. И в этот миг знаешь, что Аллах с тобой, не оставил тебя. И славить, и благодаришь Его, перемалывая осколками зубов пустые скелетики мелкой рыбешки, которой рыбаки бездомных котов кормят. Но этот рыбкин суп сильнее всяких знамений говорит тебе о Всемогущей Милости Его.

Серпы

Я не знал, что так можно бить человека. Бьют. Еще бьют — отъезжаешь. Очнешься — все еще бьют. Выстегнешься — вернешься — опять бьют. Ни одного зуба целого не оставили, гондонье. Что говорить, апартаменты-люкс: войдешь боком — выйдешь раком. А какие ярые были у меня зубы. Сколки месяцев семь отходили. А теперь — лишь бы циркулярка пахала. Какие зубы можно поставить в лагерьном подвале за две пачки чая?.. Ну, ничего. Я и этими покусая, если придется.

Судить на Кавказе не было вариантов: кровная месть, закрытые процессы. Полгода один этап обошелся. Год вместе с Матросской Тишиной. Четверг был этапный день. И когда в 6 утра слышишь «с вещами на выход», хоть последняя клетка да отзовется надеждой — вдруг отпустят...

— Не радуйся — серпы...

Грамотные люди понимающе переглянулись. Что за серпы?..

— Проверить тебя захотят, может, дурак, если страх потерял.

Дурак у меня в штанах, страх мне был незнаком. И все-таки их пустая затея позволила мне тогда одной ногой коснуться земли. Это большое везение, притом что из машины, подхваченный с обеих сторон подлокотниками в мусорской форме, юзом ты залетаешь по месту транспортировки, как жучка в космос, и, не успев вдохнуть городского выхлопа, уже скользишь по кафельному коридору белой стерильной тюрьмы. Серпы, как я узнал вскоре, это погоняло Института Сербского. Судебная психиатрия желала выявить степень моей вменяемости. В Серпах гостю положен санитарный прием. Вшивую тюремную робу с меня содрали и отправили на прожарку. Меня же должна была вымыть специально приставленная старуха по кличке Марго. Система тщательно заботилась, чтобы любое движение, которое невольно обещало приятность, было отравлено чем-то невообразимо мерзким. Я с радостью предвкушал воду, но стоять с голым задом под рентгеном старой овчарки от НКВД меня не увлекало. Марго беззастенчиво намылила мне шляпу.

— Стоит? — и с пристрастием посмотрела прямо в глаза, поверх клубов беломорного дыма.

Полтора месяца меня кормили, как свинью к русскому празднику. Наконец назначили комиссию, на 11. В центре профессор, доктор ебомурических наук — и штук пятнадцать белых шакалят вкруговую. Все молчат. Разглядывают тебя через линзы. Могли бы, в кишки б заглянули, посмотреть, что у меня не так.

— А что скажете, если от стола отпилить один угол — сколько углов останется? — начинает разведку профессор.

— Добавится один — отвечаю.

Опять молчание. А дальше по кругу спрашивают, каждый свое. И в один момент врезаешься в их экзамен своим вопросительным знаком:

— Для чего вы меня держите? Отпустите. У меня там дела. Зачем я вам?

— Какие же у вас дела, позвольте полюбопытствовать?

— Я должен добраться до того, кто меня упек сюда, — и голову ему отрезать.

Пространство ооченело. Тишина такая — муха пролети, ее бы услышали. Но мухи не было. Только из коридора гудело и потрескивало ультрафиолетом.

— Вменяем! — разорвало тишину.

«В момент совершения преступления был вменяем. Опасен для общества». Ударили печати, зашуршали перья, раскручивая на всю катушку меру наказания, решая на долгие годы мою беспонтовую жизнь.

Мосты

Чую — мясо на кости легло. Значит, земля холодком отдавать начнет. Календарь в этих местах особый. Жилы натянулись — и всем составом знаешь уже: птица перелетная еще не взлетела, но от земли оторвалась. Осень в затыльник дышит. И семь локтей по карте — арай!..¹ Москва — Новосибирск — Красноярский край... В натуре край. Туда отвезут — назад вернут — срок кончится. Не потому что срок маленький, а потому что край необъятный. И начинают изъезжать тебя. Дорогой хребет ломают. Месяц идет этап. Второй.

¹ Вперед! (на сленге вайнахов)

Третий. Сколько еще ехать — никто не знает. Где-то на пересылках подпитка поступает. По тому, сколько буханок выдают, ясно, сколько до ближайшей пересылки. А дальше этого никто не думает.

Есть у этапных конвойных игра — «чай» называется. В купе столыпина, до крыши набитое бритыми бошками, просовывают пачку чая — предлагают купить. Тощие пассажиры вытряхивают последние изнанки за глоток настоящего чая, и в складчину пачка выкупается. Не проходит пяти минут, как другие вертухаи наводят шмон — и чай изымается. Через время сделка повторяется. Конвойные купцы божатся, что ничего не знали о шмоне и предлагают контингенту утолить жажду. После перебранки и торга пачка продается снова. Ровно через три минуты врывается свора стражей порядка изъять неположенный чай. К пятой ходке покупатель ощущает себя матерым волком в вопросах купли-продажи. На шестой раз, как только дверь за конвоем закрывается, такой секунды нету, как десятки рук успевают пачку раздербанить, чтоб каждому за щеку спрятать, кто сколько выхватит. Через семь секунд мухоморы врываются — а чая уже нет. Только похрустывает на зубах у всех мелкий грузинский лист.

Волга, Иртыш, Обь, Енисей, Лена — поперек не переедешь, не то, что концы искать. Поезд ведь 50—60 выжимает, а где-то и того больше вытапливает. И минут двадцать мост не заканчивается. Со скоростью пара сжигаешь мосты за спиной. Идешь по воде в край мошки и морошки. Назад если вернешься, будешь не ты уже.

— Где был?

— У Лены. Сама искупает, сама и обдерет.

Ленабля... Одни бревна, сука... Родине лес нужен!

Есть такое селение в Амурской области, Архара. Плавал я и там. В том смысле, что из окошка видал. Архаровцы из Архары — этим все нипочем. Они мурий¹ видели.

— Ты кто такой? — спрашивают.

Бандит, отвечаешь, к примеру.

— Уши в трубочку сверну.

И выгоняют на пятидесятиградусный мороз. Кожа лопается, когда возвращаешься в теплушку. Люди бывалые в целлофане жиры держат, обмазывают себе кто лицо, кто руки, кому игнат свой дорог — и ему достается. Один х., не помогает. Я своего битым войлоком все укутывал, чтоб не заморозить. Туркменскую атмосферу создавал. Инстинкт самосохранения, говорят. В любом месте как разденут тебя — что там прячешь, сучонок, валенком обмотался!

— Ты что, командир, буяна прячу, чтоб мороз не отвыецымбарил. Разов восемь уже отвалился, пока ты меня тут шмонаешь.

И в один момент, выпав из автозака, понимаешь, что ты на месте. Периметр оцеплен. По углам вышкари с автоматами. Собачки надрываются, свежак почуяв. Всюду запретки, путанки, зуммер гудит, как в кашенке². Человек восемьдесят доходяг с сидорами за спиной строем на плацу. Мороз

¹ Мурии — одушевленный холод, сердцевина мороза, живая сила, обитающая в русской тайге.

² «Кашенка», или «Канатчикова дача» — московская психиатрическая клиническая больница №1 имени Н.А.Алексеева.

сопли в носу сворачивает. Метель глаза открыть не дает. Командиры не спешат распоряжения отдать, чтобы время вперед двинуть. В окне изолятора офицерская морда от жары и водки преет. Зэки перетаптываются на месте, не давая ногам отвалиться. Окоченевшее «ссука», сцеженное сквозь зубы, бродит по рядам, сплевывается под ноги, там разбивается в лед. Наконец, вываливается на крыльцо полковник — распахнутый китель, из ноздрей пар.

— Прилетели к нам грачи, пидарасы-москвичи?!

— Сми-рна!

Офицер вдоль строя прохаживается, каждому в харю заглядывает, ме-е-е-едленно, как на опознании. Кто-то срывается:

— Слушай, командир, не тяни, а? В хату подтяни — там договоримся, в рот твою маму...

И тут мухомор красный вообще торопиться забывает.

— Что, русская зима кавказского человека е/ёт?

Степенно, не торопясь, достает из кителя сигареты и до-о-олго прикуривает на ветру, щелчком потухшие спички в снег роняет: три, четыре, шесть спичек, восемь...

Но закоренеть нигде не дают. Все время ковыряют. Как примешься, так сразу выдергивают. Сегодня Красноярск, завтра Ужур, Решёты... Лагерные хутора: пятьдесят-шестьдесят срубов, штук пятнадцать двухэтажек. Куры, свиньи, лошади возле воды пасутся, полторы коровы гуляет, козы серят. Старые женщины в фуфайках. Всё. Земля кончилась.

Окурочек

Чинарик перед тобой выронит, рядом еще харкнет — на вот, говорит, вытри.

— Да пошелтына...

— Да-а? А, ну, пройдем-ка.

Человек пять рихтанут, так, не в кипяток. Через сутки приведут на то же место, чуть оклемался.

— На вот, вытри. Осталось за тобой с того раза.

Когда приказ получен ломать весь этап, осечки не дадут, всех проведут через тряпку.

— Надо толчок помыть сегодня, уважаемый. Как ты?.. Не хочешь? Хорошо. Запишем.

Уводят. И что делают, только Всемогуший знать может. Возвращают.

— Толчок не помоешь? Надо. А то мы сильно, братан, засрали его, вот беда. Как ты, справишься?

— Конечно! Какой разговор.

Любой шов затрещит. Эта яйцerezка чинов не разбирает.

— Я вор в законе. Работать не буду.

— Ты что ли вор? — краснач такой выскочит, начальник тюрьмы.

— Я, — отвечает.

— Я здесь вор, — поправит его хозяин, х/ем в лоб уткнувшись. — Где ты мышей ловишь — я там котов е/у. Здесь у нас радио. У тебя есть возможность

сказать вслух для всей тюрьмы, вор ты или уже не вор. А пока вот бумага — пиши отказную.

Если вдруг решает вор сохранить свой чин воровской и отказную писать отказывается, потому что с отказной каюк ему и в тюрьме, и на воле — уркаганы такого падения не прощают, — тут как тут проверенный трюк.

— Ах, вот как... Тебя что ли бить уже некуда... А ну, Елена, подойди-ка к нам. Нравится тебе его задница или дальше бить будем?

И пидарас с 15-летним сроком, пачка такая, что его ни вши, ни клопы не кусают, святого ничего, озлобленный на весь свет, — с кайфом обдерет! Это что надо совершить, чтоб Всевышний допустил такое... Будешь на коленях обещать дальняк вылизать — только бы не дырявили.

Не говори, что хитер — найдется более хитрый. Не говори, что силен — найдется более сильный. Так говорил Хаджи Рахим Аль Багдади. И один Всемогущий тебя из самого пекла достает и в сторонку ставит. Никто этого не замечает — ты один знаешь, что только Его сила тебя уберегла. Из самых недр своих знаешь об этом. И сходишь с этого места уже глубоко верующим человеком.

Жиган

Бывает, придет в камеру новенький, хиленький, с ходу видно — вольными пирожками серет еще. Матрас бросит:

— Здорово, мужики!

Местные переглянутся и подступают.

— Слышь, пацан, мы тут немного сомневаемся — ты не пидар часом? Давай-ка, ты голову в ведро с водой опустишь, а мы присунем по разу. Если пузырьков не будет, ты нормальный, целый пацан. Но если пузырьки пойдут, ты пидарас, извини, братан. — Да зачем так усложнять все, мужики? Давайте облегчу вам задачу. Я сейчас сяду в ведро с водой, а каждый из вас мне в цилиндр дунет. Если пузырьки пойдут, я согласен на пидараса.

Будьте знакомы: жиган, Север Степаныч. Укусишь — х.. орать будет.

— Имею что сказать.

Жиган разговаривает — все молчат, все замерзло. Алюминиевая цепочка тремя цветами переливается. Словом пополам распилит.

— Ты, гоблин! Берега попутал? Пером черкану — как мойкой срежу. Промажу — замерзнешь.

Оборотку давать — усерешься. Крови нет в его составе. Слез нет. Песок один. Сухой, как вобла. Прочный, как арматура, сороковка, есть же... На одной ноге татуировка: «Ты куда?» На другой ответ: «А тебя е/т?» Не пожелай врагу своему, чтобы тот в бане, в парном ажиотаже нечаянно вдруг локтями разбросался.

— Я такую морду бычьей где-то видал недавно. Вспомнил. На банке консервной. Тушенка называлась. У КАМАЗа скат большо-о-ой, видал, наверное? Но и маааленького гвоздика, соточки достаточно, чтобы крышку менять пришлось.

Подойдешь к нему: ни наглости, ни храбрости, еще и по-русски ни бельмеса.

— Это что за чиполлино? Уроните его под шконку — пусть там лежит.

Или, если в настроении:

— О, наш брат кавказский! Пойдем, мы тебя международному языку научим.

Слава Аллаху, националистов Север Степаныч тапочком забивал. Не давал в обиду. Конфетами угощает, которых на воле не будешь кушать. В каждом рукаве телогрейки по электроду заточенному у него. Насечки такие, что туда — в масло, оттуда с мясом, на ходу рвет все, что встречает. Хотя обратно не вынимать можно. Уже потому, что он в тебе, как дома, ты до отбоя не доживаешь. Обиду выхватит — засунет на разводе хоть кому. Одного-двух при любом раскладе зацепит. Уже не страшно ему в одиночку эту темноту пересекать.

Заточка в зоне — инструмент каждодневного пользования, всегда в нужный момент должен под рукой оказаться. Бывает, сильно закипятят тебя.

— Все, все, ништяки, сдаюсь, командир, твоя правда. — Языком мелешь, лишь бы отпустил, а в башке уже электрод затачиваешь. Год можешь коварство свое вынашивать, секунду караулить, чтобы заштырить ему. И за все это время ни один мороз колымский тебя не остудит, ничем не перебить будет харю его раскумаренную, пока не затолкаешь по рукоятку, зимнюю шинель пробиваючи. Козла козлить не впадлу. Пар должен уйти. Вот почему жиган на зоне — явление нежелательное для руководства. За это он до конца срока редко выживает. Или несчастный случай ему гарантирован, или затоптают — и по активровке наружу: обществу угрозы не представляет. Уже хоть не откидывайся. Все отбито. Сполна. И ведь все наперед знает, а прет. Этот же ваш, сын Всевышнего, которого жида повесили, его же тоже пинали, избивали, плевали в него — ломали, короче. Ничего. Выдержал. Достоин смерть встретил. А потом нулёвый выскочил:

— Как дела?

Там о Нем чаще, чем монахи на воле, вспоминают.

Смотрящий

Если в зоне почему-нибудь не сидит вор и некому смотреть за порядком и гонять понятия, его место обязательно занимает смотрящий. В советском делопроизводстве такую должность называли бы ИО: исполняющий обязанности вора. Кандидатура смотрящего утверждается вором с воли по рекомендации мужиков. Есть в зоне вор, есть мужик, есть пидар. Все. Больше мастей нету.

Если вдруг до вольного вора доходят слухи о беспорядках в зоне, он призовет смотрящего к ответу. Вора проведут через КПП в комнату свиданий, где будет организована блатная сходка.

— Ну, что, бродяга¹, — скажет, — слышал, у тебя на зоне мужики могут себе драку позволить. Случается, говорят, и ногами? И правда ли, что табуретом не в кипяток друг друга нет-нет ушатают? Непорядочно.

— Да, понимаешь, Степан, водка загуливает. Мужики себя не помнят.

— Как не помнят? Я вот сегодня четвертую кружку белой засадил да на твой вес целый баян дури вколол. Ты можешь сказать про меня, что я невменяем и завтра наш разговор помнить не буду?

— Ну, это ж ты, Степа. Не равняй.

— А что я, особенный? Ты на мне не съезжай. Тебя, бродяга, поставили сюда за собой смотреть или за ИТК 44/1 корпус 7? Сдавай груз, иди к мужикам.

¹ Осужденный, придерживающийся воровских традиций и законов.

Для смотрящего это приговор. Доверие кончено. Больше ему на этот ярус не забраться. Он уже идет по барaku, смотрит, нет ли где свободной нары.

Голод

А наша Риточка
Прикрылась ниточкой.

Глазом ободрал — носом спустил. И так годами, если женщина в поле зрения.

— Эй, начальник, бабу подтяни-ка мне. Утром хотел шляпу в штаны заправить. Отскочило — сломало два ребра.

Галка — северная птица.
Она может на ходу
Почесать свою ...

На галку копить нужно было месяц. Свиданка с прощелыгой — 50 р. советскими деньгами тянула. Плюс угощение: водку им подавай в целлофане, колбасу всякую, хлеба шматок, конфету — хватает. В складчину копили, в складчину и пользовались. Вместе с конвойными.

— Ну, что, шмара бездонная, давай, распрягайся. Мне особенно некогда с тобой тут. Люди ждут. Я тебя отдеру шас по-быстрому и дальше запи..ею.

Девушка в красном,
Дай нам несчастным,
Много не просим,
Палок по восемь.

— Э, мужики, осторожно — целка на борту!

— Да, ну-на! Какое ухо — правое или левое?!

Такой ногу затолкаешь — ее не зацепит. Или иначе.

— Где был, Василий?

— На бл/ках. Ирке пачку чая тасанул. Завтра, глядишь, Ольку отымею.

Это про местных пидарасов, которые без работы в зоне не сидят.

А так — лысого гонять. Как у нас говорили, устал левой, мочи правой.

— Пойду, вздрочну на волю.

Но эта беда в зоне еще полбеда. Кто много жил, не знает. Кто много видел — знает. Знает, что когда спина чешется, можно живот поскрести, чтоб лишних усилий не тратить.

— В соседний корпус баб привезли.

— Ну, ходим, если ветра не будет.

Года полтора я жил уже на диетической баланде. Меня угощали салом из чьей-то посылки.

— Хохлы, героин пришел! — носилось в бараке. Я заартачился: мусульманину нельзя. С нами сидел старый чечен. У него был 15-летний срок. Из дальней поездки раньше вернулся. Жена, с которой двадцать лет соль ел и двоих сыновей поднял, не ожидала. От грешной дыры до кадыка распорол ее. И тому, кто с нею оказался, голову отрезал на месте. Теперь он ел сало и укоризненно смотрел на меня:

— В плену можно. — И зажевал кусочек беззубым ртом.
Я послушался старика — и закаялся.
Я его туда — оно оттуда. Я туда — оно оттуда.
Я старался уйти как можно дальше, петляя между корпусами.
Я жалел, что знаю о том, что в шестом бараке едят сало.
Я щели не мог найти, где бы запах его меня покинул. Это же надо было по крови всосать: гюнах. Грех у вас называется. Нельзя, значит — харам¹!

Волки

— Зона, подъем!!!

Ночь для эка — самое смачное время. Будет ли завтра, еще неизвестно, а сегодня твои личные минуты нужно прожить сполна. Ночью можно готовить пищу, если есть харч. Ночью можно играть в карты, если баблю есть. Можно заточить новый электрод, если два старых у тебя изъяли при шмоне. Можно колоть татуировки, если свободный кирзач есть. Из него жженку готовят. Каблук кирзового сапога сжигают для этого, пепел растирают в пыль. Порошок этот водой разводят — вот и чернила. Рисуи себя хоть до жопы. Да мало ли чего нужно человеку, для личной жизни которого отводится несколько часов сна. Поэтому, когда в 6 утра рупор орет зоне подъем, ты не сразу соображаешь, на каком ты свете, но мгновенно фиксируешь, что света там не предвидится. И пока ты обмозговываешь этот вопрос, ноги успевают доставить тебя в морозную таежную чашу.

На твоей делянке режут бензопилы, падают со скрипом деревья, лебедки поднимают их свежие смолистые тела и перемещают к обрыву, чтобы сбросить в речной поток.

Способов разнообразить эту ежедневную рутину здесь не много, и они известны всем участвующим.

— Эй, командир, отойдем, а? Просрать бы надо. 8 дней не могу — беда будет.

Конвойный послушно бредет за тобой поглубже в лес. Отходишь от проводника еще несколько шагов, за деревом расчищаешь от снега площадку, присаживаешься зад морозить.

— Разговаривать! — Звучит команда.

— Эй, командир!

— Что, засранец?

— Долго еще под пушкой на дальняк меня водить будешь?

Скрипит на морозе тайга. Бензопила «Дружба» режет тишину пополам.

— Че, умер, начальник? Я весь в ушах!

— Год и пять месяцев вожу вас — все не просеретесь, урки!

Лай собак заставляет обоих нас оглянуться. По снегу беззвучными нырками стремительно приближается волчья стая. Сколько же их... Семь, десять, двенадцать... Ты досчитываешь волков, сидя высоко на сосне, обхватив всеми конечностями гладкий, без единого сучка, ствол. Конвойный молча передергивает затвор. Волки, прошивая сугробы, шелестят стороной. Под ватником стекает по спине пот.

¹ Запрещаемое исламским шариатом (араб.).

Метка

Режим советский — это яма. Проглатывает система. Но привыкает человек. Помнит только год, когда подлетел — и когда выскочит. И самотеком — лишь бы время летело. Не оказывая сопротивления, чтоб не усложнять сплава. А начиналось все слишком безобидно, по советскому образцу, по всем правилам военного трибунала вооруженных сил СССР. С тех пор, если случалось завести с кем-то разговор об армии, на дежурный вопрос, где служил, я всегда отвечал — в Алёшинских казармах¹.

В морской пехоте не прижился. Только на первое дежурство заступил, офицер прибежал — иди, говорит, умывальник помой. Дальняк, значит. Я ничего не сказал — сразу за горло зацепил.

— Кому ты это предлагаешь, гондон?! Не подобает мусульманину такое, я твои уши царапал!

Все сказал, что умел по-русски. Нащелкать пришлось даже.

— Товарищ солдат, товарищ солдат!..

И тут подкатили диверсанты:

— Стоять! Стоять!! — Дембеля морпеха, ни обойти, ни переехать.

— Чечен! Над тобой меч висит! На ниточке болтается!.. — орал мне в харю комдив с красными лампасами на портках, майор Подлесный. — Я тебя на губу отправлю, под трибунал отдам!

— Отдавай, — соглашался я незамедлительно. — Но сам-то давление зачем поднимаешь, э?

В прокуратуру привезли, а там выяснили, что я еще присягу не принял — 15-й день службы. По разнарядке отправили в королевские войска: дисбат Подольский, среди вековых елей. Очешуешь, сколько их там. Целый день ехать будешь — и одни елки за окном. Это такие части, где оружие в руки не дают, даже ремень не носишь. Но я и в ихних генеральных штабах графины ломал, когда в окружении офицеров оказывался. Стекло горлышко с острыми клыками нет-нет удерживало их на дистанции. Лично хотели расправу чинить надо мной, но понимали, что живым не дам, а раз так — одного да прихвачу с собой. Пристрелить же никто не решался. Комчасти из последних сил желал поставить меня на место. Офицеры всех рангов имели от него добро на мою голову, но те предпочитали собственную задницу. Каждый из них уступал товарищу усмирению злобного чечена.

— Рядовой, ко мне, бегом марш! — Ухом увидел я командира части. Он не успел закончить приказа, как я рефлексом подкинул ему свой — и тоже с указанием направления. Так я впервые был откомандирован в Алёшинские казармы. Дисциплинарная обстановка. Сидишь как суточник — только 28 суток. Говорят, в этих казематах царская охранка держала Ленина². Я чувствовал, что наступаю Ильичу на пятки.

Маршировать я, конечно, и там не стал. Лейтенант молодой разбушлатился, давай из кожи вон мне сутки нанизывать. За каждое есенинское слово — трое

¹ Гауптвахта в Москве, известная особой строгостью режима.

² Домыслы тюремной мифологии. По указанию Ленина в 1917 г. в Крутицких (Алёшинских) казармах была сформирована 1-я Московская революционная пулеметная школа.

суток ареста. Рот открываю — еще пять суток. Я ему возражение — он мне еще пяток. Я ему командировку — он меня на БАМ. Дошли до двадцати пяти суток. А я знаю, что ему по званию не больше пятнадцати мне впаять можно. Что сверх того, старшим офицерским чинам позволительно. Говорю, зови-ка, лейтенант, своих генералов, а маршировать ты сам будешь. Обработал он меня, конечно, — отправил в камеру. Привели меня, положили на нары. Самостоятельно я не шевелился, похоже. Приходит от него полковник — молодой, длиннющий, худой, как обморок. В камере 17 человек. Дверь выходит в узкий каменный коридор. Командует:

— На счет «раз» всем покинуть камеру. А-а-а-рррррр-а-а-а-ззззз!!!

Он еще не закончил, а 16 человек уже стояли вдоль стены коридора. От напора слетел с кого-то кирзач и валялся в дверном проеме.

— Сколько заключенных в камере? — Спрашивает.

— 17.

— Я насчитал 16.

— Один больной, привели только что. Лежит на нарах.

— Явиться в канцелярию.

Явиться я, конечно, не мог. Приготовился лежа к обороне. Но борщить не стал полковник. Забыть решил обо мне. Пока мясо на кости не нарастет.

Но выпущенную стрелу остановить невозможно. Я объявил войну Вооруженным Силам Советской Армии. Двух победителей в ней быть не могло. Любыми возможностями я приближал развязку. К тому времени я переживал в автобате перевода в другую часть. Меня хотели определить как водителя — что-нибудь перевозить подальше, чтобы хоть как-то изолировать от меня уставных солдат. Но слух обо мне шел впереди — и меня никуда не принимали. Я был бешеным жеребцом, не дававшим себя оседлать. При одном виде узды я вставал на дыбы. Но уже шкурой чуял — мне готовят клеймо. Запах каленого железа носился в воздухе.

Незадолго до этого одна неприятность вышла. Утром перед умывальником заметил в зеркале пролысину над левым ухом, будто лишай выстригли. Во всей части я один не признавал армейской машинной стрижки, а потому выведенная за ночь плешь на лохматой голове была слишком заметна.

— Шайтан языком метит, смотри, как зализал тебя, — утешил меня кто-то из муслимов¹. Лезвием все сбрить пришлось до последнего волоса, так что муха на голове буксовала. А скоро кто-то из наших получил посылку, и в Ленинской комнате накрыли огромный стол, человек на сто пятьдесят. Весь Кавказ — ингуши, карачаи, грузины, балкарцы, аварцы... Даже из Ведено² земляк попался — сильнее других подбадривал меня разделить с ними радость русского напитка.

— Не надо мне! — До сих пор себя слышу. — Если ты мусульманин и сто грамм выпьешь — Всевышний отвернется от тебя и сорок дней, пока не отмоешься, под кнутами шайтана переживать будешь.

— Да ничего не будет! Да я отвечаю, я отвечаю, я отвечаю!..

Доотвечались до того, что месяц после того их найти не могли. И понеслось...

¹ Муслим — «принявший ислам», «мусульманин».

² Село, адм. центр Веденского района Чеченской республики.

— Товарищ солдат!

Почему вы избили дежурного на КПП 164-го отряда?

Почему самовольно завладели его оружием?

Почему остановили служебную машину начальника части 289?

Почему самовольно высадили водителя служебного автомобиля УАЗ 469?

Почему уехали за территорию военной части?

Что я должен был отвечать? Просто замкнуло. Замкнуло как — не помещался, есть? Всю часть уничтожил, расх/ярил. Арестовывать меня группу захвата вызвали. От Медведково до Мытищ все дороги оцеплены были. А ну-ка, вооруженный преступник бежал. Машину угнал, автомат забрал, КПП-шника избил — навел кошмар. Машина перевернулась в оконцовке — так чухал от их боевой сирены. Из кабины выскочил — успел еще коменданта ушатать — он руководил операцией. А я откуда мог знать, что он комендант? Кто первый попадался, тот и виноват был. Никто не успевал сказать, что он свой.

— Уведите осужденного.

Из зала заседания вывели — и томись, жди, когда тебе припаяют. Час жду, другой. Забыли, думаю. Может, пролезет? И с толпой смешался, раз-раз, уже на проезжей части, а вот уже и в трамвае. Петлял, бегал, до Филевского парка доскачал. И в штатском был — а не денешься никуда, если план перехвата объявлен да еще с попутными рекомендациями:

— Очень опасен. При захвате может оказать сопротивление.

И шустрый был, как форель, — 8 метров вверх по водопаду. Но зима — плохой товарищ для побега. Скользко. Упал. Головы поднять не успеваешь, как держат тебя уже над землей за воротник и ботинки на ширине плеч. И уже в таком положении торпедируешь в автозак. И с этого момента — шлеп: на лицевой стороне «Личного дела» красное тавро.

— Командир, зачем у меня красная полоса на деле, у других нет? — будешь спрашивать.

— Склонность к побегу.

— Откуда? Разве от вас сбежишь?

Конечно, не сбежишь, но как только красным чиркнут поперек, с этой минуты мухоморы¹ обязаны каждые два часа проявлять к тебе интерес: шмон, обыск или явка на вахту.

— Осужденный такой-то, статья такая-то, явился для отметки в журнале.

И ночью придут фонариком в морду посветить, чтобы галку поставить в твой черный календарь, пока весь барак тебя ненавидит за то, что из-за тебя одного такое регулярное беспокойство всем обеспечено. Ленин же ваш сказал: кто не был в неволе, тот не знает цены свободыбля.

Столпы

И снова в лесной глуши ждешь состава для этапа. Погода лютует, шкура лопается. Снег в рукавах высвистывает сильное слово — Соликамск...

— А эти почему в стороне?

— Потенциалы строятся отдельно.

Так узнаешь, что ты потенциал.

¹ Мухоморы, красные (*жаргон*) — представители власти: конвой, милиция, военные.

Ветер, браток, несется такой, что подпрыгни повыше — подхватит, и выстрел не догонит. Но ты знаешь: бежать никуда не надо. Ты радуешься, что вокруг люди. Где люди — там тепло и безопасность. А чтобы мысль о побеге даже спящего глаза не открывала, в лагере пересказывают одну историю без срока давности.

Где-то в колымских широтах, в лютую стужу, в самую сучью пору ее, столыпин со спецэтапом отцепили в таежном тупике, у последней проложенной шпалы. Дальше железки не было. Для дальнейшей транспортировки нужно было ожидать автозак из транзитного лагеря. Пайки и случайное левое продовольствие давно истощились. О кружке кипятка не смели помышлять как о райской птице. Ждали. Зэки коченели и требовали, чтобы их выпустили наружу развести костер. Конвой не имел на этот случай распоряжений и не отважился проявить самостоятельность. Мухоморы сами стыли от мороза и тупели от неизвестности. Надвигалась ночь. Автозака не было, связи тоже. Обезумевшие зэки стали раскачивать вагон, который каждый час рисковал оказаться братской гробницей. Конвой предупреждающе стрелял в воздух, но не отпирал затворы. Тогда кто-то из заключенных зажег огонь внутри вагона. Старое просмоленное дерево вспыхнуло на морозном ветру. В несколько секунд столыпин запылал, как спичечный коробок. Люди кричали и бились наружу, согретые последним жаром. Конвой ошеломлен от ужаса и остался неподвижен, пока не прогорели последние кости этапиремого контингента. Так они и заиндевели, глядя на грозное слепящее солнце посреди таежной морозной ночи. А всему виной автозак. Не приехал вовремя. Замерз в тайге на полсутки раньше. Антифриз загустел. С двигателем ничего не сумели сделать, и от машины отойти не посмели, верные псы тюремные. Так в автозаке в строганину и превратились — при исполнении служебных обязанностей. И это в XX веке, в самом хвосте. А холод от основания Земли существует. Вот кто в тайге хозяин.

Память

Для начала хорошо смазать солидолом. Все части. Обложить ватой, тряпкой, целлофаном, фольгой. Газетами. Снова обернуть тряпкой — и в прочный целлофан запаковать. Все это обратно солидолом смазать — на него глина хорошо ложится. И на три—четыре штыка в землю, под стойку забора в своем же огороде. Через сто лет можно выкопать, собрать — и сразу стрелять. ТТ, красавчик, — ночью белке в глаз. Любой раздражитель, чуть что — я здесь! А ну, не молчи, иди, покажи всем, как следует!

Я дьяволом стал с этим стволом. Страх кончился у меня. Шарахнешь — на три метра падают все от волны только. А потом смотрю — не-е-е... Все тебя боятся. Никто не уважает. Среди тарантулов и скорпионов жизни нет. Если Аллаху веришь, от кого тебе защищаться? Убери его от глаз подальше.

Реле времени играет, не отдаляет, а наоборот, как будто вчера все. Целую тачку грехов впереди себя толкаю. Яблоко упадет — земле удобрение принесет. А тачку куда денешь? Не гниет, всегда в свежем виде. Двадцать лет в два глаза не сплю. Проскакиваю во сне сквозь рой назойливых мух. Они преследуют меня, зловещее на ходу запуская в уши: обвинения, угрозы, какую-то страшную правду. Это зря говорят, что правда веса не имеет. Правда — она тяжелая. Нет такой лопаты, которой бы в нее врезаться и потом вывезти это дерьмо наружу.

Она твердая. Не плавится такой металл. И жить неумоготу, и умереть страшно — знаешь, что и там не шоколад для тебя приготовили. Чем дальше уходишь, тем ярче проступает.

— Ты нас больше не приглашай в дом. Мы с тобой не можем хлеб ломать. У тебя жена нечистая. Привозит, кто хочет. Увозит, кто пожелает. Хамид видел. Я видел. Юсуп на прошлой неделе видел. Извини, брат. Мы должны были сказать тебе. Извини.

Как ты встретишь меня, моя милая,
Да если я вдруг у всех на виду,
Из-за стенок режимного лагеря
Я к тебе уцелевший приду.

Не заметил, как нож в карман сунул и пошел. Его с собой берешь — он на кровь тянет, есть же?..

Постучал.

— Ты, э, жену мою подвозил, цепочку не находил в машине?

— Откуда?

— Как откуда? Цепочка пропала золотая, поищи в машине.

— Я ж подвез — не катал ее.

— Ах вот как... На, поймай тогда!..

Прямо на ноже вынес его на улицу.

Запорошенный пылью дорожною,
Да я приду на себя не похож.
Как ты думы развеешь тревожные,
Как тогда ты меня назовешь?

— Зовите старейшин. Зовите имама. Вот я!.. Заберите это.

Никто и ухом не дернул. Все знали, что таков закон.

Нож об траву вытер, как после свиньи. Думал, пар спустил — полегчает. Лег на землю, суда ждать. А шайтан над ухом тут как тут:

— Эй, ты чего лежишь? Вставай, не обламывайся! Это еще не п/ец. Вперед! Я тебя туда проведу!

Может, встретишь, как гостя желанного,
Да с удивленьем в красивых глазах,
Может, чайкой на грудь ко мне кинешься,
Может, имя моё назовешь...

Не успел опомниться — а ноги уже дома. Жена у плиты, в переднике, все кипит, глаза сияют... Вот этого-то блеска в глазах мне как раз не доставало до ощутимой катастрофы.

— Кто, говоришь, подвозил тебя?

— Никто не подвозил. О чем ты?

— Отвечаешь за свои слова? Детьми побожиться можешь?

— А если и подвозил — тебе-то что?

Я хочу, чтобы ты меня встретила
Так, как раньше, но только без слез,
Седины чтоб моей не заметила
И морщин, что с Печоры привез.

Раньше крик услышал, чем кровью засочилось лицо ее.

— Шалава. Харам теперь на морде твоей написан будет. Пусть все читают.

И вышел в огород костер развести. Огонь мне всегда утеха. А она брату звонить вздумала, чтобы спасти бежал. Я это понял, только когда к забору тачка его подъехала и дверца по мозгам ушатила. Смотрю на себя изнутри: и наяву вроде, и проснуться не могу, а уже откапываю...

Братец ее имел такой несокрушимый корпус, что его из зенитки мочить надо было для верняка. Но мой комиссар не подвел — справился. Почти весь магазин разрядил. Остудиться не мог. Ее я не хотел трогать, но она так голосила. Я хотел прекратить это и пальнул ей в рот. С одного выстрела заткнул дыру, которую прорвало криком. Чекалду ее разбрызгало по стене, и все, наконец, стихло.

Так не плачь, не грусти ж, моя милая,
Обниму я твой девичий стан,
И мелодию танго любимого...

А ведь ем каждый день с тех пор. К хлебу и воде эту же руку тяну. И молитва всегда одна и та же — каенье и прощенье. А тогда хотел оживить, чтобы снова разок ушатать. А потом еще! И еще раз.

И мелодию танго любимого
Нам сыграет красавец баян¹...

А какая-то клетка на дне башки не унимается и поверх всех каяний аварийкой сигналиит — прав, прав, прав.

Я прав.

Свобода

Помню, реку переходил. Русло Терека спокойно, отшумело, отгремело от бурного летнего таянья. В горах стало замерзать. Вода уже села, чистая, но еще довольно большая. Перекат надо искать. Есть камни, мхом покрытые, — лягушачье пальто называется зелень эта, в одно время очень скользкой бывает. Чуть оступился — болотники наполнились, и меня вниз потащило. Прибило под скалу. Дыхание кончилось, но вздох еще не сделан. Последний дух, думал, выпустил наружу, уже глаза раскрыл напоследок — и тут вода меня выбросила.

В любом месте русло может затянуть человека. Вода дает понять иногда, что ты на ее территории, не надо забывать об этом. Но и над водой Всевышний стоит. Взглянет мельком — с любого дна поднимет, и ты уже сухой, нога земли не касается.

И если тебе суждено, то каков бы ни был срок, приходит конец и ему. И ты выходишь наружу, щурясь от света, которого не замечал еще вчера, на разводе. И тело твое недоверчиво медленно принимает настигшую тебя перемену, сбрасывая многолетнюю ношу, как намокшую бурку. Вот-вот, думаешь, и последний засов упадет, выпустит душу на волю. Но что-то пока не пускает, застряло в кадыке, бьется в горле. А, это кровь толкает всю по жилам талые ручьи.

¹ Популярная тюремная песня.

Ты так истосковался по людям без номеров и погонов, что веришь, им тоже тебя не хватало. И сильно удивляешься, когда встречаешь их лицом к лицу.

— Твой брат приходит — и беда за ним. Выгони его. Не пускай в дом.

— Восемь шайтанов лучше встретить, чем тебя на своем пути!

— Купить пистолет, пристрелить тебя — дешевле обойдется.

— Твой друг тюремщик. Он тебя обнесет. Он крадун.

— У тебя есть что красть? У тебя на бутылку для меня нет, сука!

— Тормози, э, я покатил...

— Сиди! Шаг сделаешь — и тебя пристрелю. А ну, быстро, тащи все, что есть, угощать будем. Радуйся, что человек на порог твой ступил. Душа с того света вернулась!

И когда первая ночь на свободе тебя настигает и с ног валит так, что каюк, при пожаре выносить первым, и все вокруг отдыха ждут, радуются, что вот-вот в алебастру, — ты один среди них не хочешь, чтоб темнота наступала. Все лампочки включишь, пусть только заорут, спать не сможем.

— Закройте рты! Я в темноте, в непонятках, любому кошмар наведу, когда гостя встречу.

И как только выстегнешься, твой черный друг на пороге — проверить, не рановато ли я на свободу собрался. Ты знаешь, он не промажет, не забудет, не опоздает — лет двадцать последних в затыльник дышит. Он никогда не покажет своего лица, буквы не выронит. Он снова попытается душить тебя. Он ничего не объяснит и на этот раз. Ты, конечно, окажешь сопротивление, тебе снова удастся выйти из схватки живым, но душитель отступит только после скромной, но ощутимой победы: твой сон разбит.

Когда на тебе столько крови, ты не узнаешь, кто подстерегает тебя на тропе смертной мести. Кто терпеливо выжидает минуту, чтобы не дать прошмыгнуть тебе в узкую калитку на границе яви и сна, за которой притаилась награда уставшим — ночной покой. Как хороший вратарь, он не пропустит тебя в сон без сражения, без попытки подмять и раздавить плотной бесформенной массой. Ты можешь продолжать дремать дальше, но до утра уже не забудешь его истребительной ярости. Чей зловещий дух преследует мой сон столько лет? Неужели Гузель¹ не простила меня до сих пор? Или так беснуется проклятие ее матери? А всему виной этот е/анный калым. Сорок тысяч советскими деньгами я должен был заплатить за свою чернобровую красавицу. Даже если сейчас продавать начну все, чем владел когда-то, таких денег могу не набрать. Нам было по 16 лет. Я уже отлично понимал, что должен действовать в обход калыма. Загладил, уговорил, обещал жениться. И, конечно, сломал все туркменские оковы, веками оберегающие родовое сокровище — невесту, залог безбедной старости для родителей. А потом предложил бежать на Кавказ — там уж я на своих камнях сумею за нее постоять. И тут она вспомнила, что она отцовская дочь, воспитанная в послушании, — и ни шагу не соглашалась сделать от родительского дома. Я понял это по-своему. Я совсем ее не понял тогда!

— Не понравился? Лучшего искать пойдешь после меня?!. Большего?!

Коварная смерть от ножа ждала ее в редколесье. Я тогда сам не знал, что так сумею. Все вышло как-то само собой. А потом уже все было не страшно и как-то обыденно. Пальцы загигать перестал. Одним меньше — другим больше. И все

¹ Красавица (туркм.).

это, не считая урусов, которые считали меня не иначе как единицей вражеской силы, по которой страна объявила огонь на поражение.

Но простить не могу себе только муравьев. Когда уж им вздумалось муравейник разбить на моем огороде? Может, и дома предков моих еще не было? Может, народ мой впервые кирпич екатерининский увидел только-только, когда муравьи здесь свои ходы к Всевышнему уже проложили. И в одно утро — на тебе — помешали мне, путь перерезали! Не поленился же — целый чайник вскипятил для них, чтобы не перебежали больше в неположенном месте. Никогда не забуду, как остановил этот ручеек живой — и весь муравейник заварил заживо. До сих пор горю в кипятке своем.

А может, палач приходит не за что-то в отдельности, а как приговор по совокупности и без срока давности?.. Но и такого, как ты, зачем-то держит Аллах на свете. Значит, есть у Него на тебя свои планы. И когда в первую ночь на свободе ты вырвешься из лап душегуба, разорвав свой шелковый, свой упоительный сон, секунды такой не бывает, когда понимаешь вдруг, что не прокурор лишает свободы и не лагерный охранник, открывая замок, возвращает ее обратно. Только Аллах Всемогуший свободу твою на ладони держит. Ниже пыли, ногой Его примятой, мордой вниз лежать буду, пока кожа со лба не слезет. И даже, если простит, головы не оторву от земли — пока Сам не поднимет. Но милосерден Всемогуший. К Нему шаг делаешь — Он два делает. Два делаешь — Он десять навстречу. Ты идешь — Он бежит.

31.08.2015

Страна серых волков

Как я устал от дымящих запалов. Все в боевом состоянии: дождь капает — вода только села — уже высохла, паром ушла.

Один боевик

Встречные

— Улугбек, ты зачем моих людей стрелял?

— Они стреляли...

Поторопись порадовать добрым словом встречного. Быть может, не придется больше встретиться. Так говорил Хаджи Рахим аль Багдади.

Аубекир, кто не помнит тебя в ауле Старые Атаги?.. Годом к шестидесяти ты обогатился серебряной бородой и золотой гурьбой детворы. Я запомнил, как ты сидишь на крыльце с младенцем на коленях, уткнувшись подбородком в его мягкое темя. Еще человек двенадцать детских голов различного калибра галдят поблизости.

— Хаубекир, как ты? Как хозяйка? Как дети? Что это — все твои?

— Думаю... — шевельнув одной бровью, отвечает Аубекир, не отвлекаясь от своей глубокой заботы.

В Ведено хоронили известного забухая. Проводить растянулись на пару километров — родные, односельчане, старейшины. Я вез на кладбище стариков

и хотел обогнать всех, чтобы дождаться покойника на месте. Древний Ахмет тронул меня за плечо.

— Ему, конечно, уже все равно, его хоть тросом тащи, но обгонять его не надо. Туда не торопятся.

И добавил, подумав:

— Когда меня понесете, не забудьте руки мои по сторонам раскидать. Пусть все видят, что я ничего не прихватил с собой. Голым пришел — голым уйду. Гроба карманов не имеют.

Гроб с телом принято нести по очереди, меняясь каждые десять-двадцать шагов, с каждой стороны по четыре человека. Почему-то мертвое тело становится неподъемным. Недаром говорят: тяжелый, как труп. Токай подставил свое плечо под ноги покойника от самого дома. Семь человек за спиной Токая менялись непрерывно — он начинал видеть это ушами. Один Токай продолжал путь в скорбном молчании. О нем как будто забыли все, и не вспоминало Небо. Наконец он взорвал траурное величие тишины:

— Меняйте меня, е...ать его маму! Я его что, на хату к себе тащу?!

Мага. Весь стеклянный. Забыл, когда смеялся. Душ двести двадцать за ним. Ну, русские сами виноваты. Флаг у него больше, чем машина. А машина — Колхида целая. Еще не появился — земля качнулась уже. А где нога ступила, везде котлы пылают, баранов режут, хлеб ломают — Мага идет, из Аргуна.

— Как дела? Чем помочь? Как всегда? Сколько денег тебе нужно выпрямить позвоночник? На, держи, не хромай, славь Аллаха.

— Сдавайтесь. Выходите. Всех отпускаем на свободу, кто добровольно сдал оружие.

Эх, ваня, возможности нету, а то и задние лапы поднял бы!.. Но русский, думаешь, еще когда в тебя магазин разрядит, а свои уже держат на прицеле, ждут, когда шелохнешься.

— Пацаны, надо сдаваться!

Это Арбий. Его группа уйдет через горы в Турцию.

— Вы видели их сверхзвуковые самолеты? Наперегонки пролетят — и родине пи..ц. Восстановлению не подлежит, снимите с эстакады. А под Терекком у рыб все глаза уже лопнули. Я слышал, у вани и другое оружие есть: так ушатает — вся округа выстегивается! Очнемся — в дудышах¹, юбке и фуфайке — в июле и на черноморском побережье. А юбки, как у лебедей будут, на которые можно лимонад и коржик ставить. По трое выстроят — будем танцевать — в очках и ушанках.

Он был большой шутник, Арбий. Я видел, как на борту танка, Т-34, нулевого, купленного из-под полы у вани же, он старательно выводил белой краской «НА МОСКВУ».

Ваха. Я знал его.

У него был Стингер, америкосовская ручная зенитка, из которой можно мочить самолеты. На груди и на спине висело по калашу. Весь он был обернут патронташной лентой, как петроградский матрос. На правом плече его жила противотанковая Муха, он не расставался с нею во сне.

¹ Дудыши — коньки.

— Я хочу, чтобы когда я приходил, дети радовались, а не земля дрожала, — слышали мы от него. Неожиданно для всех, а больше для себя самого, в один момент перед боем он вышел из укрытия и сдал оружие.

— Все. Больше воевать не хочу. Берите — все ваше.

Он складывал перед собою килограммы смертоносного лома. Все были в оцепенении. Свои почему-то тоже не пристрелили — так это было похоже на сон или тяжелый бред.

— Не задерживать. Выдать документы. Отпустить без дальнейших выяснений, — прозвучал приказ со стороны противника. Не знаю, что успел ему шепнуть Аллах за минуту до капитуляции, только я видел его годы спустя верхом на тракторе. Весь промасленный соляркой, с черными потрескавшимися руками, он управлял самой благородной машиной, и оттуда, с высоты кабины, как-то странно посмеивался над своей прежней жизнью, то ли над нашей напрасной. Мне потом объяснили, что так конопля загуливает. Ваха пристрастился к травке. Это был его выбор, его доля смерти в мирной трудовой жизни.

Заур, аварец махачкалинский. 220 вольт — полных! Ваня выдохся мочить его.

— Застрелите эту машину. Он непобедим.

В лоб ему стреляют — он стоит.

— По-другому я бы тебя порвал, да же, командир? — И так падает. У камня нет кожи — у человека нет бессмертия. Так говорил Хаджи Рахим аль Багдади. Он умрет сейчас, Заур из Махачкалы. Но как он умирает, ты посмотри!

Где найти место, чтобы они остались? В сердце моем тесно им.

Братья

Помню двух братьев из горного аула. Старший давно оторвался от материнской юбки и считал себя горцем с мужским характером: ладонью по столу ушатает — люстра падает. И в один день начудил столько хорошего, что решил припрятать его среди ночи — не так заметно. Он прокрался в родительскую хижину в горах. Там думал переждать, отлежаться на дне, пока пыль не оседет. Младший обрадовался. Мать встревожилась, но без лишних расспросов стала лепить манты. С детства он так любил манты, ее первенец, ее гордость, ее надежда... Сын вдохнул домашнего тепла — и спустил пары. Ночь была на исходе. Закипавшая пища дарила аромат детства. Только родные стены могут дать такую полноту покоя и безопасности.

— Ох, сейчас налуплюсь мантов, — выдохнул старший.

— Если Аллаху будет угодно, — мягко поправил младший.

Мать уже накрывала на стол.

— Теперь уже при любом раскладе поем — даже если Ему не угодно будет.

Дымящиеся манты топили золото масла. Старший едва не успел положить в рот обжигающий сочный кусок, когда дверь вышибло наизнанку.

— Всем оставаться на местах. Ноги на стол. Руки за голову.

Накатили, закруглили и вышвырнули — в край вечной баланды. Больше его никогда не видели. А младший оплакивал его на всех похоронах.

— Зачем только он так сказал? Зачем? Прости его, Аллах!

Мантов с тех пор младший не ел больше. Не мог.

Вольво

Волка все погладить норовят. Кто руку тянет — без руки остается.

Два КамАЗа долларов пересекли чеченскую границу. Прошли три ультрафиолетовых облучения — только на четвертом моросить начали. Лучше настоящих оказались — на том и спалились.

Предвоенный Кавказ — хлеще дикаря из Техаса. Восьмая ходка, вся жизнь на бетоне, вся жопа в шрамах. В трехбортном костюме, а из челюсти кровь сочится.

На рынок пришел, попался — жертва. Все на бочку. Дергаться начнешь, да еще по-чеченски не говоришь — в расход. И так с 90-х: бандитизм и беспредельщина, вымогательство и открытый грабеж.

Рано утром, с шести до семи, авторынок в центре Грозного уже кипит. Волки серые шустрят. Салман собирает десять-пятнадцать человек, начинает разговор.

— Мусса дела. Хаве лахта¹! Если к вечеру мы появимся у Джагара с голыми локтями, как гуси, он нас не поймет. Так что вот перед вами авторынок. Созерцаем! Рвем! Метаем все подряд! И в кучку, как положено, а там, вечерком, раскидаем. Я здесь, на левом боку, ожидаю вас. Вперед! А ну, тормози, тормози! Это что там лазит? А ну, подтяните-ка их сюда. Что за субъекты?

Подводят к нему двух ереванских кроликов.

— Драстуйте!..

— А ну, рассказывай. Что тебя вдруг судьба бросила в страну серых волковбля? Как ты здесь оказался? Быстро говори!

— Эй, распашонку ему поменяйте! Щебех², как он уже обосрался! — Кто-то подначивает по-чеченски. — Геморрой до колена растянулся, метла повисла. — Рассказывай давай!

— Вот ми приехал в Грозный купить автомобиль, во-о-от... — Начинает бледный обморок. — Вы поможете нам, ребята?

— О-ооо! Мы тебе еще вчера помогли! Как ты прошел мимо Лечо? Он вторую неделю не может продать свой автомобиль. Ты чуть не рассердил его! У него конкретный автомобиль! Автомобиль Вольво. Вольво — хорошая машина. Восемь трупов вмещает. На любую военную дорогу гони ее. Бери — не прогадаешь. Сколько денег у тебя? Давай, вытаскивай, ничего не надо оставлять, все до последнего рубля, что там у тебя еще осталось? Ваха будет с тобой щас разговаривать. Расскажи ему, Ваха, что там за маленькая одна загвоздка у этой машины, какой нюанс, объясни ему.

— Да вот, в одну самую холодную погоду эта Вольва как-то у Лечо не завелась. Так Лечо до того разозлился, что из АКМа два магазина по ней ушатал. А так она в идеальном состоянии — можешь забирать, никогда не пожалеешь!

И на чеченском прибавил:

— Въях дейладах³! Посадите их в машину, отвезите подальше к российской границе, расстреляйте ихнах. Не надо нам здесь такого.

¹ Подтянитесь-ка...

² Взгляните мельком, зыбаните.

³ Надо же...

— Э, а какой это автомобиль продает Лечо две недели? Это не тот, который в Панкисском ущелье в обрыв улетел после ракетного взрыва Российской Федерации? Там что-нибудь долетело до обрыва?.. Э... Дейла дехдадах¹! Где ж это видано, чтоб нохча² вайнахдах³ продал свой автомобиль Вольво!..

Такси

Мне часто приходится слышать, что на русака похож, морда у меня славянская. Я начал привыкать, что похож на кого угодно — не похож только на своего. Кавказские братья видят во мне азиата. Для туркменов я навсегда останусь немного чеченцем. Бабаи считают пришельцем, похитившим их язык. Русские по паспорту подозревают во мне террориста. Татары, их же много, целый казан — и там не сумел потеряться — вычислили. Чужак. Как родимое пятно, таскаю на себе клеймо это. Даже кочевые люли сбросили меня, как балласт, на таджикской границе, не умея признать свое. Никогда не дома. Нигде не прикуриться. Всюду транзитом. Всю жизнь надо мной славянку играют. Всю дорогу бикфордов шнур за спиной горит.

А тогда я таксовал в предгрозовом Грозном.

Ко мне подсели двое чеченцев и по-русски объяснили, куда им надо. Надо было не близко. Мы сговорились. Я тронулся. Без перехода они стали говорить между собой на чеченском.

— Щас прокатимся штуки на две и швыряем моториста.

Я засмеялся.

— Что смеешься? — спрашивают меня по-русски.

— Да нет, ребята, так.

Пассажир рядом взял мои сигареты.

— Ты какие куришь? — спрашивает.

— Да вот, их и курю.

— Так это ж мои, — и кладет себе в карман мою пачку. — А я такие же предпочитаю. — И вынимает свои. Одну сигу себе в зубы, другую братку на заднем сиденье протягивает — и ждут огня.

— Спички есть? — спрашивает меня.

— В бардачке посмотри, найдешь.

— Нет, я хочу, чтоб ты мне прикурил.

— Щас остановимся, я тебе тасану огоньку.

— А на ходу не можешь, да? Или ты нас, что...

Есть такое слово у вас, пренебрегающее... Как? игноририруешь? Именно! Ты что, говорит, нас в х... не ставишь?!

— За рулем же, твоей жизнью рискую. Видишь, на трассе движение какое беспокойное. Минуточку терпения.

Я сдал вправо, отжал ручник и как зарядил того, что поближе, — и на чисто чеченском языке с русскими запятыми предложил выйти. Тот берега попутал. Дверцу открыл и бежать не может, замерз на месте. Я развернулся к заднему.

— Тебе тоже прикурить, да?

— Нет-нет, кричит, — я у него прикурю!

¹ Эх, вы!

² Чечен (самоназвание).

³ Наши люди.

Извинялись еще два дня. За русака меня приняли. Заплатили двойной тариф и ускакали сайгаками.

Но не всегда так удачно складывался день таксиста в предвоенной Ичкерии¹. Особенно, если он взаправду русаком окажется. Случалось, повезет русскому бомбиле получить дальний рейс: Нальчик — Грозный, к примеру. Даже предоплату при посадке получит. План на два дня сделан — хоть выходной бери, жену на базар вези. Он на радостях газует — про спидометр забывает, в мечтах кислыми щами рот обжигает, косточку мозговую дербанит. А из динамиков Европа Плюс по ушам трещит, пока неразговорчивый клиент только и буркнет во всю дорогу пару слов на своем в мобилу с антенной:

— Еду — встречайте.

И в Грозном, на самом подъезде к городу, уже организован прием.

— Все, махмуд, выходи, отъездишься, будь здоров! Через 5—6 часов можешь заявить, что у тебя тачку угнали. Что сидишь? Отпрыгни, покуда ветер без камней. До вокзала подбросить?

И горе тому, кто не сразу понимает, что каюк на хвосте сидит и уже по нему слезы льет, кто вместо благодарности за долгую жизнь и счастливую старость ни с того ни с сего вдруг упираться начнет, пузыри пускать, по-русски возмущения сыпать вздумает. Наружу выведут, чтоб салон не пачкать, скромно подстрелят для начала, рот заткнут, а в мозг еще умудрятся свое затолкать — для науки:

— Ты, пидараска, тебе это было нужно? Дока за сеном на такой технике ездит. Неужели тебе этот сарай дороже жизни?!

И там, где нужно кричать, рычать, орать, воду искать, он должен проглотить свою боль — и так стоять, слушать.

— Жизнь свою в копейку не ставишь, гандон? На — поймай!

И еще патрон. И в лоб напоследок.

— Заверните его. В багажник — и за пределы государственной границы, на свалку. А сарай к Лече — пусть разберется.

А уж Леча в технопарке ювелирно заменит одну цифру номера и выпустит машину на вольную волю.

— Эх, ты, махмуд... Ты бы лучше спросил, как до вокзала доехать.

Джохар

Два КамАЗа по Чечне проедутся, за каждый забор по десять-пятнадцать калашей выбросят, не спрашивая. Тахх-духх — падают в твой двор русские автоматы. Ничего не ломается, в огне не тонет, в воде не горит.

— Готовьтесь, — называется картина, — чтоб не говорили потом, что нечем обороняться было.

С чего все начиналось... С нефти, конечно, которая в недрах нашей земли только затем родилась будто, чтобы признать своего джихангира. Она ничего не хотела знать о государственных границах и терпеливо, по-девичьи, ждала, чьи руки скажут ей: моя. Ваня на берегу обозначил свое первородное право на чеченскую невесту.

¹ Ичкерия — до 1994 года ЧРИ, Чеченская Республика Ичкерия (непризнанное государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР).

— Ты что, Джохар, эту корову головой развернул на Россию, а вымя в Чечне оставил? Пасется, траву жрет у нас пускай, а молоко сами пить будете? Так не бывает. Еще если боком поставить — по четыре сиськи на каждую сторону, куда ни шло. А если, Джохар, ты недоволен, то буду доить ее сам. Эта корова моя.

И не очень интересуясь ответом, ваня решил по-своему: корову оставить на том же месте, кормить хорошенько, да винтовки раздать, чтобы волки невзначай не сожрали. А сам дважды в день доить приходил — в полном своем праве.

Конечно, для многих из нас Джохар фигурой номер один был. Ничего себе, лагерь в Науре распустить накануне войны. У кого-то срок пятнадцать лет, ему еще трубить лет двенадцать, а он утром выходит, потому что засов открыт. На вышках никого нет, конвойных нет, ворота нараспашку, не то, что калитка. Свободен, говорят. Хочешь — домой чеши, никто в спину не выстрелит. Хочешь, с нами оставайся — вот тебе оружие, вот деньги, сколько нужно, вот новый паспорт — нулевой. Сам черный весь, нос утесом крутым — Василий Николаевич теперь. Начинай новую жизнь и благодари Аллаха. До последнего шурупа сконструированный полномасштабный документ — с самой обывательской достоверной биографией. Твое дело только выучить. И банда в лесу, человек семьсот, учат наизусть свои свежие паспорта, экзаменуют друг друга:

— А где родились, Василий Николаич, а где были прописаны до того как родились, а как вашу маму зовут?

По свежим следам той амнистии прокатилась сильная волна истребления мусорского населения. Месть мухоморам, упрятавшим тебя на долгие годы, — извечная мечта уголовника. Но когда они освобождаются каждый в свой срок, одним больше — другим меньше, это не так заметно. А тут на тебе — скопище беспредельщиков получили доступ к возмездию.

— Товарищ майор?! Здравствуйте! Не узнаете? А мы тебя долбить пришли. Мы сначала тебя отыщем, потом жену твою, дочь твою, сноху твою. Потом х.. тебе в рот сунем. И чтоб тебе не так мучительно умирать было, когда хату подожжем, сонную артерию так и бытьотрежем.

У майора из штанов потечет, пока он вникает. Фосфор ведь чует человек. Он же нет-нет вспышку роняет в темноту. И невзначай прямо из кармана пальнуть по ногам.

— Бля, мне теперь куртку новую покупать надо. Дырка, видишь?

И пошел бетон по опалубке. А дальше такому уже по х/ю ветер — не важно, с кем, но против течения.

И вот уже тысячи бритых голов сепаратистов, целый косяк волков отрывается — и в горы. В лагерях Хоттаба нормы ГТО сдает, ждет распоряжений. Советский генералиссимус авиационной армии Джохар Дудаев собственноручно снабжает оружием. Ваниным, конечно.

— Кто не будет воевать, я лично буду брить усы.

Так говорил.

Думал проскакать мимо вани. А ваня голову с печки как поднимет:

— Это что за блоха тут копытом бьет? А ну, снимите-ка с нее подковы — шумит очень.

Джохар. Бекхан. Лидер без конкурентов.

В Дубае с кайфом торчит сейчас. Или в Турции. Я так думаю.

— Как? Он ведь убит?..

— Конечно!.. Но какой-нибудь миллиард долларов — и все в полном ажуре: и новое имя, и узоры на ладонях. Это не волки. Это лисы. Они все бессмертны.

Салман

Вчера из шашлычек с нами не вылезал, там-здесь — разбитной пацан был. Часто в Шали бывал — у второй жены. Ставрополь посещать любил. Там, говорил, русачки в шортах — не промажешь. А деньги всегда вынимал только в банковских упаковках. Полпачки в стакан обмакнет — вода на купюры не садится. Сухими выходят. И сам выходил сухим — и товарища не оставлял. В любой точке планеты, если свой в беду попадал — мог отмазать, не скупился. А потом с Джохаром породнился — враз недоступен стал. Забыл, что волк со всеми одинаково должен ногу поднять: и с бедолагой рядом, и с министром, потому что перед Аллахом все должны быть равны. Нам так и говорили: у него теперь другие проблемы и задачи, считайте, что нет его. Умер. И покати́л маскарад: по восемь раз в неделю умирал. То он в катастрофе погиб, то в Аравии сгорел, пепел собрали, то в персидском заливе утонул. А потом вдруг встречаешь его:

— Саламаллейкум, Салман! Как дела?!

А он тебе:

— Я не Салман. Я Салауди.

Стоишь ошарашенный, приглядываешься — точно не он. Думаешь, может, ты его так и не разглядел за много лет, пока рядом был. А потом воскрес в один день. Посреди Гудермеса, на площади автовокзала, подбадривал всех, кто способен курок отжать.

— Если я говорю с волчьими душами, то всем будет хорошо.

Колонну растянет — голова в Нальчике, жопа в Грозном. — Я собираюсь ехать в КБР. Если на моем пути будут стоять российские войска, я буду вести боевые действия.

Он всем говорил, Москву будем брать. Эти радовались и перли. Все думали, Салман шизофреников собрал. Но дураков среди них не было. Они все боялись смерти. Не боится только дурак.

Выезжал Салман и в российские части. Тыщу-две сепаратистов возьмет с собой, для убедительности, разговаривает.

— Уезжайте по добру-по здорову, оставьте нашу землю. Не воюйте со своим народом.

— А мы с бандитами воюем, а не со своим народом.

— Но если отказываетесь покинуть чеченскую территорию, напишите вашим матерям, что вам было предложено уйти по доброй воле.

Там точно был настоящий.

Когда российские спецслужбы везли Салмана в Махачкалу на «тайный» военный суд, весь Дагестан был уже заминирован. Каждый квадрат его был напичкан тротилом. Выходило так, что не было у вани такой дорогой тайны, за которую нохча не сумел бы рассчитаться наличкой. И в нужный момент поступает, конечно, звонок:

— Алле, как дела? Немедленно отпустите нашего чеченского брата, если не хотите Махачкалу отправить на воздух! Ах, плохая слышимость? Откуда

прикажете начать взрывную атаку? Квадраты такой, такой и такой-то! Огонь! Огонь!! Огонь!!! И, конечно, очень скоро в бронированный до ушей Гелендваген запрыгивает бригадный генерал Ичкерии, честь нации, неуязвимый байсангур своего народа, — и теряется в горных массивах, поднимая кавказскую пыль вокруг имени Салмана. А тем временем «при неясных обстоятельствах» в Белом лебеде¹ скоростно уходит в легенду его очередной макет, утверждая в российской военной истории миф справедливого возмездия.

— Стоп. Снято!

Волки вам не быки, чтоб на арене умирать.

Кого-то, может, и закопали в соликамской тюрьме для отчета, но точно не Салмана. Салауди, наверное?

Лебедь

Лебедь тоже, по ходу, мокрушник еще тот. Шары обледенелые, из хрусталя. Артерии начини резать — кровь не пойдет. Человек двадцать на нем висит точно, я того всё. Когда он нас навестить изволил, весь Кавказ замерз — до ахалтекинских турков. Биджорики² долго еще по ночам спать боялись: вдруг промажет — до нас долетит эта птица...

— Огонь! Вместе со мной мочите всех! — мог сказать в любой момент. Все было под двойным кольцом потому что. Вши орали бы «Алё, маааааааа»...

Подъехал на своей колеснице. В самом центряке Чечни, на площади Минутка решил побазарить с народом собственноручно. Наши ему:

— Э, генерал, х..ей займешься — мы переходим в снайперскую войну. Пуля мимо не пролетит. Один патрон — один человек.

— Разговаривать здесь буду я, говорит. Мой товарищ Масхадов будет слушать. А все будут молчать.

Шатун. Мужик, а не гребень в сапогах-смятках. Кто его лебедем обозвал?.. Тигр уссурийский, куда ни шло. Мог, как запросто, с бандитами чаю хлебнуть — без всяких экспертиз: одним видом своим уважение наводил, жути нагонял. Но с ним и люди были тоже, я тебе дам. Из чего, думаешь, их слепили, таких. Выше самого ростом. Каждый пулю зубами поймает. Кошмарина.

— Львы стареют — шакалы борзеют. Войну закончить сейчас вариантов нету. Генералы повыше меня еще бабки не подняли, говорит. — Так что повоюйте покамест.

Через тыщи голов эхо летит. Лебедь, может, уже документы свои захлопнул, а его буквы только долетали до нас. Развернулся — и улетел. 30 вертолетов одновременно в воздух взлетели — поди-гадай, какой из них Лебедь. Но ни один наши не торкнули, потому что Масхадов сказал — тише, положь трубку...

Нива

Месяц мог из Тулы одно оружие перевозить. Сегодня дуло — есть? Через неделю курок. Еще через неделю диск. Неделя еще — лента поехала. И так оно из груды металлолома растет, растет... И в один прекрасный день на! — е/ашит!

¹ Белый лебедь — исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных в городе Соликамске Пермского края.

² Народы Закавказья (*жаргон*).

Война захватила южную сторону Чечни. Салман распорядился дать столько машин, чтобы все мирное население оказалось в безопасности. Спасали сердцевину народа: женщин, стриков, детей перевозили в соседние республики. Те же, на кого муха не садись и пыль не попадай, должны были быть эвакуированы в горы — в самые короткие сроки.

Я спал по три часа в сутки. Моя Нива служила мне ахалтекинцем. Все сиденья, кроме водительского, были вынесены для большей вместительности. С детьми до десяти человек мог перевозить зараз. Между Ингушетией, Махачкалой и Чечней тысячами оставались тогда без документов, без ничего в зеленом коридоре. Ваня сильно заходил. Останавливает колонну беженцев:

— Есть с вами боевики?

— Нету.

— Тогда разворачиваем оглобли. Вам с нами — в Грозный.

И везут как заложников обратно.

Бывали у меня и другие маршруты, когда нужно было снабдить оружием горные аулы. В один из таких рейсов я заехал повидаться с братом. Мне навстречу выбежал Муса, его сынишка. Наши встречи были для него праздником и радостью для меня. Ему нравилось чувствовать, что я не совсем взрослый, как другие. Он дорожил игрой, в которой чувствовал себя со мной немного наравне. Это началось, когда я только вернулся, и местные дети висли на мне гроздьями, когда их родители не приглашали меня в дом. Я же травил им сказки, подсолненные северным словцом. А они грозили мне пальчиком:

— Ай-ай, дядя, не говори по-русски.

А потом конфеты еще всем раздавал, барбарис, есть же?

— Тебя бы в детский сад устроить, с детьми возиться, да ведь не возьмут — ты ж тюремщик.

Мамаши довольны, благодарят, нахваливают, а у меня под окном конь вороной, только что угнанный из соседнего аула. Дети не забывают своих сказочников, кем бы они ни были. Теперь Муса мчался со всех ног к моей Ниве. Мне пришлось выйти и сделать несколько шагов навстречу, чтобы не подпустить его близко к машине. Он повис у меня на шее. Детская преданность всегда трогает, но в этот раз я постарался быть строже.

— Икрам! Почему тебя не было так долго? Ты меня покатаешь?

— В другой раз, Муса.

— Почему в другой? Сейчас прокатишь?

— Нет же.

— Почему? Ты же катал меня в прошлый раз.

— И в следующий прокачу. А сейчас нельзя. Беги домой.

— Почему? — И в глазах уже слезы, вот закапает.

Как ему объяснить? Мне было нечем оправдаться пред мальчишкой. Я не знал, увидимся ли мы снова. Ванины девять грамм быстро настигают. Я сел перед ним на корточки, чтобы говорить в глаза.

— Хорошо, я прокачу тебя. Но только до обрыва — и с одним условием: ты смотришь только вперед, в лобовое стекло. Оглядываться в машине нельзя. Ты хорошо понял меня?

Муса часто закивал, как счастливый ишак. Слезы просохли на его глазах. Я посадил мальчишку рядом с собой, пристально наблюдая за малейшим движением его головы. Я знал, что запрет — безотказный инструмент сделать то,

чего делать нельзя, и потому нарочно сыпал в него вопросами, чтобы малец отвлекся и забыл оглянуться. Муса отвечал отрывисто, часто не попадая, напряженно глядя вперед, на каменистую дорогу, и было ясно, что запрета он не забудет и вот-вот начнет видеть затылком. О чем мы могли говорить, если мы должны были молчать об этом. До обрыва оставалось не более двадцати метров. Я отжал ручник. Муса резко обнял меня за шею и выскочил наружу.

— Я никому не скажу, Икрама! — кричал он мне на бегу. — Я буду тебя ждать!

Вот волчонок, подумал я. Седлом что ли почуял грудку оружия у себя за спиной. При мне он и ухом не повел в сторону. Горец, с гордостью посмотрел я ему вслед.

Мышеловка

Мы отступали во время тяжелой проигрышной операции. Я еле переставлял ноги — за спиной всегда по меньшей мере шестьдесят килограмм железа и прочего груза. В экипировку каждого второго входили среди «прочего груза» килограммы опиума. К войне страна была предусмотрительно щедро затарена поставками из Таджикистана, и воинам джихада дурь доставалась бесплатно, как оружие. Каждый с содержанием марафета в крови машиной становился: мог не спать, не есть, коня на себе в гору перетащить; один против вражеской колонны встать во весь рост — на танки, как на муравьев, смотреть, не понимать, где тут опасность. Обезболивающее — хирург называл, который наши рваные части сшивал. Те же, кому пришить уже нечего было, свою последнюю дозу обезболивающего получали чуть больше нормы. Продукт первой необходимости на войне. Если падал в бою товарищ, его мешок тут же легчал на вес опиума. У войны свой кодекс. К ней нельзя с нашей линейкой соваться.

В тот день мы отступали. В глазах мутилось от голода и усталости. Я прислонился к дереву, обнял его, прислушался к ветру. Двое обогнали меня — взмыленные, как груженные ишаки.

— Давай, давай, шевели булками, ты че, замерз!..

— Да нунах...

— Да ты чиканулся! Давай быстрее!! — И рванули на добрый километр вперед. Очень скоро я потерял их из виду — так резво они уходили от ваниного огня. И вдруг знакомый шум сквозанул голову, с нарастающим гулом пролетев мимо и разорвав небо далеко впереди. Спешить больше было не нужно. Я знал, что там уже никого. Если умирать так страшно, то я умирать не буду.

Я чувствовал себя бараном, сорвавшимся из орлиных когтей.

Больше суток петлял по горам, растяжки обходил. Ни своих, ни чужих — вымерло все. Ваня в такое место загонит, что тропинки не найдешь. В сознание приходишь — ягоды стеной алой по склону, каких ты отродясь не видал. И смотришь тогда, следы если есть — лося, зайца, — значит, дюрбанят они его, можно и тебе закатить. А если глухо, то глаза «вперед» говорят — нутро «назад» командует.

Солнце в горах закатывается рано и будто навсегда. А тут еще задождило. Из непроглядной черноты, чавкая набрякшими коцами, я ввалился на порог своей хижины. Долго не грелась печь. Глаз горелки медленно наливался

кровавым жаром. Чайник пришептывал все смелее. Наконец я приготовил на скорую руку что-то военное и стал жадно глотать, поддевая подгоревшую пищу со сковородки ножом. Прогорала с треском отсыревшая чинара. Глухо барабанила прогнившая крыша. Я был один, но пространство звучало бесперебойно. И на долю секунды все стихло. Время застопорилось немного и двинулось дальше. Тогда-то и случилась наша встреча. Я его не увидел бы. Он шуметь начал. Хлеб на крюке высох, а этот стал его царапать. По крошке выедает, а лапки все ближе, ближе к пружине. А фиксатор все не срабатывает — веса не хватает. Долбить царя в голову — где я ем и где он ест. И Сверху-то все фиксируется. Я забыл, как жевать. Резко вскочил, ногой как ушатаю этот капкан! И закаялся, что поставил эту ловушку для маленького живого. Из сковородки еще черпанул — на тебе, закати! Пять седых волос я поймал тогда.

Осы

И дали Родине угля — хоть мелкого, но до х/я...

Осколки летят — шиу-шиу! Ты в ажиотаже не чувствуешь, что они в тебе уже есть... Бежишь, стреляешь... Потом видишь вдруг — кровь течет отовсюду: артерии порваны, вены оторваны. Голова чувствует уже, что конец. По всему телу тепло, тепло... Куда же попало, успеваешь подумать. И все бежишь, бежишь, мотор пашет. И рраз — отъезжа-а-аешь. Если бутылку с водой выронить, из нее льет, сколько вытечет сразу, а потом тише, тише — до остановки. Так и кровь — хлещет, хлещет в первые минуты, а потом кап, кап... И тихо.

Я лежал после операции в больничном коридоре, среди целой свалки окровавленных носилок. На время приходя в сознание, замечал, как сновали мимо белые тени.

— Такого больного нельзя держать в коридоре, — услышал я над головой. — Из второй палаты пациента уносят — сразу же занимайте его место.

— Нам не придется возвращаться к этому вопросу, доктор? — последнее, что я увидел ушами, прежде чем отключиться. Как он там оказался?... Джагатай, шестой брат мой. Настродался тоже, навоевался с этими дикобразами Российской Федерации. Семью не собрать — в кусках мяса по дому разбросана. Кто потеряет, сколько он потерял, у того сразу башка побелеет.

Высоко в горах, где я зализывал раны, у меня был дом с осиным гнездом под крышей. Я сразу, как входил, заметил этих желтых чертей в полоску.

— Э... ерундой займетесь, выбунаху.

Уверен, они поняли меня слету. Мне пришлось убедиться в этом чуть позже.

Меня, с раздутой вдвое ногой, поднялись провести боевые товарищи. Это были серьезные люди. Двое оставались в машине. Третий, входя на крыльцо, заметил недружелюбное движение под крышей и не нашел ничего умнее, как по привычке самообороны пальнуть по гнезду из обрезка. Я забыл про ногу — так выскочил. Одна рука другую остановила, чтобы таким же рефлексом не пристрелить почетного гостя.

— Ты что творишь, кикабидзе! Как я им объясню, что ты с войны, не

умеешь в гостях себя вести! Нам всем теперь крышка. 30 укусов — летальный исход. А ну, скройся в хате, затихни там, тишину поймай!

Я переждал, пока пыль осядет от выстрела, и вышел им навстречу. Мой тигриный рой оживился. Я говорил с ними, как с друзьями, перед которыми виноват.

— Вы его простите, я того всё. Он не знал, что так никогда делать нельзя. Он оттуда пришел, где все так делают, когда опасно. Но я с ним перетру этот вопрос — обещаю, не повторит он больше такой бестактности.

Осы немного пошумели в кучке и спрятались. И муджахид мой зря морду себе закусал, прощаясь, — ни одна зверюга к нему не приблизилась. Позудели чуть громче обычного и стихли. Простили.

Ваня

Днем прикорнешь, проснешься — обреза нет. Выйдешь во двор — коня нет. Сына зовешь — тоже нет. Наш Алихан. Ему шести не было. К вечеру возвращается из леса верхом. Ноги до стремени не достают, на плече ружье, колени разодраны — падал. Грива опущена, плачет. Отчего плачет — никогда не догадаешься. Бойтся, что к коню подходить запретят, раз он в седле плохо держится. Воин рождается в горах, чтобы умереть на равнине. В Комсомольском остался навсегда, во время зачистки.

— Гнев Всемогущего Аллаха несется с Востока. Встречайте достойно, — говорили седобородые старики. — Думайте, чем разозлили Всевышнего.

Я теперь знаю — человек на все способен. Однажды, когда мрак тебя окутает, ты оказываешься как под дождем: наступает момент, когда тебе уже все равно. Это когда ты сидишь, разговариваешь тихо — и вдруг прилетает шальное масло¹: тебе хоть бы что, а мозги товарища по морде твоей разбрызгало, и надо бы их счистить чем-то. Или в один момент после града ты очнешься почему-то живым, но все, ради чего ты жил, чему радовался, из-за чего страдал, что берег и строил, — ничего этого нет больше. И такой секунды нет, когда у тебя клыки вырастают, — такие, что пасть уже не закрывается. И тогда все становится мало. Кровь остывать не успевает. И забываешь, что их 148 миллионов — такой огромный сделаешься. Половины тебя нет уже, а ты прешь, боли не чувствуешь. Они ко мне домой пришли — и смотрят, что делают.

Я, когда говорю «Россия», я знаю, что дальше земли нету. Глобуснах... Везде вания залез. Ну, гусеницу одну удалось-таки сбить с него, разов двадцать когда долбанули — молодец каким артиллерийским, его же, ваниным оружием. А вания на второй гусенице как крутанется, да на дыбы как встанет, шляпу покажет — и километров сто двадцать прошуршит, как на Волге. Сильно заходит вания. Одну голову срубишь — три у него вырастает. Идут, идут, идут... Ратиборы. Мы тоже хороши. Знаем же, что пи/ец — нет, нам один х/й надо вы/ваться! Вания за два часа любую страну ушатает — не надо к нему лезть. Он же тебя за грудки туда-сюда не дергает — оставь его в покое, пусть пьет себе эту нефть е/аную! А то нет — нохча сам хочет кассиром быть. Сам будет трубу закрывать. Краник сломается — вааания! — будет орать, — помоги, у меня авария! Ну, математику ты не знаешь, языкам тебя не обучили, но историю ты должен

¹ Масло, маслина — пуля (жаргон).

знать, я ваш нюх царапал... Ваня ни на кого первый не нападает. А во-вторых, русского за/бёшься пи/деть. С печки спрыгнет — валенком забивать будет, до Антарктиды загонит. А в-третьих, у вани друг есть — зима. До зимы ни одну реку его на перекатах не перейдешь, а зимой где переход начнешь, там и треснешь. Но вани и в горах заставит лезгинку танцевать. Одной рукой рыбу соленую есть будет, другой как е/анёт, и даже пистолет прятать не будет, пока все кости не обгложет. А по ногам любит бить... Никуда не уйдешь. Ползти, орать, кровью истекать будешь — а он тебя спросит сверху, тихо так, дружелюбно:

— Далеко ли собрался, браток?

— Да пришел уже, — отвечаешь.

— Ну, ты это... Далеко не убегай. Я шас поссу только. Заодно гляну, муджахед тот дышит-не? Подождешь, не убежишь?

Даже оружие не отнимет. Отвернется, автомат в ладони держит, как пистолет, другой рукой со штанами разбирается, не глядя, базарит с тобой небрежно. Только шелохнись со своим ТТ, и не приведи Аллах с дурным намерением — шляпы не опуская, с полоборота из калаша в лоб тебе загасит и досыт себе спокойненько, стряхнуть не забудет. Демоны, хозяева землибля. Ты ему еще норовишь буй показать, а вани себе из космоса смотрит, чаек попиваючи:

— Че это?.. С такой антенной и Маяк не поймает, а ты Монте-Карло слушать захотел.

Это такие морды — кроме Всевышнего никто их наказать не сможет.

Поймали меня ваши в оконцовке, вывезли из Гудермеса — и под гребенку.

— Да я ствола никогда не держал. Я так — оказался в ненужное время в ненужном месте.

— Хорошо-хорошо, только не волнуйтесь. Пройдемте на экспертизу.

...На коже лица нагар пороха, на плече синяк, на указательном пальце характерный мозоль. Следующий!

Если в отказную пошел — всё, чабодза. Скажут еще напоследок:

— Значит, правду говорите? Придется вас отпустить. Что ж вы другим не скажете — все бы так. Григорий, выведи товарища на свободу! — Гриша уже знает, куда следует проводить товарища.

Если сразу признался, один х... выхватишь. Ты же их покрошил нет-нет.

И... Белый лебедь соликамский. БУР¹ всесоюзного значения. Из недров Российской Федерации, из крытых режимов вылетевшие слова мои поймите-ка — всем конспирациям конспирация!..

Тавро

Уздечка, кнут — вот и весь инструмент. На ворованную лошадь железное удило нельзя надевать. Она пока не укротится, выецимбарить будет, может зубы себе повредить. Правильная уздечка должна быть — чтобы конь ее не раскусил и зубы себе не сломал. Ползком надо на брюхе проползти метров сто — нет ли хозяина рядом. Табун двадцать-тридцать красавцев как по команде головы поднимут — и все смотрят на тебя, замерзли, ни один не шелохнется.

¹ Барак усиленного режима.

— Аша... — тихо скажешь, чтоб не спугнуть, но и озвучить. Они знают, что это значит: «Ай да молодцы, как здорово, что вы меня не боитесь!» И тут только замечаешь — в стороне пастух пьяный влежку. И самый яркий конь, который его катает, к дереву привязан. Веревки с ног срежешь, пару слов на ушко нашепчешь...

— Как ты, красавчик, ждал меня? Ах ты орел, ай да козырь!

Он слух кидает. Шея гордая, спина высокая — не знаешь, как запрыгнуть. Еле уздечкой достанешь на зубы бросить.

— Давай, выручай, казбек, мне твоя подмога нужна. Не подводи, молоток, скачи, что есть мочи!

И газуешь — покуда ветер без камней.

Конь, он теряться должен. Порода породой, но тут от кузнеца много зависит. Одну лошадь подковали — она ракета была. А тут отстает, не может скакать. И в один день хозяин продает ее за бесценок. А покупатель не дурак — и лошадь ведет к кузнецу. И перекованная кобыла молнией скачки побеждает.

— Как дела? — говорит хозяину прежнему своему.

Ей всего-то и надо было подкову заменить.

Коня надо понимать, чувствовать. На коне если проехался, похвали его, поговори с ним, погладь — уважение ему окажи, на ноги его посмотри. Плохо скажешь — он тебя в другой раз из седла выкинет, оглянуться не успеешь. Конь твой вернее друга и жены. На него одного без оглядки положиться можешь. И если в горы идешь, а на нем оружие тащишь и провизию месяца на три: и мясо сушеное, и муки мешок, и табаку, и спирту сухого — всего килограмм на восемьдесят, а коня, конечно, тихо под уздцы ведешь, и только когда слишком крутой подъем, и тебе уж совсем неважно, ты, извиняючись, спросишь, не подвезешь ли, браток, — и он смирненько перед тобой гриву опустит и не обидится, что ты в его положение не входишь, прощает тебе. Конь знает даже, что если голодняк тебя в горах пристегнет, ты съешь его, а он тебя никогда. И это прощает глаз его.

Километров сто придется отжать до Беноя¹. Это такое селение, куда человека привезешь — и того купят. Да еще если повезет тавро найти на теле коня, крестик там или полумесяц, считай, в куражах. Тавро ставят обычно в такое место, куда кроме хозяина конь никого не подпустит: под яйцами, на ляжке или внутри уха. Когда раскаленным железом приближаешься к телу, живое же чувствует — не подступишься. Не веревки — цепи порвет. Большую резкость надо иметь, чтобы своего коня заклеить. Чужому там делать нечего.

— Вот там-то смотри, тавро мое — сам ставил, жеребенку еще. С детства конь подо мной. Деньги нужны очень — иначе бы не продал, беда толкает. По рукам? Тогда режь барана. Плачу!

На базаре переодеться четко, такси — и в аэропорт.

— Какая лошадь? Я вообще в седле не сижу. Хаоллах², — покатили!

И девять тысяч метров под тобой. Хоть до Владивостока доставит брат мой, ветер.

¹ Беной — чеченское село, славящееся огромным рынком.

² Пойдем, поехали.

Горы

Если в лесу устроить пожар, зверь уходит. Если птицу долго держать в небе и не давать сесть, она гибнет. Если у человека отнять все, кроме памяти, — он останется, но не забудет. Ветер же никогда не останавливается, да же? Значит, надо деревьям, чтоб их постоянно шевелили, тревожили...

Я был в горах. Скалы отвесные... На вершину смотришь — шапка падает. Горы, они живые, мощные. Дышат они. Никому непонятное ухо слышит дыхание их. Там все не так, как здесь. Если темно — то до черного бархата. И звезд — как на дне моря песка. И они падают. Ж-ж-ж... Ж-ж-ж... Летят. Смотришь — горизонта не видно. Бескрайние, беспредельные дали. Бездна. Лежишь на спине и думаешь: каждый день на небо поднимаются души. Ты их не видишь, но знаешь, что они летят. Поток. Сотнями, тысячами — поднимаются и поднимаются. Удивляешься потом — куда они уходят каждый день. А в одно утро глаза откроешь — никого. Оглянулся — и позади ничего. Все утекло. Это такая река, которую на камере не переплывешь. А и переплывешь — так на том берегу пусто. Огромная земля обтянута сеткой — посредине памятник. Жизнь кончилась там. Где вчера дети шумели, женщины их ругали, на свадьбе правнука старики танцевали, там больше ничего не будет. Кладбище. Одни змеи тучами кишат — захватили территорию. У камня нет кожи — у человека нет бессмертия. Так говорил Хаджи Рахим Аль Багдади.

Я в горах был. Удивлялся. Там, высоко, где ни один человек за любые деньги ветку не воткнет, Всемогущий бросает семя, поручает его ветру. Ветер несет его в такое место, куда ни по камню, ни по воздуху не попадешь — тур не ходит там, сорока не долетит гавно твое унести. Вот здесь будет расти, говорит, и роняет в землю. И вырастает дерево. И ему будет там хорошо. И оттого, что ему хорошо, всем будет хорошо — вот так он там будет торчать, красавчик. Хоть издали, хоть вблизи — всегда один и тот же, ни большой, ни маленький, но Дух у него огромный. Настоящее, живое создал Аллах и показал красоту и силу Свою. У нас говорят: Всевышний ломает — никто не построит. А если построит — никто не ломает.

Синдром шариата

Не возлагается Аллахом ни на одного человека
сверх возможностей его.

Коран, с. 2, а. 286

Ибо если вы будете любить любящих вас,
какая вам награда?

Евангелие от Матфея. 5:46

Обменять себя на других.
Лама Чопа

Сегодня пять месяцев, как я впустила в свою клетку снежного барса. Клетка захлопнулась. Надо как-то выжить. Я не понимаю, как это произошло, а главное, почему, за что? Я думала, что предоставила ему политическое

убежище — оказалось, он взял меня в заложницы, не только в наложницы. Вся жизнь моя обесценена, скомкана, обращена в хлам. Не могу унять сердце. Нетерпеливо жду Страшного суда — только там возможно восстановление меня в правах. Но возмездия жажду здесь, на земле. Федеральное правосудие, знаю, ему нипочем. Хочу призвать его к суду старейшин. Хочу видеть его поникшим и смиренным перед потоком моей правоты. Иначе изойду паром от гнева и ярости. И бессилия. Не может быть, чтобы

Я начну так:

— Салам алейкум, о, почтенные старцы! Я понимаю, человека нельзя рассмотреть в лупу, отделив от корней, от родниковой воды, которой он пропитан. Каждый — фабрикат своей культуры. Один такой экзотический продукт я никак не могу распробовать на вкус. Ищу любые оправдания, чтобы понять его природу — и поправьте меня, если я ошибаюсь.

Забить человека камнями, что по-прежнему допустимо исламским правопорядком, мера довольно первобытная даже для особо опасного головореза, не то что для женщины. Как же нужно провиниться, чтобы заслужить подобное наказание? Как нужно обидеть обвинителя! Мой ответ прост. С такой оголтелой самостью моего «почетного гостя», каковым он именует себя сам, с таким непререкаемым чувством превосходства, непроходимым ханжеством и хамством — для того чтобы быть забитой камнями, вины совершенно не требуется. Достаточно быть просто женщиной! Трепать ту Люсю, если не это истинное лицо шариата! Мужа ислама, вы имеете по несколько жен, испытывая в том необходимость и решая резонно, что такая же острая потребность в полигамии свойственна женщине. Все ниточки вашего семейного мироустройства ведут к тому, чтобы исключить для нее самую мысль о такой возможности. Отсюда паранджа, никаб¹, чадра — честь и достоинство женщины. Отсюда запрет на образование и тысячи ограничений, отсекающих ее от внешнего мира, от чужого взгляда. Я объявляю новую болезнь: синдром Шариата! Этот недуг призван с детства уродовать мальчиков и в страхе держать девочек, которые неминуемо взрастят и перетащат свои симптомы во взрослую жизнь. Подозреваю, у мусульманских мужчин по крови передается неколебимая уверенность, что женщина всегда готова к измене. И чтобы обезопасить себя, мужчина обязан заранее предотвратить бесчестье. Видя перед собой яркий образец мусульманского мышления, смею догадаться, что в большинстве случаев женщина шариата не успевает дожить до собственного злодеяния. Ее забивают камнями или отрезают от головы раньше, чем она дозреет до одной мысли о грехе. А после еще кичатся перед детьми, которых оставили сиротами:

— Я спас тебя от позора. Гордись своим отцом! — незримо передавая по наследству отравляющий вирус террора².

Нет, это, пожалуй, к чертям, никуда не годится. Слишком много текста и восклицательных знаков. Тоже мне Клара Цеткин.

В первые же три часа знакомства он заявил о своих долгах на Кавказе. Весьма оригинальный способ ухаживания, впрочем, как оказалось, весьма эффективный. После войны, когда нужно было начинать с нуля, ему пришлось

¹ Платок, закрывающий все лицо и оставляющий лишь прорезь для глаз.

² Терро'р (*лат. terror*) — страх, ужас.

взять в долг машину, на которой можно было зарабатывать на хлеб. Кто работает, тот возвышает Всевышнего. Но возвышать Аллаха ему не суждено было дольше недели. На полной скорости он дал по тормозам. Сразу. Без сцепления. И в гололед. И в один момент оказался должником, без машины и хлеба. Превысить скорость и все потерять — его фирменный знак.

Он был так же незащищен, как неуязвим. Кроме долгов, у него не было ничего. При этом он ничего не просил, ничего не обещал, ничего не скрывал. Таков, как есть, он прискакал за мной из горных аулов Кавказа. У меня не было времени на размышление. Конь дожидался у калитки на Литейном, куда он широким жестом завел меня в кафе, не зная наверняка, хватит ли ему расплатиться за чай с бисквитом. Почему-то прежде всех обычных при знакомстве чувств у меня появилось желание ему помочь. Из кафе я вышла его женой. Так я это чувствовала. Ночь напугала меня. Утром я проснулась с ощущением ошибки, которую больше не допущу. Этого никогда не должно было повториться. Несовместимо с жизнью, подумала я еще вслух. Решив больше не встречаться, я постаралась быть максимально приветливой напоследок, чтобы не портить о себе впечатление. Что мне стоило вежливо проводить гостя, с которым я больше никогда не увижусь. Я заварила ему чай — он спросил, не забыла ли я насыпать туда заварки.

— В следующий раз будешь заваривать сам, — как-то вырвалось у меня само собой. Он же ухватил меня за слово, как дракона за хвост.

— В следующий раз? Мне это подходит.

И мы больше не расстались.

Он и не думал рассчитывать на мою помощь, я не походила на бизнес-леди — просто не считал нужным скрывать свои карты. Он планировал, по его выражению, «сыграть с государством». Сыграть с государством он намеревался через банковский кредит. По своему обыкновению я спутала чужую проблему со своей и взялась за ее решение методично и рьяно, как за дело всей жизни. Для начала выяснилось, что кредиты дают не иначе, чем обладателям местной прописки. Этого было достаточно, чтобы остановиться было уже нельзя. Последовательно ему было отказано во всех многочисленных банках Северной столицы. Прописка не помогла.

Что может быть естественнее и глупее самого простого: подставить свою голову туда, где голова ближнего не пролезает в петлю. У него больше не было долгов на Кавказе — зато на мне повис приличный банковский кредит — с весьма неприличным процентом. А что было делать? Он угасал на моих глазах — и умри он сегодня, я не могла бы с уверенностью сказать завтра, что сделала все, что в моих силах. И я совершила это последнее усилие, с которого все только начиналось.

— Уважаемый суд старейшин, я продолжаю портрет подсудимого, стараясь сохранять объективность.

Все его представления о способе получения денег выражаются специфическими глаголами: «кремлевки», по его мнению, можно «поймать», «выцепить», «поднять», «выхватить» или «хапануть» — в крайнем случае, «на бабки можно нарваться» или «срубить по-легкому», одним словом, «харчнуться». А еще к тому же может «перепасть» или «фортануть». Я ни разу не слышала от него слова «заработать», хотя намерения его всегда подразумевают как будто

именно это. Но безденежным он ощущает себя в двух случаях: когда не может подать нищему и когда должен просить сигарету на улице. При этом мне никогда не удастся внушить ему, почему я не покупаю только самый высший сорт, особенно, когда деньги бывают последними и необходимо залатать как можно больше дыр, чем угодно, лишь бы не сквозило.

— Что это, мед? Тебе кто-то отдал? Купила? Сколько заплатила за эту бочку? А... Ясно. Это друг меда. Его надо в открытом виде рядом с ульем держать — пусть пчелы его дюрбанят, взрослый мед делают. Ну, ничего. Мы и этот съедем. Дубовая кора хуже. Плохо, когда нету.

Он педантично требователен и скрупулезен во всем, что касается его внешнего вида.

— Главное, чтоб было чистое и целое. В любом месте, эшеду беллах¹, буду стоять — на все хвост положил. Машины нет, что и коцев быть не должно? Хотя один день жить осталось, а мне положено крепко ступать по земле, не спотыкаться. Ботасы — второе лицо у чечена. Сиять должны в любую погоду, чтоб в отраженье бриться можно было. А эти кроссовки из меня пионера делают. Это я как в шортах Олега Попова выскочил — котов не хватает.

При своей голодырости его не покидает желание тащить в дом все, что, по его мнению, ничье, будь то подробная карта Псковской области, граненый стакан из гостиницы или рулон обоев. Вчера раздобыл где-то настоящую кривую саблю — и сам повесил на стену. Она великолепна. Лезвие ее, украшенное вязью, разрезает бумагу. Ножны густо населены медными небывальными тварями с когтями и перьями. Птичья голова с распахнутым клювом на рукоятки напоминает о хищном назначении этой холодной игрушки.

— А кстати, есть у вас национальный орел какой-нибудь? Ну, птица-символ?

— На гербе, что ли? Волки же...

Одет он всегда в непогрешимо черное. Это его пожизненный траур. У него не осталось ничего, что можно было бы потерять дважды. Аскетизм цвета и формы не препятствует ему, однако, выбрать всегда самое лучшее, презирая вульгарность финансового аргумента. Наверяд ли он отдает себе отчет в том, что платить банку нужно аккуратно каждый месяц, а не по мере возможности, «когда фортанет». Справедливости ради, работает он так же неистово, как неумоимо может лежать на диване, «пережидая затишье».

— Большая работа с большого перекура.

Если кайло попадает ему в руки, то уж он не выпускает его, пока не отнимут, зная, что бессрочный отпуск может наступить в любой момент. По большей же части работа действительно не желает признавать его в лицо. В этой стране 5-й пункт заменен альтернативным вопросом работодателя:

— Где вы родились?

Попытки снять угол упираются все в тот же тупик малой родины, где у него больше ничего нет, кроме руин и особенной любви к русским, разлитой в воздухе. Выставить его на улицу я не могу. Оставаться под крышей вдвоем значит начисто отказаться от себя. Я забыла о своих правах, потребностях, предпочтениях, о необходимости в уединении, тишине и покое хотя бы ради интеллектуальных штудий, связанных с работой!

¹ Сказал — сделал, отвечаю за базар.

— Не понимаю, что я делаю в собственном доме, — вырвалось у меня в раздражении.

— Ты здесь проживаешь, а я живу. Улавливаешь разницу?

Он заполнил собой все мое жизненное пространство — с первого же дня, как только перенес через порог своего будулая. Так он представил свою выдавшую виды сумку, в которой компактно уложено было все его имущество: кружка, полотенце, кожаная куртка, купленная с рук у цыгана, два тонких ношенных свитера, шерстяные брюки со стрелками, пара трусов, крошечный молоточек без рукоятки, разряженный фонарик, еще пара носков и шлепанцы. С этого же дня он стал учить меня, как следует его хоронить. Как выяснилось, это почему-то очень важно для мусульманина. Знать, кто тебя зароем завтра, куда важнее того, где застанет тебя ночь сегодня. Основной упор делался на то, что его нельзя резать. Тело, Аллахом сотворенное, должно быть возвращено Ему в том же виде. И хоронить следовало в тот же день, как кончится его хлеб на земле. Я трудно усваивала эти возложенные на меня задачи, но перечить не считала возможным. Поддержав погребальную тему, я решилась озвучить и свою посмертную волю. Я сказала, что доверяю свой прах только огню. Не желаю к червям на прокорм.

— Пойдешь, куда Всевышний велит.

— Душа пойдет, куда Он велит, а телом я сама распоряжусь. Только кремация.

— Душа вместе с футляром пойдет, куда Он скажет.

Если я покупаю на рынке овощи у одного продавца, потому что он обманывает реже других, то получаю неминуемое заключение:

— Он тебе нравится, за это ты к нему ходишь.

Если у меня открыта форточка, значит, я выветриваю преступный дух моей распутной жизни.

Если летним жарким днем, вернувшись домой, я принимаю душ, это значит, я заметаю следы, смывая позор совокупленья. Другой причины для моей гигиены не предусмотрено.

Если звонит будильник в мобильном телефоне и я выключаю его, чтобы подремать еще пять минут, он немедленно вскакивает:

— Почему ты не ответила на звонок? Чуть было не промазал этот поворот! Тебе сейчас позвонили, а ты сбросила вызов — почему?

— Это был будильник. Ты хотел, чтоб я переговорила с будильником? Что ты все время от меня выстрела в спину ждешь?!

— А не сито ли у меня на спине?!

Тогда он выхватывает мой телефон и начинается «босяцкий шмон», как он называет эту унижительную регулярную проверку с дознанием. И горе мне, имеющей мужские имена коллег в телефонной книге. Телефон мой, кстати сказать, приучен к беззвучному режиму и лежит теперь всегда монитором вниз, чтобы не светился предательский экран в случае чьих-то попыток выйти со мной на связь. Я теряю друзей и выгодные заказы. По сути, мобильник стал инструментом для общения с единственным человеком. Остальные привыкли, что я не отвечаю на звонки, и больше не беспокоят. Но ведь случается шальная пуля и через 10 лет после войны. Кто-то позвонит убедить внести взносы; сообщить, что я забыла на кассе дисконтную карту; порадовать, что будет проездом; предупредить, что явка на конференцию строго обязательна; попросить срочно найти в аптеке что-то, что есть только в Петербурге, и переслать

на Урал — да мало ли что! Все это без разбора относится к моей бехтной жизни. Все это лишь условный конспиративный язык, на котором

Вчера я накричала на кондукторшу. Меня, видите ли, не предупредили вовремя, что автобус меняет маршрут, в связи с очередным матчем «Зенита». Я устроила форменную истерику, как будто меня завезли в пещерный тупик, из которого выхода нет. Во мне что-то сломалось. Сгорел предохранитель. И таки меня завезли в пещерный тупик, из которого выхода нет.

Еще полчаса тому назад мне казалось, я нашла его уязвимое место, когда хладнокровно, за завтраком, сообщила о своем намерении искать от него защиты в мечети. Все оскорбления, все угрозы, всю грязь, в которую меня втаптывает мусульманин в моем же собственном доме, я пообещала слово в слово передать имаму¹. Пусть рассудит. Это мое последнее право на реванш. Похоже, он был взбешен. «На пику посажу, на ремни порежу», — хрипел он с белым лицом. Я же не вздрогнула бровью, только убрала со стола хлебный нож. Мысль о посещении имама я вынашивала как последнюю мечту человечества, но едва я надела шелковое платье, как он уже дважды схватился за мою задницу. Сейчас он сообщит, что «должен мне затолкать», и я снова никуда не уйду. Я обречена. Его так восхищала моя вольность, что я, не раздумывая, клюнула — тоже мне, акула, как юная рыбешка, впервые увидавшая наживу, — не понимая, что проживаю последний день своей бесценной вольности. А теперь он говорит, что вольная баба, как хороший конь без уздечки. Он хотел бы не только установить контроль за каждой минутой моей жизни, но, похоже, был бы не прочь отрихтовать мое прошлое. А лучше стереть его вовсе, чтобы белым листом я попала в его звериные лапы, где он один был бы вправе наносить письма в книгу моей судьбы.

— Он ведет себя так, точно делает громадное одолжение своим присутствием, точно это я загостилась у него и веду себя с неподобающим вызовом! Разве можно было бы выдержать его двое суток кряду, если бы не

Я давно прошу прокатить меня на грузовике. Он отнекивается тем, что Высочеству не подобает ездить в таких каретах. О том, что он водит машину, я знаю только по удушающему запаху солярки от волос и одежды. Иногда, правда, он еще приносит видеоотчеты в телефоне. Догадываюсь, главный их смысл в том, что в мобильное ухо легко можно брякнуть то, чего не умеешь сказать в глаза.

— Акула, вот я, дикарь твой. Еду, сижу, хожу — думаю. О тебе думаю, надожебля. Что делать, как быть — не знаю. У тебя голова лучше работает. Будем прорываться.

Или километры автострады, обгоняющие попутки, разделительные полосы, зеркало заднего вида, фургоны, виадуки, ключи на стартере, на руле запястье с татуировкой — все это рваное кино перекрывает орущий радио-шансон. И так минут пятнадцать — дамба, залив, облака, лайнеры... И вдруг, без всякого перехода, голос:

— Вот на одном из таких кораблей мы когда-нибудь с Акулой моей поплывем, когда куражи поймаем.

¹ Имам — главное духовное лицо мусульман, заведует мечетью.

Выходит так, что, не имея больше угла в собственном доме, я занимаю место в его мечте. Ужас в том, что мне не удастся заставить его взять с собой бутерброд с термосом. Он ничего не ест целый день за рулем!

— Тормози, э! Буду сидеть в машине один что ли закатывать? Моросишь¹? Грешно в одиночку жевать, как ты не понимаешь!

Почему-то главное впечатление от Каменного города он связывал с Зимним дворцом. Все прочие исторические памятники вызывали в нем скуку и апатию. — Эрментаж по курсу! Никуда не хочу больше. Показывай дикарю, что там есть!

Он деловито мерил шагами паркетные залы, стремительно и алчно, точно в последний раз, не слишком доверяя, что в такие места пропускают дважды. Изумленным ртом он всасывал на ходу все, что не способен был ухватить глазом. Я начала экскурсию с греческого зала, в хронологическом порядке освоения культурных ценностей. Он же, пробегая мимо краснофигурных кратеров и чернофигурных лекифов, торопился не упустить что-то более значимое. — Эти их тазики мне не надо. Пойдем резко-резко зыбанем все. — От, шкура, батоны раскинула. Харам. — Бросал он на ходу мраморной вакханке.

— Зато посмотри, какая красавица, Нимфа с раковиной. — Нижние отсеки моет? Положняково. Пойдет.

И пробегая мимо саркофага с барельефом Ахилла:

— А это откидняк чей-то, да?

И все в этом духе. И вдруг, не замечая античного бюстика в глубине кармана, устремился напрямик к темной дыре проема, где сидела пожилая смотрительница.

— Скучно вам? — спрашивает.

— Нет, — отвечает та.

— А то я бы вам анекдот рассказал.

— Слушаю вас.

— Забыл. Вот вы меня ошарашили — буквы все разлетелись. Но я вспомню. На обратном пути обязательно расскажу, я вам обещаю! Акула, а что там за дверью прячут с золотой ручкой?

И в Эрмитаже ему интересно не то, что показывают, а что скрывают от глаз.

— Подскажите нам, где Рембрант, как пройти туда? — Я не теряла надежды все-таки потрясти его эстетическое чувство.

— По итальянским кабинетам до конца, это будет линия Голландии, и у окна направо — 254-й зал.

— Кто их всех рисовал? — ни к кому обращался беглый вопрос на ходу.

Наконец, мы нашли Данаю. Мне пришлось силой остановить его за рукав, иначе бы он пробежал мимо. Похоже, больше самой картины его заинтересовала история вандализма.

— Портрет испортил махмуд какой-то? Эх, козлина. А че это он? — удивлялся он уже спиной к светозарной Данае. И только у Блудного сына он вкопался сам. Долго стоял почти вплотную с высоко поднятой головой. Затем отходил, возвращался, подходил сбоку и, уходя, долго еще оборачивался на голос экскурсовода.

¹ Несешь чушь (жаргон).

— А о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Сегодня мне приснился наш сын. Ему было лет тринадцать. Очень похож на тебя. Джигит. Только нос еще более выдающийся.

— Мама, а куда он уехал? — И это все. Я проснулась с ощущением тревоги нашего мальчика. Я чувствовала, как долго он не решался спросить меня об этом, и только догадавшись о чем-то, из последних сил желал разувериться в этом.

— Да, мне не удастся забеременеть, — скажу я почтенным старцам, — но это не повод уничтожать мое достоинство! Я понимаю, Сарра родила в девяносто, я пока вдвое моложе — у меня есть время. Но не стоит забывать об экологии мегаполиса и патологии нашего аномального союза. Если бы Сарру так изводили обвинениями во лжи и позоре, навряд ли бы она дотянула до первенца. Он взял за норму разговаривать со мной, как с продажной девкой, не способной «проследить за своей маленькой дырой». Если принимать всерьез его оскорбления, у меня должно быть бешенство матки. При том половом интенсиве, который рядом с ним неизбежен, он предполагает за мной неутолимое интимное голодание — всякий раз, как только за мной закрывается дверь. Если жилище покидает он, мне автоматически вменяются в вину порочащие связи внутри коммуналки.

Еще недавно мне удавалось остановить его гнев одним упоминанием Аллаха. Он как-то сразу стихал и делался меньше. Потом говорил «все нормально», трижды совершал дуа¹ и замолкал надолго. Как правило, все происходило по одному сценарию:

— Как день прошел? Куда судьба носила? — спрашивал он, глазами и всем существом подсказывая ему одному известный ответ. И дальше, без перехода.

— Да-а-а, эту ветку нам не исправить. Крученая, как самаркандская веревка. Опасно шагаешь, баба...

Весь мой день от раннего будильника и до поздней ночи был посвящен ему. Иногда я должна была оказаться на работе, раз в месяц в банке, чтобы заплатить по кредиту, ежедневно в универсаме, чтобы купить все, без чего он не мог обойтись. Остальное время я проводила у плиты, чтобы подать ему все свежим и горячим. Чем больше я успевала для него сделать, тем суровее оказывалось для меня наказание. Кукушка воробью пробила темя За то, что он кормил ее все время². Я не сразу перестала биться в истерике, игнорируя любую его провокацию. Со временем я стала безошибочно угадывать начало его приступов, когда он «переставал помещаться». Хотя от меня в этот момент уже ничего не зависело.

— Куда ты?

— Подышать. Душно.

¹ В исламе — мольба, обращение к Аллаху.

² Кукушка воробью пробила темя

За то, что он кормил ее все время.

(У.Шекспир. «Король Лир»)

— Шаг сделаешь — зарублю.

— Я буду сидеть с книгой под окнами. Ты сможешь видеть меня в любую минуту.

— По-человечьи тебя предупреждаю — не тревожь зверя во мне. Я его так и сяк годами баюкаю, только качать перестану — он ноет, а ты рядом с ним тарелки бить вздумала!.. Чего-то мне недостает. Скажи хоть слово. Я вытащу шаш твой крик за окна. Ты хочешь стать красной, как твоя кофта?

— Аллах тебя убереги! Аллах спаси тебя! Аллах тебя видит! Алла!..

Ты невестой своей
Полюбуйся поди —
Она спит у реки
И с кинжалом в груди.

Секунды такой не бывает, как меня подорвало с места. Когда при имени Аллаха, дрожа от ярости, он повернулся всем телом, чтобы снять со стены саблю, которой по его же выражению голову можно с расстояния резать, я испугалась, что Всевышний может не подоспеть вовремя. Обувь я прихватила на ходу, выскочив босиком на лестничную клетку. Я не знала, что мне делать, куда бежать и кого звать на помощь. Я была в открытом космосе, без ключей и на босу ногу.

Я глаза ей закрыл,
Утопая в слезах,
Поцелуй мой застыл
У нее на губах¹.

— Смотри, как все под рукой-то, а... Ушел. Ты даже не представляешь, что за сила рукой твоей движет. Он так хочет. Ты должен ему. Он требует крови — еще, еще. Ему мало. Я не могу держать себя. Я стал проигрывать. Если бы ты знала, как я устал. Он сильнее меня.

— Кто — он?

— Шайтан.

Сабля лежала в дальнем углу. Костяные ножны и рукоять были разбиты в куски. Клювы и лапы я долго еще собирала по частям.

С какую радостью человек делает хорошее — ведь это же всякому ясно, что это хорошее, а значит, если тебя и не хвалят во весь голос, то все равно знают, что они в этот момент замалчивают твоё хорошее. А вот если тебя за твоё же хорошее начинают не то, что ругать — казнить без пощады, то тотчас и завопишь:

— Верните мне мое хорошее обратно! Не хочу — раз так!

Как будто не потому ты это хорошее делал, что иначе и поступить невозможно было, а наперед зная, что такое хорошее похвалы достойно. А если бы знать заранее, что похвалы не будет, то следовало бы как-то иначе поступить, дозировать хотя бы своё хорошее, а не вываливать все разом. А то и никак не поступать вовсе, и зря только хорошее побеспокоили.

Я понимаю эту цепную реакцию так: он должен своему шайтану, я, видимо, ему самому и потому сильно задолжала банкам. Порочный круг

¹ Русская народная песня «Хаз-Булат удалой», популярная среди чеченцев.

должников. Долги глумятся, затягивая потуже бечеву на нашей общей тощей шее, а выплачиваю я одна.

Мне понадобился мусульманский авторитет, который поможет тебе исцелиться. Я чувствовала, что мы уже не бываем вдвоем. Между нами всегда вырастал теперь этот третий, который навещал тебя прежде только по ночам. Теперь он желал и среди бела дня управлять каждым твоим шагом. А заодно и моим. Это случалось в одночасье всякий раз, как только жизнь начинала принимать спокойное русло. Я никогда не верила во все эти басни, пока не

Не может быть, чтобы в таком огромном городе не нашлось человека, способного побороть эту нечисть. Должно же быть какое-то зелье. Говорят, шайтана можно изгнать Кораном и Сунной¹. Я слабо это представляю применительно к нашему случаю, кроме того, не могу поручиться за безопасность целителя, но ведь, в конце-то концов

Мне так трудно далась эта встреча. Несколько раз переносили то день, то время, то место и время — и, наконец, меня готов выслушать чеченский старейшина. Слепой — так называют его за глаза. Не брежу ли я, не во сне ли? Мысли мои побежали в разные стороны. Я не понимала, чего желаю от этой встречи больше: попросить для себя защиты или исцелить тебя. Что если вдруг это не лечится? Может, это этническая самобытность? Или все тот же синдром шариата? Но тогда как с этим жить дальше? Если шайтан действительно существует, у него должно быть твое лицо. Все это слишком непоследовательно. С чего-то потребуется начать. Не с того ли, как щелчком ты раскрыл нож и схватил меня за волосы. Я должна была немедленно признать за собой, что делаю обычно, уходя на работу, в закрытых кабинетах, куда вызывают меня по звонку. Иначе ты перережешь мне кадык и вырвешь язык за вранье. Ты был крайне убедителен — и в этот момент я верила тебе больше, чем в собственную чистоту.

— Почему у тебя такая шея грязная, а? Не пора ли смыть с нее всю грязь твою? — говорил ты с искаженным лицом, не выпуская из рук ножа, принаравливая к моему горлу отточенный рисунок движения. Я вспомнила все известные мне молитвы, даже одну мусульманскую, которую вызубрила по слогам. Тогда ты взял нож за лезвие и протянул мне его рукояткой.

— Держи крепко. Держи, говорю! Знаешь, где сердце мое? Вот здесь между ребрами — попадешь с одного раза? Делай — или я голову тебе отрежу, ну!

Ты продолжал газовать, превышая скорость, в полной готовности который раз все потерять снова.

— Я не буду этого делать. Не я тебе жизнь давала, не мне брать ее. Иди вымой руки и лицо. Успокойся. Все хорошо. Бедный мой. Я люблю тебя.

— Слабак, — сказал ты чужим голосом и выронил нож.

И лаяли на меня собаки. Думали, я человек. Так говорил Хаджи Рахим Аль Багдади.

— Одна рука другую руку остановила. Прости меня. Прости. И спасибо твоим ногам — за то, что, где бы я ни был, они туда приходили.

¹ Сунна (араб.) — мусульманское священное предание, излагающее примеры жизни исламского пророка Мухаммада как образец и руководство для каждого мусульманина.

И, коснувшись моих лодыжек, лег лицом в подушку и долго лежал в нокауте с испариной на лбу.

Я вошла в зал ресторана, где была назначена встреча, и безошибочно узнала человека, речь которому так тщательно, так подробно репетировала больше года. Пусть ответит хотя бы, действительно ли мусульманин тот, от чьих рук и языка не страдает ни одно живое. Не скажу, был ли он слепым, но темные очки в пол-лица говорили в пользу его псевдонима. Старейшину изобличала в нем седая густая шевелюра. Не знаю, кем он был на самом деле, но крестный отец чеченской мафии мог бы походить на него. Слепой предложил мне что-нибудь заказать — я согласилась на стакан чаю. Весь обвинительный пафос выветрился из меня прежде, чем я открыла рот. Мне удалось связать несколько фраз о моем чеченском муже и его болезненном воображении, с трудом подавлявшем агрессию. Но разговору не суждено было сложиться — к Слепому стали подходить с поздравлениями братья-мусульмане.

— Салам алейкум! Курбан Байрам!¹ — И меня попросили подождать в стороне. Я догадалась, что женщине не подобает сидеть за одним столом с кавказскими мужами. У людей Курбан Байрам, а тут я со своим шайтаном.

Мне передали вердикт Слепого: чудодейственного зелья у него нет, но что в таких случаях хорошо помогает язык силы. Единокровники возьмут на себя организацию. Он готов участвовать. Я похолодела и попросила забыть о нашей встрече.

Православный батюшка выслушал меня за минуту до службы — и посоветовал навестить участкового. Шайтан, дескать, шайтаном, а с хулиганом органы лучше разберутся. Поставят на учет. Потолкуют. Объяснят что к чему. И без перехода запел акафист Николаю Угоднику.

Безвыходным мы называем то положение, единственный выход из которого нам почему-нибудь не подходит...

Когда в очередной раз ты шел убивать меня, по телефону готова к скорой расправе, я в отчаянье набрала первый номер из твоей записной книжки. Абонентом оказался твой старший кавказский товарищ. Тот посоветовал мне переехать. И лучше, если не только из квартиры, но из города. Так будет надежнее. Немного радикально, зато с точечным попаданием в суть проблемы: ты неизлечим, мой бедный, мой страшный чечен.

Многое бы я отдала, чтоб воспользоваться добрыми советами моих заступников и разом покончить со своим наваждением, если бы не

«Пусть девять видов существ в трех мирах гnevаются на меня, порочат, унижают, угрожают или даже убьют меня, благословите меня достичь совершенства терпения, чтобы бестрепетно я мог трудиться им на благо в ответ на причиняемый мне вред»². Ведь кто-то же написал это для меня, чтобы я забыть не сумела. Эти несколько строк из многотысячных томов священных тибетских сокровищ выбрали зачем-то меня, чтобы колом застрять в горле. Кто один день провел в согласии с каждым из этих слов, тот знает, откуда Терек течет.

Вскоре я услышала твой настоящий диагноз. В маршрутке играло дорожное

¹ Исламский праздник жертвоприношения, знаменует окончание хаджа.

² Лама Чопа, из практики почитания Гуру.

радио. Из динамиков Слепаков во всеуслышание надругался над тайной моей драмы.

Привет, это я! Слышишь, ты!
Я — мужчина твоей мечты.
Поздравляю, ты мой жена!
Теперь тебе все нельзя.

Я смеялась и плакала. Я больше не жертва шайтана. Я комический персонаж.

А пока я пытаюсь достичь совершенства терпения в роли укротительницы волка. Причем зверь мне предлагается всякий раз совершенно дикий, из самых дремучих джунглей. Рискую жизнью, его нужно с порога гладить по шерсти, ласкать и заговаривать зубы, жалеть и прикармливать сырым мясом, тетешить и поить свежей кровью — прежде чем его оскал сменит недоверчивая улыбка. Недаром говорят: тигр сильнее волка, но волк в цирке не выступает.

— Ну, хорошо, а если мы уедем на Кавказ или я устроюсь на КАМАЗ, тогда ты будешь спокоен?

— Э, женщина и в сундуке упороть может.

Все, что составляет мою жизнь, для тебя харам.

Туда не иди, сюда иди.
Стой, где я сказал, тихо, я сказал!
Если я говорил — ты молчал.
Если я молчал — ты вокруг танцевал¹.

Такое чувство, что давно бы разбежались, если б не спецзадание: доехать до пункта назначения любой ценой — во что бы то ни стало. Я на грани вымирания. Мне не выжить в зиндане. Пора выбираться. Довольно иллюзий. Не всякий волк в конце сказки превращается в прекрасного принца. Я должна отрезать тебя раз и навсегда. Вот только ножницы мои затупились.

«Акула, ты моя самая простая. Больше чем уважаемая. Может действительно на тебе все остановилось вместе с зимлей? Я хочу сказать как только почищу хвост и этот поганый груз сойдет с плеч моих я докожу тебе, что не зря ты со...»

Я делала уборку и потревожила грудку пыльных бумаг на шкафу, среди которых на меня посыпались твои записки. Это было в один из твоих приступов, в самом начале. Долговое бремя уничтожало тебя, поедая заживо. С Кавказа звонил кредитор, напоминая о мусульманской чести. Звонили оттуда же старшие братья, которых посещал кредитор, напоминая о мусульманском бесчестии их кровника. Все это рисковало плохо кончиться. В любой момент ты вдруг замолкал и, обняв руками затылок, начинал маятником раскачивать себя взад-вперед. А однажды лег поперек кровати, и я почувала, что ты не спишь, но из тебя будто ушел сок. Ты как-то обмяк весь, и глаза потеряли фокус. Я не сразу стала приставать с вопросами — молчание. Думала, обиделся на что-нибудь, не разговариваешь. Потом испугалась, что оглох — стала в лицо говорить, артикулировать. Молчание. И только через время жестом попросил дать тебе бумагу с карандашом.

«У человека два языка. Вот второй онемел внутри кадыка. Маленький

¹ Из песни Семена Слепакова.

язычек вот он морозится. Так бывает». «Зло берет тебя наверное? Вот и ты смотришь на меня и хочешь стукнуть. Как на Петровке 38. Как они злились. Били даже. Думали я издиваюсь. Я там просто нервничал. И вышел чистым. И всегда выйду иншалла».

«Я если напрягусь буду говорить. Но половины ни ты ни другой непоймут. Буквы очень стыдно звучат в это время. Лудчше промолчать. Отпустит скоро: день-два... Ты не ссы — все ровненько. Остальное как в Швейцарии».

«У тебя хорошая возможность отпрыгнуть от меня. А может не ожидая самому мне исчезнуть с твоей жизни?»

«Вдруг я говорю вдруг помру ты знай для себя я люблю тебя. Пока не родишь этова слова тебе не слышать. Вот тебе и дикарь».

«Скажешь что я калека — я тебя не пойму, смотри».

«Это был мой последний дифект. Так что я теперь весь на лодожке. Ты меня не брезгуй, хорошо? И не бойся меня никогда. Я на правельном пути. Я теперь знаю что Всевышний Велик».

«Первый раз чериз день прошло. Когда отец уехал. На Петровке чериз 2 дня. Последний раз года три назат».

В последний раз я спросила, быть может, я слишком навязчиво опекаю тебя, не даю уйти в сторону — так это только видимость. Может, ты давно встретил бы свою женщину, с которой будешь счастлив. С которой будешь ходить босиком по траве при свете дня и жечь костер среди бессонной ночи. Которая... сумеет родить тебе детей. Я тебя не неволю. А может, уже есть такая женщина?... Ты отвечал, что лучшая дорога — это дорога, которую ты знаешь.

Уже полтора года, как «неизвестно зачем балерине водитель». Так ты называешь меня, особенно остро переживая нашу инопланетность и, увы, несовместимость. Мы живем порознь. Видимся крайне редко. Ты нашел возможным и необходимым шагнуть в пустоту, чтобы не подвергать меня опасности. Ты живешь, как кот.

— Но не тот, который бантиком под хозяйскими окнами гуляет, ля-ля-ля говорит, а потом в форточку прыгает, а тот, что на ветке спит, а ночью на охоту выходит. Случайный ночлег, случайная шабашка.

— Дверей нет у меня. Все в воздухе. На лету.

Постелите мне стееепь,
Занавесьте мне окна туманомбля...¹

— Я спал сегодня. Три часа целых. Раздетый спал. Лежа.

Сегодня ты впервые катал меня на своем сарае. Так ты называешь старый грузовой Фольксваген с мятой кабиной. Из точки «А» через прочие кочки алфавита — скат земли не касался. Я засыпала в огромном кресле после бессонной ночи, а ты был неумен, как мальчик, предупреждая малейшие мои движения: не дует ли, не жарко ли, не дымно ли, не пыльно ли — носился вокруг своей плисецкой.

— Ра-а-адоваешься... — Глядя в лобовое стекло, ухом снимал мою улыбку.

Мы ехали через мосты и магистрали, и, казалось, дороге не будет конца, что здесь мы и будем, наконец, вместе, вдвоем, и будем счастливы. Мы упрямо не желали признавать, что и сидя в одной кабине, едем в разные стороны.

¹ Из песни Ю.Визбора.

Мы встречались все реже, ссорились чаще. Для детонации бомбы тебе не требовалось оригинальности. В нашу коммуналку въехал молодой красавец — это моя креатура. Или я пропустила звонок — как же мне некогда! Или ответила из метро — продолжаю «шустрить», «наводить движения».

— Еще одна такая промашка — дверь на ту сторону открою, вместе с косяком вынесу. Меня могло спасти только алиби Геббельса, до которого я всегда не дотягивала. От меня требовалась неустанная имитация островной жизни и полного отсутствия связей с миром. Любой вектор отклонения — аптека, библиотека, электросбыт, парикмахерская — все оказывалось на подозрении. Согласовывать эти партизанские вылазки было небезопасно — это значило дальнобойную подготовку отходных путей для моей мышинной возни. Любое несогласованное действие необходимо было скрывать — а все, что я скрываю, немедленно обнаруживалось и расценивалось как измена на корабле. А между тем, я, кажется, была твоей единственной неутолимой жаждой. Если случалось нам долго не видеться, и ты появлялся три дня не евший, неделю не спавший и полжизни отдающий за глоток крепкого чаю, по умолчанию все откладывалось на потом. Сначала — Акула... А потом ты исчез, блудный сын. В последнюю неделю старого года.

— В настоящий момент абонент не может ответить на Ваш звонок. Оставьте сообщение после сигнала.

— Абонент временно недоступен. Попробуйте перезвонить позже.

— Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети.

Может, тебе пришла пора выпить воды в горах, которая прошла семь камней, а значит халал, пить можно — и ты вернулся на родину предков: туда, где черешня в мае, где абрикос вдоль дороги, где кукуруза с подсолнухом. Я знаю, ты весь высох без своего Терека. Или ушел в стаю, вырывать свою добычу зубами. Самые худшие догадки я не пускаю на порог. А может, решил, что стекло, которое на морозе *цццкркск* сказало, уже не годится? Только плавить! Что ж, кто-то должен был прекратить эту кавказскую войну.

Я больше не помню, что выплачиваю твой кредит, что ищу подработки, перезанимаю, возвращаю и занимаю снова — чтобы только заткнуть эту долговую амбразуру. Я знаю, если бы эти деньги давали за твою печень, ты, не задумываясь, вернул бы их. Нет, не об этом мои мысли о тебе. Я вижу, как ты ломаешь хлеб за моим столом. Как переливаешь свежий чай из кружки в стакан и обратно. Как напрягаешь шею, когда буксуешь в таблице умножения, особенно на девять. Как до блеска начищаешь свои ботинки, а затем мои. Как, переходя зебру, двумя руками благодаришь притормозившего водителя. Как по-собачьи вытряхиваешь из ушей воду.

— Ухо забыл вытереть. Этот вытер, а этот нет. Теперь там вжикает внутри. Вижу твою молитву перед сном. Слышу, как разрезаешь сочное яблоко своим страшным ножом. Чувствую, как в полусне прикрываешь меня одеялом. Помню, как, уходя, обнимаешь на прощанье, чтобы всем телом запомнить мое тепло на время разлуки. Никогда ведь неизвестно, куда убегает эта река. Нам дано знать только ее исток, откуда все когда-то уходит в память. Туда, где рождаются все глаголы на «л».

Ты упорно повторял:

— Россия у меня все отняла. Россия мне рожать будет.

Я хотела отогреть твоё сердце.

Я хотела зализать твои раны.

Я хотела искупить многолетнюю вину текущей во мне русской крови. Не могу простить себе ни одной детской души, отправленной напрямик к Аллаху моим отечественным оружием.

Я хотела бы полностью покрыть этот изуверский ущерб, а не сумела возместить его хотя бы одним маленьким джигитом. Что делать, если мои гормоны стресса зашкаливают рядом с тобой, не оставляя Кавказу ни единого шанса оплодотворить Россию.

А я так хотела этого. Мне жаль. И все же умри я сегодня, ты не смог бы сказать завтра, что я сделала не все, что в моих силах. Об одном прошу: где бы ты ни был, не превышай скорость. Тогда рано или поздно наши дороги снова сойдутся на перекрестке.

И тогда может даже

Иншалла.

11.03.2016

Сергей Васильев

(1957—2016)

Из последнего...

* * *

Разве зима утаит угрозу —
Морозы всегда тихи.
Деду Морозу писать бы прозу,
А он сочиняет стихи —
На деревьях, на стёклах оконных,
На срубах колодезных да
Проводах — слаще слёз иконных
Волжская только вода.

Старость и мудрость ближе и ближе,
Дальше и дальше боль.
Встать бы, что ли, сейчас на лыжи,
Чтоб проросла любовь,
Чтоб средь деревьев, грубых и нежных,
Словно поводыри,
Вырос белый, как смерть, подснежник
С жёлтым глазом внутри.

* * *

Иволга, Волга, долгая мгла
Ночи вещей и смерти игла —
Как об неё уколется?

Иволга ладно — да пусть поёт,
Она же души наши не пьёт,
Нежности потакая.

А всё остальное, знаешь, не в счёт,
И Волга пусть течёт и течёт,
Жёлтая и голубая.

Васильев Сергей Евгеньевич — поэт, переводчик, издатель, журналист. Автор 20 книг лирики и стихов для детей. Жил в Волгограде. Возглавлял редакции детского журнала «Простокваша» (1991—1995) и газеты «Русское поле» (1995—1996). Лауреат многочисленных российских и международных литературных премий.

* * *

Спать хочется всем — солнцу, кроту,
Молочным зубам, тающим во рту,
И русской обыденной речи.
Сиянье синиц и зиянье ресниц
Запомнится тем, кто падает ниц
Перед тобой, человеке.

И неважно, что дальше — флейта, гобой,
Важно то, кто ведёт тебя на убой,
Прикинувшийся коварным,
Важно то, что сохранилась речь,
Которую ты не умел беречь
В пространстве сыром и тварном.

* * *

Печень коршун клюет — что ещё случится?
Забредёт сырая, как смерть, волчица,
Раскрывая картавый беззубый рот.
Верь, что жизнь ещё приключится
С точностью до наоборот.

Над тобою не птица — стальная спица
Тех небес, которым нельзя присниться,
Потому что полночь слишком нежна,
Как синица иль как зегзица,
Или как чужая жена.

* * *

Светлячок в траве сидит
И мерцает одиноко,
И глядит, глядит, глядит,
Как луны печально око.

Хоть иголочку зашей,
Хоть гляди на жизнь украдкой,
Но без этих без бомжей
Жизнь была б слепой и краткой.

Он бы бедную согрел,
Этот сильный человек,
Если б светлячка не съел
Неожиданный кузнечик.

Улыбайтесь, богачи,
Обнаглевшие не в меру!
Если вам нужны харчи,
Съешьте хоть меня, к примеру.

Все кого-то есть хотят,
И съедают, и съедают,
А потом хрустят, хрустят —
И бомжи вокруг летают,

Я, наивный дурачок,
Не поверив смерти сразу,
Всё хочу, чтоб светлячок
Выплюнул бы ту заразу.

Размышляя: вот бы нам
Съесть кого-нибудь такого.
И грустит по временам
Слово, глупо, бестолково.

Чтобы пашня расцвела
Чернозёмным горчицетом
И чтоб ты всегда была
Тихим солнышку ответом.

* * *

Плачут в речке невода,
Плачут рыбы иногда,
И течёт, течёт вода
Ниоткуда в никуда.

Гром грохочет над рекой,
Пляшет ливень под рукой,
А потом придёт покой,
Называемый тоской.

* * *

Бьёшься, как рыба об лёд, ничегошеньки не понимая,
Но одуванчик уже раскрыл белый, как смерть, парашют.
Ты идёшь по жизни, зевая, кривляясь, хромая, —
То ли голый король, а то ль королевский шут.

Где ты, любимая, ты ведь была нетленной,
Была городской, а коз деревенских пасла,
Ты бы меня и от звона голодной вселенной,
И от жизни холодной, и от смерти горячей спасла.

Как порой по ночам мы бессмысленны и одиноки —
Да и впрямь от луны не дождёшься ни зла, ни добра.
Белобрысая кошка доверчиво трётся об ноги —
Это значит, что утро. Значит, работать пора.

* * *

А Создателю вновь хвала —
Его желчь отыщешь с трудом.
Вот твой храм, сгоревший дотла,
Вот твой странноприимный дом.

И в серебряной нищете
Что же делать, Господь, прости,
Горемычному сироте —
Разве руки крестом сплести.

Из-за пазухи нож кривой
Ночь достанет, станет, как зверь.
Ты поверишь, что я живой? —
Умоляю тебя, поверь!

Публикация Елены ХРИПУНОВОЙ

Владислав Городецкий

Рассказы

Фёдор Брагин

Они часто спрашивают, как мне удастся покупать алкоголь с такой школьной физиономией. Что ответить этим приматам в синих кителях, если целью вопроса был и остается сам вопрос? Обезьяна, которой эта острота на сей раз пришла в голову первой, довольно оглядывается на остальных, а те без стеснения смеются так, что их пенистые слюни долетают до моего лица. Я же, сидя на стуле со связанными руками, пытаюсь утереться о собственное плечо.

Все просто, обезьяны, — хочется сказать, — во внутреннем кармане ветровки неизменно находится паспорт, в котором указана дата рождения. И еще — настоящее имя, а не то, которое я назвал. Я представился Сергеем Довлатовым, потому что твердо знаю, что о таком писателе вы слыхом не слыхивали, была мысль назваться Львом Толстым, но тут уже имелась определенная доля риска.

Может быть, так бы я и сказал, будь я чуть пьянее или трезвее, но сейчас, в нынешнем состоянии, мне остается только мотать головой и тереться лицом о плечо ветровки. Жаль только, что ночь в обезьяннике предстоит провести мне — Фёдору Брагину, а не русским классикам.

Я не признавал себя курильщиком, пока стрелял сигареты у друзей, и этим обходился, алкоголиком же я себя не признаю, пока не начну похмеляться с утра, так что идите к черту, так называемые благодетели. Нет у меня проблем с алкоголем, как говорит один модный писатель, у нас с ним доверительные отношения. Куда ни шло (а я бы сказал куда следовало пойти) замечание, что я не знаю меры. Да, это так, но я и не желаю с ней знакомиться. В конце концов (хотя точнее будет все же сказать «в начале начал», потому как только из-за этого я и позволяю себе выпивать) я человек труда: честно зарабатываю каждую литро-копейку.

Сколько себя помню, надо мной господствуют две страсти: к машинам и хорошим книгам. В девятом классе я правильно сообразил, что писательство

Владислав Городецкий родился в 1993 году в городе Щучинске на севере Казахстана. Окончил бакалавриат Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина по специальности «архитектура». В настоящее время продолжает обучение в магистратуре Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Участник XV Форума молодых писателей ФСЭИП. Публиковался в сборнике «Новые имена в литературе» (ФСЭИП, 2016). Первая публикация в «Дружбе народов».

может подождать, к тому же дело это бесприбыльное, и стал подрабатывать в ближайшем к дому СТО. Не надо делать скоропостижных, но в какой-то степени справедливых выводов — с выпивкой я познакомился не там и гораздо раньше. Так что, к настоящему моменту я действительно продвинулся и в том и в другом, жаль, эти специальности не предусматривают карьерного роста.

А к литературе меня приучили с младенчества: вместо сказок на ночь мать читала мне «Белый Бим Черное ухо», и перед тем, как спокойно уснуть, мы обязательно рыдали, что очень раздражало отца.

Соседи, застав меня за очередной книгой, говорят, что чтение слабо вяжется с моим образом жизни. Точнее, говорят они что-то вроде: «Это, типа как бы странно, что ты читаешь, ты же типа как бы, ну, этот, как его...». «Уважаемый, иди мимо», — отвечаю я с присущим мне лаконизмом в устной речи. Мое рахитное тело и костлявые руки больше их не обманывают: каждому раз да пришлось на вкус попробовать мой кулак. Женщин я, разумеется, не бью, но их мужья и даже дети, из числа тех, что физически развиваются раньше, чем умственно, знают не понаслышке (если только речь не идет о звоне в ушах), сколько силы налито в мои еле различимые мышцы.

На работе я не пью, в отличие от большинства моих коллег, а с усердием, порой чрезмерным, выполняю свои обязанности. Начальству да и постоянным клиентам нашего СТО это доподлинно известно, так что и выработка у меня больше, и подлевать мне позволено прямо на рабочей площадке. Коллегам ничего не остается, как молча меня недолюбливать и только изредка обнажать эти чувства в колкостях, касающихся исключительно моей внешности. О чем еще остается шутить этим несчастным? Говорят, например, что дома я пью какую-то особенную водку, от которой стремительно молодею, и такими темпами, что скоро придется добавить к моей спецодежде слюнявчик и подгузники. А я отвечаю в таких случаях, что, мол, пью я, а руки трясутся почему-то у остальных, причем так, что не советовал бы работать с дорогостоящими деталями.

В ту пятницу я самозабвенно отпахал до вечера без единого перерыва, за что и был вознагражден. Клиент почистил блок дроссельной заслонки и клапан хода, отчего у него поднялись обороты. «Не зная броду, не мучай жопу», — сказал я в своей манере. Он успел посоветовать снять топливную рейку, на что я ответил, что доверю ему самому сверлить новую резьбу в таком случае. Владелец умолк, а я за час с небольшим управился с его машинкой, по ходу дела комментируя свои действия. Он был так доволен, что сам предложил расплатиться со мной лично, обойдя кассу. Деньги небольшие, но до конца смены я буквально чувствовал их жар в переднем кармане спецовки.

Стоял приятный майский вечер. Приятно было мерно прогуливаться по улочкам (пускай и вконец разбитым), возвращаясь домой. По дороге я заглянул в супермаркет, но не толкался в очередях, как остальные посетители, а спустился на цокольный этаж по пожарной лестнице и вышел к двери склада. Уже несколько месяцев я покупаю скоропортящиеся продукты (которые действительно скоро испортятся) по милосердным ценам. Главное — успевать съесть, а ем я будь здоров.

Купил полкило говяжьего фарша, срок годности которого выходил на следующий день, и через десять минут спокойной ходьбы подошел к своей

коммуналке. Наш город не славится оригинальной архитектурой, но это здание — своего рода шедевр. Такого количества разнородных пристроек и надстроек я нигде больше не встречал, этакий монстр Франкенштейна, уродливый, но по-своему прекрасный. Странно, что здание не сносят. Может, его причислят когда-нибудь к памятникам архитектуры. Памятник героям, перенесшим тяжелейшие для страны времена перестройки и кризиса.

На моем этаже в коридоре навстречу из бытовки выскочила соседка, имя которой мне никак не удастся запомнить; мамаша четырех погодок (все от разных отцов). Самому старшему сейчас шесть. В руках она еле удерживала тазик с горячей водой, видимо, собралась купать своих голожопиков. «Федя Брагин и без браги!», — нашла в себе силы пошутить она. Я выхватил из ее рук тазик и помог донести его до комнаты. «Да сама бы... — начала она, — ты смотри, не поломайся только!» «Не ссыте, уважаемая», — успокоил я. «А фамилия-то у тебя говорящая! В духе русских классиков. Посиварить ты любитель!», — не унималась она. Моим соседям нравится иногда блеснуть своими познаниями в литературе в моем присутствии, а мне, в свою очередь, нравится эта их тяга.

На ужин я отварил себе макарон, сделал луковую зажарочку, аккуратно выложил в нее фарш, который вот-вот собирался испортиться, дождался, пока он начал источать приятный запах и вывалил почти готовые макароны из кастрюли в сковородку. Все это дело я приправил черным молотым да солью и с любовью помешивал деревянной лопаткой, которую стянул у кого-то ненароком где-то год назад. Получилось так вкусно, что мне жалко было съесть все добро одному, и я, отложив себе небольшую порцию, отнес оставшееся на сковороду многодетной мамаше. Она так горячо меня благодарила, что мне стало неловко, и я невпопад попросил ее не забыть вернуть сковороду, потому что у меня она единственная, а ем я каждый день. «И пьешь!» — добавила соседка с какой-то грустью, как мне показалось.

Доедал я свой ужин с двойным наслаждением. Непривычно было есть с тарелки: не соберешь самую вкуснятину горбушкой хлеба с чугунного доньшка, но в этом и было то самое наслаждение. Я представил, как эти оборванцы уплетают макароны по-флотски за все свои восемь щек, а затем наперебой лезут в посудину хлебом.

Прибравшись немного в комнате, я набрал полный таз горячей воды и начисто смыл с себя все следы трудового дня. Надел недавно постиранные джинсы, которые хоть и растянулись в коленях и немного выцвели, но сохранили презентабельный вид, и полез в шкаф за белой рубашкой в синюю клетку. Она оказалась неглаженной, и мне пришлось немного повозиться над ней с утюгом (одевается каждый в меру своих средств и вкусов, но аккуратность — украшение простое и доступное всем). В тот день я собрался посетить место, о котором грезил уже долгое время, — ирландский паб в самом центре города. Судя по тому, что я слышал, у этого бара была отличная репутация, и там собирались очень интересные люди моего возраста. Но и цены там были соответствующие, как мне сообщили.

По дороге на автобусную остановку я, задумавшись, притормозил около пивнушки с ретроспективным названием «Вечеринка», в которую нередко заглядывал раньше. Нет, с собой у меня было слишком много денег для такого заведения. Я мог слишком разгуляться и бестолково прокутить их все и сделать ирландскому бару ручкой еще на несколько месяцев.

В автобусе милая кондукторша улыбнулась мне, протягивая билет. Было так приятно получить его в чистую руку, не запачканную мазутом, положить билет в карман чистых джинсов и улыбнуться ей в ответ. Иногда мне непередаваемо приятно жить. Но постоянно находиться в таком состоянии невозможно. Не потому что другие не дадут, а потому что сам не вынесешь собственного счастья.

Я разглядывал пассажиров автобуса и пытался угадать по внешности род их занятий. Одну девушку я так ловко разгадал, что еле удержался, чтобы не подойти и не спросить: «Вы студентка иныа?».

Прямо с остановки я увидел светящуюся в полутьме оранжевую надпись «IRISH PUB» и листик клевера, горящий зеленым.

Говоря откровенно, было страшно приближаться к этому пабу — не волнительно, не беспокойно, а в самом деле страшно. Как будто люди могли не просто осмеять меня, но и казнить за мою несуразную внешность. «Они такие же, как ты, — пытался успокоиться я, — из того же мяса, из той же глины». Получалось не очень. «У них тоже, наверняка, несоразмерно длинные руки или огромные носы. Они толстые или худые», — уговаривал себя я, но как только переступил порог и взглянул на менеджера или администратора или кто он там, понял, что крупно ошибся. Он, с фигурой Давида и не уступающим ему в красоте лицом, стоял в фойе между гардеробом и проходом в общий зал в красивых кожаных туфлях, коричневых брюках, очень дорогих, это сразу бросалось в глаза, и синей рубашке в бледно-голубую полоску. Рукава на рубашке были небрежно закатаны, и я подумал, что нужно будет зайти в уборную и срочно закатать свои таким же образом. Он вопросительно взглянул на меня. Между нами было метров шесть, но я видел его глаза, как будто он стоял ко мне вплотную. Я сообразил, что нужно сдать ветровку в гардероб, но, направившись туда, совершенно забыл, как ходить, куда девать руки при ходьбе и как прежде я переставлял ноги, не задумываясь. Не получилось окончательно решить — снимать ветровку по ходу или остановиться и снять перед самым оконцем, из которого испытующе смотрела гардеробщица, и, спотыкаясь, я сделал что-то среднее, так что моя рука запуталась в рукаве, который вывернуло наизнанку.

«Вас ожидают?», — спросил молодой человек с непонятной должностью. Что значит этот вопрос, кто может ожидать меня там? «Извините?» — переспросил я, сжимая в мокрой ладони пластиковый номерок из гардероба. «Вы на день рождения?» — спросил он. Я боялся, что если отвечу «нет», то меня могут просто-напросто развернуть к выходу. «Да, конечно», — ответил я. «Вы, наверное, сразу с работы? А можно, пожалуйста, ваш паспорт, у нас просто возрастной... можно только с двадцати одного». «Да-да», — выпалил я, вытер мокрые ладони о джинсы и достал паспорт. «Двадцать три?» — удивился он. — Хорошо сохранились». В обычной ситуации я бы ввернул заготовленную фразу, что, мол, я не артефакт древней цивилизации, чтобы хорошо или плохо... но у меня бы не получилось даже начать фразу под спокойным взглядом этого человека. «Проходите, — сказал он и повел рукой в сторону, — ваши там, за тем столиком». Я поблагодарил его и вошел в зал.

Проходя мимо столиков, растягивающихся вдоль помещения до самой барной стойки, я не знал, чему мне следует удивляться больше — красоте внутреннего убранства, красоте всех окружающих, непринужденности, с которой

они держались, или тому, что такое место и все эти люди находятся в том же уставшем городе, в котором я прожил всю жизнь. В том же городе, который безрадостно ширится за этими стенами.

Еще только замышляя эту вылазку, я решил, что для начала выпью литр-другой пива, а потом, войдя во вкус и в нужную кондицию, перейду на виски. Я так долго и часто об этом думал, что почти воспроизвел вкус виски по памяти, который пробовал лишь однажды. Черная табличка у стойки белыми буквами сообщала, что сколько стоит. Я нашел глазами заветное пиво, но не сразу понял, о каком объеме идет речь. Тут что, пьют пиво ведрами? И эти ирландские названия... Я запомнил только приписку в скобках на русском «красный эль» и стал дожидаться своей очереди. Получив литровый стакан и не получив свою сдачу (мне сказали подойти позже, при этом не дали никакого чека, никакой почеркушки), я подыскал свободное место у стойки и неуклюжепил вкусное, очень вкусное пиво.

Зал постепенно наполнялся, музыку из проигрывателя сменила живая музыка. Странный коллектив: престарелый саксофонист с проколотым ухом, длинноволосый студентик на гитаре, паренек с лицом церковного служки на клавишных и совершенно оголтелый чудака на ударных. Бас-гитару было слышно, но сам басист прятался где-то за колонкой, по крайней мере, с моего места его не было видно. Я бы не удивился, если бы он оказался темнокожей девочкой-альбиносом. Вокалиста не было.

Я украдкой разглядывал девушку в черном платье, сидевшую рядом. С ней была излишне суетливая подруга, которая постоянно куда-то девалась, с кем-то целовалась, выпивала, появлялась и снова оставляла девушку одну у стойки. Казалось, симпатяжке в черном, как и мне, очень неловко. Она не в так покачивала головой, глядя на музыкантов, и от этого выглядела еще более трогательно. «С ней я бы смог заговорить», — подумалось мне, и я решил не откладывать.

Нужно было с чего-то начать, и я спросил у нее, где находится курилка. Она объяснила, перебивая музыку. Тогда я спросил, не хочет ли она покурить со мной, на что она ответила: «нет». И тихо добавила: «сорри». «А "сорри" тут тихие», — подумал я, эта глупая шутка немного смягчила неудачу.

Я быстро зашагал (если мои переставления ног можно было назвать шагами, и вообще мое движение — походкой) к курилке, стараясь не встречаться ни с кем глазами. Поставил кружку на деревянный столик, прикурил и только потом нашел в себе силы оглядеться. Небольшая комнатка в десять квадратов. Вся завалена дымом, как будто бы тут жгли резину. На крохотном кожаном диванчике миндальничали две парочки, потягивая тонкие сигаретки. Я присел на кресло в углу комнаты и не знал, куда смотреть. Стал разглядывать свою кружку наполовину... пусть будет полную. Меня попросили подать пепельницу.

Четверо из сидящих на диване затушили свои сигареты, из помещения вышли трое. Красивая девушка с прямыми каштановыми волосами по плечи и голубыми глазами посмотрела на меня без интереса, открыла сумочку и достала толстую книгу в белом переплете. Книгу я сразу узнал — у меня дома такая же, того же издания — «Улисс» Джойса. Ну а что, мы в ирландском баре, это в каком-то смысле логично. Я немного осмелел. Конечно, было бы проще, достань она из сумочки «Над пропастью во ржи» или хотя бы что-то из Кафки. Но чего ожидать от девушки, читающей «Улисса» в курилке паба?

— Читаете книжки с верхней полки? — выдавил из себя я. — Не толстовата она для такой хрупкой девочки? — А в голове: «Черт! Что я несу!?»

— Это моя настольная книга. Предпочитаю с ней не расставаться. Ты знаешь, что это? — без интереса спросила она.

— У меня такая же, да. Да, знаю. Это странно, честно говоря.

— Что именно? Что у тебя такая же? — она совершенно спокойно обращается ко мне на «ты», нужно тоже.

— Ты, — поторопился я опробовать новое слово, но, сказав его, растерялся и забыл, о чем вообще шла речь.

— Я? Я странная? — спросила она, повернувшись всем корпусом ко мне.

— Нет. Я имел в виду... Ну, да. И ты сама странная, — я не осмеливался долго смотреть ей в глаза, поэтому ненароком изучил всю одежду, которая была на ней: бежевую полупрозрачную кофточку, тесные яркие джинсы, очерчивающие ее красивые правильные ноги, черные туфли на высоком каблуке. — Ну, не ты странная, а странно, что ты в таком месте с книжкой. И вообще... С Джойсом. Странно, что ты вообще читаешь Джойса.

— Я читаю ее уже пятый раз, — не улыбаясь проговорила она.

— Почти как Ахматова, — сказал я, пытаясь показаться знатоком, но ее это не сильно впечатлило.

— А тебе самому не рановато читать такие книги?

Я собрался уже ответить, что вообще-то мне двадцать три, что я взрослый мужик и вообще — все, что скрыто от поверхностного взора... Ну, нет, этого бы я не сказал, хотя, кто знает, но дверь открылась, и в проеме появилась голова парня, сидевшего тут прежде. «Ты все? — спросил он. — Мы тост говорим». Девушка затушила сигарету, закрыла книгу и спрятала ее обратно в сумочку. Парень все это время смотрел не на нее, а на меня, при том с нескрываемой брезгливостью.

В комнату зашла та девушка в черном платье с шустрой подругой, достали сигареты и расселись на диване. Они были уже достаточно пьяны.

— Мальчик, угости девушек огоньком, — сказала шустрая.

Я достал из переднего кармана рубашки спичечный коробок, подал им, стоя допил пиво и как можно спокойнее и естественнее вышел из курилки. Говорить теперь хотелось только с одной девушкой в этом заведении. За мной в проход вывалилась волна дыма.

Люди красиво выплясывали на танцплощадке. Чуть позже я к ним присоединюсь, подумал я, только выпью еще немного. Я попросил у бармена стакан виски, когда прорвался сквозь полупьяную толпу. Отметил про себя, что выпившие люди страшат меня гораздо меньше. Бармен выжидающе смотрел, стоя с бокалом виски, но ничего не произносил. «В чем дело?» — спросил я. «Деньги» — был ответ. «В прошлый раз вы мне сдачу не дали, оттуда возьмите». Он удивленно посмотрел на меня, но протянул бокал. «Я еще приду, еще нальете», — предупредил я. Видимо, нутром бармен почувствовал, что лучше со мной по-хорошему. Или вообще — весь мой вид привел его в ступор.

Я разглядывал танцующих. Среди них была она — любительница Джойса — и ее парень — холеный придурок — это считывалось с его лица при первом же беглом взгляде. Мой бокал незаметно опустел. Я снова пошел в бар и тому же бармену сказал: «Два виски», он спросил: «Двойной?», я: «Чтобы два бокала было». Взял оба бокала и быстренько их осушил, достал из бумажника

купюру (я прикинул, что мы уже рассчитались) и попросил снова красного эля. Он долго наливал его и с недоверием поставил кружку на стойку передо мной. Я сделал глоток и направился в курилку — дожидаться ее — мою Молли (сам удивился, как осмелел, хотя бы в мыслях, но это уже что-то). Проходя мимо сервированного, но оставленного кем-то столика, я рванул две рюмки водки и был таков.

У двери в курилку я заметил тех двух девушек — в черном платье и шустренькую — под локоть с какими-то бородами, как лесники, мужиками. Они шли к гардеробу.

Дыма в помещении стало еще больше, мое кресло снова оказалось свободным. Я как-то слишком быстро пил свое пиво и выкуривал одну сигарету за другой, слушая разговоры окружающих. Непривычные для меня разговоры, но и ничего нового, а уж тем более интересного, в них не нашлось.

Она появилась в двери, сказала что-то человеку, который прошел, вероятно, дальше — в уборную, увидела меня и села в кресло напротив.

— Ну, рассказывай, мальчик. Как зовут, чем занимаешься, какие сигареты куришь? — неожиданно она обратилась прямо ко мне. — Но сперва — какие сигареты, давай.

— Ротманс. Они ничего.

— Давай-давай, — сказала она, принимая сигарету, — попробую. Дальше?

— Фёдор я...

— Ага, Федя, очень мило, кто-то еще называет так своих детей? Федя, ты у нас кто?

— Я у нас Фёдор, — сказал я и сам удивился, как твердо у меня это вышло.

— О, ну договорились. Сколько лет, чем занимаешься? — продолжала любопытствовать она.

— Что на тебя нашло?

— В смысле? Мы же разговариваем, вот я и спрашиваю. Если не хочешь, не буду.

— Хочу. Фёдор Брагин. Автомеханик. Ну, я вроде как хорош в этом. И я постарше тебя буду, просто выгляжу так.

— Уф! Это хорошо. Не хочу быть или казаться старой. Почему не спрашиваешь, как меня зовут? Я тебе не очень-то интересна?

«Вот ты какая, — подумал я, — все чувствуешь и нарочно кривляешься». Я тоже все понимал, только это мне не помогало вести диалог. Я отхлебнул пива и протяжно пристально посмотрел ей в глаза. Она засмеялась.

— Алла, очень приятно, — она протянула руку.

— Какое имя! Я не знаю ни одну Аллу.

— Я тоже.

— Ты где-то учишься?

— Отучилась. Пишу книгу, — с напускным равнодушием сказала она.

— Так ты писательница! Я тоже бы хотел... Ну не то чтобы писателем, но тоже написать что-нибудь.

— Не нужно. Это же так пошло. Сейчас каждый дурак собирается писать книгу. В кого ни плюнь, ой, куда ни плюнь, ну да, — она снова рассмеялась.

— В меня только плевать не надо, видишь, я сам сознался, — мне становилось спокойнее — говорил алкоголь. — А о чем книга?

— Я не располагаю планом или схемой относительно сюжета, героев и

прочих важных с точки зрения поэтики вещей. Все происходит моментально. Или вообще не происходит. И это правильно, — я впервые увидел в ее глазах настоящий интерес. Ей нравилось рассказывать о своей книге.

В курилку зашел ее парень, властно поднял Аллу с кресла, уселся сам и посадил ее к себе на колени.

— Пенелопа все так же верна своему Одиссею? — спросил я.

— Это моя фраза! — она удивленно приоткрыла рот и посмотрела на своего идиотика, — Я так всегда говорю!

Ее парень ошутимо напрягся и с вызовом на меня посмотрел. Подкурил сигарету и выпустил дым тонкой стрелой в мою сторону.

— Ты мне нравишься, Федя. Тем, что ты такой лишний-лишний. Механик, который... Ты ведь любишь читать?

— Люблю.

— ...который любит читать. Здесь, в «О'Харе», в дедовской рубашке... Взрослый в теле ребенка. Тебе, наверное, действительно можно было бы что-нибудь написать. А лучше расскажи все мне, давай говорить, много-много. Расскажи, а я... А что ты мне можешь рассказать? Про жизнь свою безрадостную, про то, как по ошибке здесь оказался и влюбился, дурачок, в меня? Он ведь влюбился, как ты считаешь? — обратилась она к своему парню.

— Да он, я смотрю, вообще прихерел слегка, — поерзав на кресле, сказал этот мерзкий тип и подвинул Аллу на другое колено.

Во мне как будто бы начал гореть тот алкоголь, который я выпил, но его было слишком мало, чтобы здесь, на чужой территории, у меня хватило смелости вмазать этому придурку. Я только сказал: «Ты бы помалкивал». Он медленно затянулся, глядя на то, как сигарета тлеет, и резким щелчком выпустил ее мне в лицо. Она припала мне куда-то над бровью. Искры из глаз, говорят, но тут это выражение как нельзя кстати. Алла вскочила и пропала из поля зрения, я видел только красное лицо человека, в чье горло я вцепился обеими руками, он же душил меня только правой рукой, а левой тянул за рукав куда-то вниз.

Поднялся невероятный галдеж: в курилке вмиг собралась толпа людей, тянущих меня во все стороны. Охранники вывели нас в коридор, я что-то кричал и ногой пытался достать обидчика. Все шло кругом, сложно было сориентироваться.

Рядом оказался престарелый саксофонист, в руках он почему-то держал свой инструмент, как будто прямо со сцены примчался к нам. «Да что вы церемонитесь с этой швалью? Вытолкайте его нахрен отсюда», — сказал он. «Что же, ты сам нарвался». Я высвободился из рук охранника и очень удачно вмазал саксофонисту промеж глаз. Я увидел только начало его полета, потом меня самого срубили на землю и какой-то сраной веревкой связали мне руки. Даже не наручниками, а веревкой, что было больше всего обидно, как будто я какое-то бельё.

Когда меня вели к выходу, я вспомнил про свою ветровку (там ведь паспорт!) и стал просить отдать мне ее. Перед тем как я оказался на улице, я еще услышал что-то вроде «он мне инструмент сломал, не отпускайте», но уже как будто бы не понимал, что речь идет обо мне. Меня волновала только ветровка. Ее вынес смуглый охранник, заговорщически подмигнул и набросил мне на плечи. Я очень удивился такому отношению.

Через несколько минут подъехал патрульный автомобиль. Далее — все как обычно, наконец-таки я оказался в хоть сколько-нибудь знакомой среде.

После двух часов глупых однообразных издевательств, меня оставили в относительном покое на холодной лавочке. Я не буйствовал, но меня все равно посадили в вытрезвитель. Той ночью, как ни странно, я был единственным гостем этого много-много-звездочного отеля.

Я тихонько ощупывал свой небольшой ожог над бровью. Не сказать, чтобы больно, просто неприятно пощипывало, и кожа в том месте была влажной.

Послышался скрип двери и стук каблуков. Затем голос Аллы: «У вас находится некий Фёдор Брагин?».

— У нас находится только некий Сергей Довлатов, — ответили ей. Она громко расхохоталась.

— Да, это тот, кто мне нужен.

— А чего вы смеетесь?

— Я по привычке назвала его псевдоним. Он же писатель, вы не знали?

— Так и запишем: Сергей Довлатов — писатель.

Она подошла к металлической решетке моей камеры и издевательски улыбнулась. «Может, оставить тебя тут, Серёжа?».

Чего только не представишь, сидя в этих нечеловеческих условиях, лишь бы хоть как-то согреться. Нет, разумеется, она не пришла — не могла прийти — не тот характер. Да я и сам с трудом представлял, в какой части города находился.

Утром в коридоре началось движение, я внимательно слушал шарканье пентовских туфель — единственный элемент гардероба, отличающий одного от другого, кроме лычек и звездочек, конечно.

К клетке камеры подошел синий китель с документами на меня, что-то рывкнул и отворил дверь, немного помучившись с замком.

— За идиотов здесь всех держишь? — устало сказал он и как бы нехотя отвесил мне оплеуху. — Довлатов нашелся.

— Я, правда...

— Хорош гундеть! Мордой не вышел, — сказал лейтенант сквозь усы и равнодушно меня оглядел. Иди отсюда, возиться еще с тобой...

И я побрел по коридору. Меня вдруг стал догонять невесть откуда взявшийся стыд. И за пьяные выходки, и за фантазии, и уж тем более за такое отношение к полицейским. Люди ведь... И уж не хуже меня. Усатый, вон — Довлатова знает.

За мной захлопнулась дверь. Я оказался во дворе какого-то жилого дома.

Совершенно не помню, как вылезал из патрульной машины ночью. Не узнавал ничего вокруг. Серый убогий дворик, умощенный брусчаткой, без единого клочка земли, и в самом центре двора — три помятых мусорных контейнера. Рядом с ними кто-то вывалил огромную грудку книг, как видно, целую семейную библиотеку.

Я подошел поближе. Среди прочего показались и хорошие художественные книги. Кто-то ведь выстаивал очереди за ними... Есенин лежал лицом в луже. Я поднял его и отряхнул желтые волнистые страницы. Ты чего, дружок, напился? Где-то должен был быть второй том — самое популярное издание. Как это произошло?... Полез в сами контейнеры, что-то оказалось и там. Зошченко

неприлично обнимал Платонова. Нодар Думбадзе прятался под учебником математики. Даже тяжеляк Достоевский оказался здесь. Как утащить-то вас, друзья?

С двумя увесистыми связками книг, перетянутых шнурками, я шел и как будто прихрамывал из-за того, что ботинки свободно болтались и норовили соскочить. Редкие прохожие делали вид, что не обращают на эту странность никакого внимания. Голова просто взрывалась, но я знал, что должен честно пережить это похмелье. Впереди были тяжелые выходные.

На маяк

Рука прилипает к мягкому влажному телу. Плавно двигать ей невозможно, выходят нерешительные нервные рывки — речь заики или умственно отсталого. Уткнуться в бледную грудь и сказать, что люблю, потому что, если не сказать, что-то пойдет не так. Два высоких кургана в отблеске луны. Лечь разом в две могилы. Уткнуться. Бледная и холодная, заснеженная.

Так возбужден, что если кто-то увидит меня здесь — на вершине заснеженного холма, голого, по колено в липком горячем снегу, превращусь в зверя. Лицо горит от жары, если набрать снег в пригоршни и окунуться в него, становится только хуже. Город зажат меж заснеженных гор. Так возбужден, что если кто-то увидит это — чужеродное, но до отказа налитое моей кровью, возмутится.

Торопиться, бежать. Чтобы что-то сказать. Чтобы в этот раз все пошло иначе. Бежать через весь город, мимо сонных замерзших людей по обледенелым дорогам, прикрываться ладонями. Или же бежать спокойно и гордо, как породистый конь. Только помешанный заглядывает скакуну под брюхо во время его грациозного бега. Нет, следует бежать еще быстрее, превратиться в бежевое смазанное пятно, тогда невозможно будет распознать даже черт лица, не говоря уже об остальном.

Сжигаю под собой снег, плавлю лед. Бегу, как сумасшедший, опережаю свое тело, но мне теперь не успеть — две снежные горы почти растаяли, а я вот-вот забуду, что именно должен сказать. Да и кто будет в состоянии слушать мои слова, слушать-мои-слова, слушатьмоислова, ведь я заика и умственно отсталый. Нет, ведь я зануда и в усмерть усталый.

Я т е б я л ю б л ю. Я тебя люблю, послушай, пожалуйста! Ты где?!

Он проснулся резко, как от удара, сердце бешено колотилось. Ощупывать вторую половину кровати бессмысленно — Мария опять ускользнула до его пробуждения. Каштановый волнистый волос рассекал подушку надвое, рассекал надвое жизнь; очередной день ожидания.

В комнате было темно и душно, жалюзи молчали десятками сомкнутых ртов, готовящихся сказать новое слово грядущего дня. Он встал, надел льняные брюки и рубашку, стянул волос с подушки и, обмотав его вокруг пальца, шагнул к двери, ведущей на террасу.

Горячий воздух мгновенно высушил губы. Солнце пульсировало с новой силой после вынужденного покоя. Который теперь час?

Запах гниющих на берегу водорослей и рыбы, шум волн, молчание чаек.

Зачем и куда? Незадолго до пробуждения. Если бы не эта бесконечная жара, можно было бы все обдумать, осмыслить. Остановиться и оглянуться. Прошное просачивается желтыми разводами пота. Нельзя без прошлого, тем более что теперь все, чему только предстоит случиться, случилось и проступает желтыми пятнами сквозь рогожу.

Он сел на ступеньки, разогретый мрамор неприятно ожег руки, склонил огромную лохматую голову — обвиняемый, стал ждать.

— Юсуф! Эй, Юсуф! — по знакомой интонации, въевшейся куда глубже памяти, он понял, что обращаются к нему. Имя же показалось совершенно чужим, но, видимо, так заведено, и противиться этому глупо. Кто-то когда-то назвал его чужим именем и вложил это имя в уста окружающих. Пора бы привыкнуть.

Довольный сосед горячо махал рукой, подзывая. Откуда столько энергии утром? Это отдает сумасшествием. Верно, каждый, кто встречает новый день с улыбкой, уже не в своем уме.

— Здравствуй, Юсуф! — сказал бодрый старик и протянул руку прежде, чем Юсуф успел подойти к калитке. Пришлось прибавить шагу, чтобы сосед не простаивал в этой неловкой позе.

— Здравствуйте! — сказал мужчина в ответ и пожал сухую руку старика. Мышцы помнили это своеобразное рукопожатие, неровное, но крепкое. Дверца калитки скрипнула — девичий непроизвольный писк.

— Ну как сегодня? Лучше? — спросил старик, по-приятельски прямо заглядывая в глаза. Присматривается. Глубже уже не заглянешь — марлевая паутина заслонила горизонт.

— Не знаю.

— Ушла? Ушла. Ну, не расстраивайся. Пройдемся?

— Хорошо, я и сам хотел...

Обратиться по имени.

Как узнать имя человека, с которым видишься только наедине, без посторонних? Влачить бестолковое безымянное знакомство, пока один из нас не отдаст концы.

Песок, белый и мелкий, почти мука, очерчивает рытвины на ступнях и пятках, застревает меж пальцев. Обратиться по имени, не ловить случайный взгляд вымученным «извините». Когда-то имя можно было переспросить — ничего постыдного, но возможность давно упущена.

— Извините...

— Да, Юсуф? — нависшие веки, глаза с иконы; позови по имени, и они навсегда нальются немой радостью. Но имя только одно.

— Мария сегодня вернется?

— Вернется, куда ж она денется. Приготовь что-нибудь, вдруг к ужину и вернется, — старик достал папиросу, продул мундштук, смял его в двух местах зубами и чиркнул спичкой. Густой, почти осязаемый дым.

— Мне снился снег. Уехать бы отсюда.

— Многие мечтают жить у моря, — примирительно сказал старик и неожиданно закашлялся, отхаркивая комки дыма. Не зная чем помочь, Юсуф слегка склонился над содрогающимся стариком, приложил руку к его лоснящемуся широкому плечу. Когда кашель прекратился, старик поднял заметно покрасневшие глаза, — ничего страшного, — сказал он, — до маяка и обратно...

НЕТ!

— Нет! — прикрикнул Юсуф и резко развернулся, едва увидев очертания внезапно выросшего из земли темного каменного строения.

Двести шестнадцать шагов обратно, в сторону дома.

Плешивая седая трава вдоль ограды. Лак, некогда покрывавший деревянные рейки забора, потрескался, обнажая высохшие волокна. Там же: ржавые подтеки от гвоздей — коричневая кровь распятого времени. Как будто когда-то здесь шел дождь. Скрип калитки — натужный всхлип плакальщицы. Неровное рукопожатие.

— Я загляну через час на кофе. Принести что-нибудь из продуктов?

— Спасибо.

Зеркало, укрепленное на мощное тело каменной колонны, показывает чье-то пустующее лицо, чью-то комнату, тени в которой, кажется, перемещаются независимо от положения солнца, несоизмеримо быстро. На лице то проступает щетина, то снова пропадает, то показывается густая борода, неухоженная, с кусочками пищи. Никогда не смотреться в зеркало. Больше там не увидеть желаемого, не найти родных черт. Зеркало больше не хочется целовать. Оно перестало отражать и стало показывать. Жизнь того, чья судьба не вызывает ни малейшего интереса.

Калитка снова заговорила — омерзительное кваканье заколдованной. Двенадцать шаркающих шагов — хруст тротуарного гравия, две ступеньки, терраса, стук в дверь.

Старик ступает по паркету, оглядывается, поджимая губы, говорит, что не мешало бы прибраться, может, ей хоть изредка здесь убираться, не обязательно драить полы, но ведь подмести — это совсем пустяк, хотя бы собственные волосы вымести с углов — это ведь вообще можно и без всякой просьбы...

— Вы пришли выпить кофе.

Сосед испуганно обращает внимание на то, что со вчерашнего ужина тарелки стоят нетронутые, но у него хватает такта не заговаривать об этом. Да, тошно есть в одиночестве, да, пить в одиночестве к тому же и унижительно, а впрочем, просто страшно. На верхней части закупоренной бутылки вина виднеются в солнечном свете частицы пыли, каждая пылинка в отдельности.

Сосед уходит, оставив, будто случайно, сетку с продуктами у ножки своего стула. Если приготовить что-то простое и скромное, увеличивается вероятность, что Мария придет к ужину. Чечевица, томат, сладкий перец, главное не усложнять, совсем немного зелени — если зелени будет слишком много — не придет, не будет вовсе — не придет даже ночью.

Стрелки всех часов во всех комнатах застыли на половине седьмого — опущенные руки, глупо считать это совпадением, но еще глупее предположить, что кто-то нарочно выставил их таким образом. Приятно смотреть на замерший циферблат — скользящие без смысла и порядка тени не коснутся его — не посмеют.

А все-таки, который теперь час?

В гостиной стены глядят десятками глаз, портреты постепенно врастают в бумагу обоев. Мария с темной широкой косой. Мария со светлыми волнистыми волосами. Юсуф, каким он навсегда запомнил свое лицо. Юсуф — спит сидя в кресле. Двойной портрет: Мария все та же, а вот Юсуф совсем еще маленький робко сидит на ее коленях. Прошлое просачивается коричневыми пятнами

сквозь плотную ткань плащаницы. Темный каменный маяк, крик, плеск и снова молчание волн.

А все-таки...

Заняться чем-нибудь простым и привычным, не требующим особенного внимания, но и не позволять мыслям разбредаться в нежелательных направлениях. Поднять и опустить жалюзи шесть раз, по количеству морщинок у ее левого глаза. Заправить постель, расправить и сложить белье, повторять до тех пор, пока свет на простынях не перельется жженым желтым, затухающим оранжевым. Разгладить каждую складочку, чтобы тень от оконной рамы легла на кровать ровным крестом.

Ее волосы действительно повсюду, но пусть — каждый лучик, запутавшийся меж пальцев босой ноги, стремится утешить: вернется! она всегда возвращается. Связать из них куклу и проглотить ее, выдумать заклинания и всерьез поверить, что сработает, что она не сможет раствориться прежде, чем откроешь глаза.

Юсуф вышел на террасу, под ногами хрустнула мраморная плитка, оскалившись узкой трещиной. Солнце оставило фиолетовую вмятину на небе и скрылось из виду. С какой стороны сегодня придет луна? А с какой приходит обычно? Калитка, видно, слетела с петель и теперь лежит рядом с забором, как выпавший зуб. Камни мрамора на террасе хрустят, как снег. Пластины жалюзи пошли волнами, как страницы книги, падавшей в воду. Печать запустения.

Дома становилось прохладно. Юсуф сел рядом с аккуратно заправленной постелью, потянул себя вниз за клочок волос и закрыл глаза. Набухшие губы с бульканьем приоткрылись. Темнота подступала и беззвучно разбивалась о лицо, уплотнялась, всасывая в себя всякую мысль. Пройдут дни и ночи, Юсуф останется неподвижным, его одежды истлеют, крыша дома поддастся солнцу, ветру и времени и обвалится, не издав ни звука. Мария заблудилась, потерялась, забрела не в тот дом. Сосед отпоил ее горячим кофе и уложил в свою постель. Теперь он снова пишет ее портреты. У Марии на коленях другой мальчишка. Его рот приоткрывается, и горячая липкая слюна падает на ее белое колено.

Юсуф очнулся, вытер губы, с отвращением посмотрел на крохотную лужицу, поблескивающую в темноте на полу, и медленно поднялся. Ручка входной двери задрожала кимвалами. Мария.

Она быстро разулась, не говоря ни слова и не поднимая глаз, скользнула в ванную и заперлась на засов. Она была с кем-то и теперь торопится смыть с себя его запах. Тварь! Потаскуха! А ну открывай!

Лязг, скрип. Мария стоит совершенно голая и прямо, бесстрашно смотрит в глаза. Лицо слегка покраснелось, ко лбу прилипла мокрая прядь. Ей нечего бояться.

— Ты была с кем-то!? — выкрикивает Юсуф, едва сдерживаясь, чтобы не вонзиться ей в горло.

— Еще бы, — говорит Мария, кутаясь в полотенце, — и не с одним, удачный день.

Шея Юсуфа покрывается пятнами.

— Да ты...

— Портовая шлюха, — опережает его Мария, — и что?

— Портовая шлюха!

— Я что и говорю, верно.

Полотенце падает на пол, Мария равнодушно оглядывает Юсуфа и добавляет:

— Давай хоть сегодня без разговоров. Я, правда, устала. Раздевайся и ложись.

Сердце бьется в истерике от предвкушения близости, но нужно разобраться, добиться правды — она просто шутит, иначе как она смеет смотреть так нагло и прямо. Устроить скандал, избить ее до смерти, кричать над бездыханным телом, ломать свои пальцы, как сухие ветки, раскусать собственное лицо до крови и потерять сознание, проснуться рядом с ней...

— Пожалуйста! — выкрикнул он, втирая слезы в лицо. — Объясни мне, что происходит!

Мария устало обняла его и поцеловала в макушку. Прижала к голой груди. «Тихо-тихо...»

— То же, что и вчера, — сказала Мария, поглаживая его волосы, — то же, что позавчера, то же, что и всегда будет происходить, правда? Ладно. Я тебя не виню, просто я устала.

Мария повернулась спиной к кровати и тихо, неторопливо опустилась на нее вместе с Юсуфом. Ее волосы расплзлись по подушке, полезли в рот и в глаза, намокли. Юсуф со стыдом заметил, что снова, против его воли, та самая часть тела предательски выставляется, требует внимания. Мария на секунду отстранила его прямой рукой, влажно со звуком облизала ладонь и опустила вниз.

Он продолжал плакать, резко вдыхать со всхлипыванием и безвольно совершать телодвижения. Как только Мария почувствовала горячий тягучий выплеск, она оттолкнула Юсуфа и засеменила в ванную.

— Давай уедем отсюда, — заговорил Юсуф, когда она вернулась в спальню, — мне снился снег. Давай уедем туда, где есть снег.

— Снег?.. Ты снова о снеге...

— Из-за этой жары... Уже и забыл какой снег на ощупь. Кажется, в детстве... Или нет...

Мария поднялась на локте и удивленно посмотрела на Юсуфа.

— Погоди, ты что-то сейчас вспомнил?

— Нет... Мне снилось сегодня... Я должен был куда-то бежать, на какую-то гору или холм...

— Мария! — перебила она. — Чье это имя?

— Твое, — нерешительно ответил Юсуф.

— Еще?

— Ничье. Только твое. Пожалуйста, давай уедем отсюда.

— Ты знаешь, что твой отец больше не платит мне? Ему больше нечем платить.

— Какой отец?

— Понятно. Просто знай, может, ты как-то это запомнишь... если я уйду, у тебя не будет больше Марии. Я последняя. А я уйду. Никто не вправе требовать такого.

Луна повисла меж оконных рам. Она отсвечивала так ярко, будто сама излучала свет. Тени спокойно лежали на предметах, казалось, сейчас что-то действительно получится вспомнить.

— Я уйду, — вставая с кровати, сказала Мария, — уйду, ты все равно ничего не поймешь. Просто, знаешь, это неправильно. Ты любишь не меня — на моем месте сейчас могла оказаться любая проститутка, которая бы согласилась откликаться на это имя. Ты бы точно так же ревел, говорил те же самые слова.

Интересно, когда ты смотришь на меня, чье лицо ты видишь? Своей ненормальной мамы?

Яркая вспышка, Мария лежит на полу и держится за лицо. Кто это сделал?

Кто это сделал? Почему все плачут? Кто эти черные люди и что здесь делает сосед? Почему он смотрит на меня с такой ненавистью?

— Ты куда? — Юсуф нашел Марию в прихожей. Волосы ее были взъерошены, глаза беспокойно бились в глазницах. Она, ничего не отвечая, нервно обувалась.

— Что ты делаешь? — спросил он, — ответь, что ты делаешь?

— Ухожу, и, видит бог, навсегда.

— Подожди! — заскулил Юсуф. — Пожалуйста, побудь со мной, пока я не засну! — он лег на холодный пол, стал целовать ее туфли и выглядывавшие пальчики.

— Ты больной, — тихо сказала Мария и слабо толкнула ногой его голову.

Юсуф дрожал как котенок в руках незнакомца и смотрел в окно на неподвижную луну. Кровать шевельнулась, принимая Марию. Она приобняла Юсуфа за плечи и поцеловала в затылок. Так делала мама. Приходила, зная, что мальчик не сможет заснуть без нее, ложилась сзади и обнимала. Целовала в затылок. Иногда целовала в лоб. Однажды поцеловала в губы. Тогда Юсуф в щенячьей благодарности попытался обнять ее, но споткнулся обо что-то темное и каменное, как бы запутался в собственных ногах. Он упал в горячий снег, сорвал охапку цветов, оказавшихся там же, под тонким слоем, и прижал к лицу. Мама вздрагивала не то от плача, не то от удовольствия. Он наконец-таки понял, как может отплатить ей за любовь, как дать то, чего она заслуживает, чего ждет, возможно, от кого-то другого, но ждет и заслуживает, ведь так?

Она просила обращаться только по имени, тем более при посторонних. Мамочка. Мария. Она была такой молодой, взрослый сын ее старил. Ты — друг, младший брат или неопытный любовник, почему нет? Нет. Как можно винить меня? Зачем меня называли чужим именем?

Но ее уже не было рядом, когда я открыл глаза. Темный каменный маяк, крик чаек, всплеск волн. Я видел это во сне, сквозь сон, поверх сна. Теперь же меня обнимает другая женщина, заложница моих фантазий, жертва, безвинно обреченная. Но ведь она почему-то любит меня. А я почему-то люблю ее. Ее — эту женщину, настоящего имени которой я и не знаю. Но ведь можно спросить, всегда можно переспросить имя, и это ее не обидит. И никого не обидит. А потом сказать, что я люблю ее. Люблю именно ее, люблю так же сильно, как любил маму, но другой любовью.

Я лежу голый, укутанный в погребальную ткань, но она покрывается не пятнами крови — сквозь нее проступают желтые разводы пота, а значит, я еще жив. Нужно торопиться. Выбежать из сна раньше, чем она успеет уйти. Сказать все, что должен сказать. Чтобы наступил следующий день.

Я т е б я л ю б л ю. Я тебя люблю, послушай, пожалуйста! Ты здесь?!

Дмитрий Румянцев

Небесное паломничество

январские сумерки

Глядится в ночь калёная звезда,
как соль земли: не снег её, не зямлять,
но Рождества и вешество, и память.
И снегири щебечут: «Аз воздам!»

Повсюду — Ты, но в шаге от Тебя —
бельмо снегов с куриной слепотою.
Тут детство, я, побежка воробья...
и пробуем за дверь — ступнёй босою.

Солдатики-игрушки, петушки,
и ослика детсадовские ясли.
Ещё немного вдаль — и будет ясный
морозный час, купельный дым с реки.

И вспомню я исконной жизни рань,
ребёнком переплывший Иордань,
и землю, и Того, кто жизнь раздул
из уголька, понёсшего звезду.

на невозможной картине

Облака не умрут, но изменятся...
Три двора — три высоких дымка.
Донкихоткой, голландскою мельницей
отвоёван для материка
 клин земли. Одинокое взморье.
И охотники все — на снегу.
Чёрно-белое дышит подворье
в рукавичку на том берегу

Румянцев Дмитрий Анатольевич — поэт. Родился в Омске в 1974 году. Окончил философский факультет Омского педуниверситета по специальности «культурология». Автор книг стихов «Сравнительное жизнеописание» (Омск, 2011), «Нобелевский тупик» (Омск, 2011), «Страдательное животное» (Омск, 2013). Постоянный автор журнала «Дружба народов». Живет в Омске.

рукотворной фольги канала,
где железо скрежещет по льду.
Где, как люди, морозы идут
в деревеньку с холма...

Начиналась

Рождества на холсте кутерьма:
с хохотком и гирляндой над дверью,
с доскональной тайной шедевра,
до щербинки провидя дома.

Веселился народ, не тая,
как урод захмелевший, увечья...
Маслянистая жирная вечность
по-аптекарьски точно звала

на каток, на блистающий холст,
безвозвратно утраченный в Делфте...
Мир врачующий мастер (де Хох?)
прописал нам картины декокт
от безумья веков. Над предместьем
Амстердама декабрь поутих
за раденьем над чудом ремёсел.

у нас будет ребёнок

Из раскрытых фрамуг — холодок с утра,
по студёному дому идёшь, раздетая.
А во мне свистит чёрная дыра,
и дыра та — размером с детскую.

Ты несёшь в себе человеческий плод,
он умён и горд, и налит, как яблочко.
Вот ты вся теперь — Бытие, Исход.

Ну а я всю ночь Богу ябедничал:

я не знал пути, я устал в пути,
я увидел зло, я запутался,
вместо сына — дыра у меня внутри,
и кровать с нелепым пупсиком.

Не был я из железа, а стал как трут,
я и думал, что сын — есть подобье выхода.
Что другое «тесто» в меня вдохнут,
если вместе ребёнка выдохнем.

Как Иаков, боролся всю ночь — и я
со тщетою дрался, как заповедано.
И во мне — дыра, и меж звёзд — дыра.
Но земное счастье — по кромке бегают.

в детской кроватке

Из каких-то душевных потёмок:
гу-агу, волапюка,
где страшат его бяка и бука,
вырастает ребёнок.

Незнакомое слово слюнявя
так, что ёжится суффикс,
говорит, за набоковской явью
наблюдает, как суфий:

где в шипящих, в глухих, в лабиальных,
первозданных, предвечных,
узаконенный речью,
снится смысл гениальный.

Мнится смысл — золотое ~~ееченье~~ значенье.
Среди гула редукций
неожиданно можно проснуться
в становление, свечение,
гулко пробуя звуки взрывные —
Первовзрывом Вселенной
на губах с пузырящейся пеной,
вызывающих имя.

инвалид

Окно во двор. Гудит проводка.
Вот жизнь моя. Вся жизнь моя.
Девчонки храбрая походка,
чумной дворяни кругалы.

И ветер, прыснувший вдогонку
смекалистому воробью.

Отяжелевшая ребёнком
жена, которую люблю

за то, что тоже мне — картина,
сама — подобие окна,
где мне зимой покажут сына.

...В разворошённый деканат
вбежит студентом он, заглянет
в журнал, как в этот летний сквер.

И буду я ему на память
твердить пример. Приди теперь

в мою нору, тоска густая,
как сын, которому — привет!

Поскольку их я сочиняю:
жену, сына. Судьба другая
мой одинокий гасит свет.

Стоит, как на рисунке вечном,
один в один — один из дней
в раю и в августе. Щебечет
квартет пугливых времий.

сон: небесное паломничество

В ночную смену небо жгло огни,
а тьма-сова охотилась за мыслью.
Я поднялся к Покрову на Нерли,
который мастерами в небо вписан.

Сквозь заливные влажные луга
прошёл подобно беглому монаху
в разодранной смирительной рубахе
(душа ещё болела, как могла,
в лечебнице воздушного мытарства,
где с плачами стремились журавли
над куполами храма на Нерли
в нездешние и солнечные Царства.
И было их «курлы» нежней лекарства).
...Была тоска, как будто умер Бог,
как будто грех осилит человека.
Как будто: Улица. Фонарь. Аптека,
как это и предсказывает Блок.

Как будто жизнь — подобие волчка.
Исхода нет: Фонарь. Канал взопрелый.
Всё тело омерзительно болело,
что вены умиравшего торчка.

Но сердце завелось, как от толчка,
явились люди, птицы, песни, люди,
которых я любил, как весть о чуде,
как жизнь, как сон, знакомый до молчка.

время до жития

Легче лёгкого снежная взвесь.
И Евангелий добрая весть
на груди, как котёнок, свернулась.
Греет, колет щетинкой своей.
Отступает, ощерившись, Зверь,
лает облый, похитивший юность,
увлекавший в разгул — за порог
разрешённого.....
.....Старость есть Бог,
где смирение как новое зренье
поднимает за солнечный круг
дальнозорко. И ты, близорук,
на руках признаёшь оперенье —
высоты голубиный испуг...

Мурад Ибрагимбеков

Тыко Вылка

Рассказ

Тыко Вылка родился и прожил часть своей жизни в мире, который был создан Творцом изначально. В мире, который был идеален в своей первозданности.

Это было задолго до появления в тех местах отца Гавриила. Очень-очень задолго до того. Отец Гавриил в ту пору еще даже не родился.

И как-то раз Тыко Вылка захотел нарисовать этот мир, в котором жил. И ему это удалось. Тыко Вылка нарисовал рай.

Тыко Вылка нарисовал женщину в красном платке, стоящую к нам спиной на фоне очень холодного моря.

Тыко Вылка нарисовал рыбака в лодке, который тащил из воды невод.

Тыко Вылка нарисовал человека, свежую тушу тюленя на улице в становище Лагерное, есть такой населенный пункт на Новой Земле.

А еще Тыко Вылка нарисовал семушный забор, на острове такие часто ставили.

Он нарисовал айсберги, которые были привычными гостями в его краях, и забавную белую медведицу с двумя медвежатами на пристани, и северное сияние, а еще свою семью возле своего дома.

Тыко Вылка был художником.

Рисовать Тыко Вылка начал с раннего возраста, первые картинки он рисовал костью нельмы на ошметках тюленьих шкур, очень красиво получалось.

Когда родился Тыко Вылка, люди с материка не жили на острове, они появлялись пару раз в год, приплывали на железных кораблях, а после стали прилетать на самолетах и вертолетах.

Тот день он помнил очень хорошо, воспоминание это осталось у Тыко Вылки на всю жизнь, это было воспоминание о картонной коробке, которую ему протянул один из прибывших с материка людей, он не помнил, кто был этот человек — полярный летчик или картограф, или еще кто-то, — решивший сделать подарок маленькому северному мальчику. Память оставила себе лишь воспоминание о самой коробке, он помнил ее шероховатую поверхность и запах, и крышку с надписью «Нива» с изображением паруса, открыв которую, он впервые увидел цветные карандаши. С того дня мальчик начал рисовать по-настоящему.

Мурад Ибрагимбеков — режиссер, сценарист, продюсер. Родился в Баку в 1965 г. Окончил ВГИК (1989 г., мастерская И.Таланкина). Публиковался в журнале «Литературный Азербайджан». Лауреат многочисленных кинематографических премий.

С каждым годом людей с материка на острове становилось все больше, это были удивительные люди, и у них были удивительные вещи, которые пришельцы с удовольствием показывали, а иногда и делились ими. Например, у них были потрясающие стекла, это называется «оптика», бинокли и подзорные трубы.

Тыко Вылка помнил, что впервые он увидел в бинокле. Он увидел кита. Кит резвился в море недалеко от берега. В бинокле мальчику казалось, что кит очень близко, так близко, как однажды, за полгода до того, Тыко Вылка видел его из лодки. В тот день пятилетний Тыко Вылка плыл со своим папой на их новой лодке, сделанной ими из тюленьих шкур. Стоял штиль. Свинцовая поверхность моря, на которой играли лучи солнца, была абсолютно спокойна. И вдруг из глубины, из ниоткуда появилась волна, она возникла и начала очень быстро подниматься, а с ней начала все быстрее и быстрее подниматься лодка. Отец почувствовал это первым, и Тыко Вылка почувствовал что-то необычное по реакции отца. После ему казалось, что в воздухе появился какой-то шум, но мальчик не был в этом уверен. А потом возле их лодки возник кит, самое большое животное их острова и самое большое животное планеты. Кит проплывал под их лодкой, и первое, что они увидели, был его хвост, рыбий хвост, который был, как айсберг. И он двигался на них, к счастью в нескольких метрах от лодки эта штука снова ушла под воду, в глубину. Но из-за волны их лодка сделала поднырок, проще говоря, лодка с отцом и мальчиком перевернулась и через мгновение вновь заняла прежнее положение. Это и называется «поднырок», их лодка была так устроена, вернее, сшита, они с отцом были как в кожаном коконе в той лодке, которая могла крутиться под водой. Отец долго учил этому своего сына возле берега, на мелководье, и потому маленький Тыко Вылка совсем не испугался, то есть испугался, но капельку, чуть-чуть. Лодка крутанулась, и тогда под водой Тыко Вылка увидел кита, он увидел его спину, а может, мальчику и показалось. В следующее мгновение они оказались на поверхности, и отец веслом попытался поставить лодку по волне, придать ей устойчивости, но волна была слишком высока, и они сделали еще один поднырок, и еще один, и всякий раз под водой Тыко Вылка успевал разглядеть кита, а может, мальчику и казалось. А голова кита появилась на поверхности через несколько секунд, с другой стороны лодки, уже подальше, метрах в десяти. И кит уплыл.

Тыко Вылка был зачарован биноклем, он разглядывал в него кита и не мог насмотреться на однажды уже виденный хвост и громадную голову. Он не мог поверить, что это возможно — увидеть кита так близко с берега. А стоящий рядом полярник, который и дал ему бинокль, рассмеялся и погладил мальчика по голове.

Посмотрите на полотно под названием «На Карской стороне в районе зимовки Размыслова». Художник поместил себя в центр композиции, он сидит между отцом и матерью, все семья собралась у костра, на фоне традиционного северного чума, рядом лодка и только что выловленный тюлень. На этой картине Тыко Вылка изобразил себя в совсем юном возрасте.

Когда отец Гавриил через много-много лет увидит этот холст, он сам удивится тому, что дышать ему сразу станет легче. Но до того момента произойдет много разных событий. Когда все началось, отец Гавриил еще даже не родился.

Тыко Вылка рос и продолжал рисовать, а людей с материка становилось на острове все больше. Это были сильные и смелые люди. Однажды они спасли всю семью Тыко Вылки. Случилось это в год большого голода. Такое случалось на острове нечасто, последний раз большой голод был очень давно, так давно, что

даже дед Тыко Вылки знал о нем из рассказов своего отца, одного из немногих выживших. В этот раз все было, как в рассказе предка. Ушла вся еда — и рыба, и тюлени (люди с материка называли это аномальной миграцией). Люди съели своих собак, а оленей они съели до того. И начали умирать. Они бы и умерли, если бы не люди с материка, те вызвали помощь с большой земли, и помощь пришла.

Тыко Вылка не помнил, как к берегу подошло большое судно, и с него сгрузили ящики с едой, которую стали раздавать голодающим. К тому моменту мальчик был уже без сознания. Тыко Вылка выжил в тот год и продолжил рисовать.

Тыко Вылка нарисовал белую медведицу с детенышами, у него она получилась добродушной и вовсе не опасной. На самом деле Тыко Вылка очень боялся белых медведей, один белый медведь однажды его чуть не поймал, но Тыко Вылке удалось убежать. Он убегал так, как его и всех детей учили убежать от белых медведей: надо бежать изо всех сил, во весь дух, и обязательно бросить в сторону шапку, чтобы отвлечь медведя, а потом бросить в другую сторону рукавицы, чтобы отвлечь зверя еще раз, тогда есть шанс спастись. Тыко Вылка так и сделал, и ему удалось добежать до становища, а там медведя отпугнули взрослые выстрелами из ружей, и медведь ушел. Наверно, был не очень голоден, а может, просто хотел поиграть и вовсе не собирался есть Тыко Вылку.

Когда отец Гавриил переехал на остров, его тоже научили этому способу убежать от белых медведей: бросить в одну сторону шапку и бежать, а потом бросить в другую сторону рукавицы и продолжать бежать что есть духу.

— Тогда можно спастись, батюшка, — объяснил ему полковник, командир воинской части, в которой служил свою службу отец Гавриил. — Разумеется, без оружия здесь лучше не ходить, — добавил он.

Когда люди с материка обосновались на острове, в жизни появилось много замечательных нововведений. Появились электричество, и фельдшерский пункт, и школа для детей до десяти лет. Люди работали и были довольны наступившим комфортом и безопасностью. А Тыко Вылка рисовал, и у него состоялась большая выставка в столичном Архангельске, и его фотография была отпечатана в газете, которую люди читали, когда приходили в клуб. Да, к тому времени на острове появился клуб, где можно было почитать газету, послушать радио или поиграть в настольные игры. Там же помещались буфет и сельсовет, и там у Тыко Вылки был свой кабинет, и в том кабинете у Тыко Вылки был единственный на острове телефон. Телефон был красного цвета и стоял на специальной тумбочке, телефон был соединен с радиорубкой, и через радииста можно было связаться с Большой землей. И Тыко Вылка, если возникала нужда, мог позвонить на материк и сказать, что нужно для его острова и его народа, и его всегда слушались. Тыко Вылка стал президентом Новой Земли, так его называли, по-настоящему он не был президентом, а являлся председателем островного совета «Новая Земля».

Это было время достатка и покоя. У Тыко Вылки было шестеро детей.

Однажды красный телефон зазвонил: «Вам отправлено правительственное сообщение с фельдшером», — сообщили в трубке.

И вскоре Тыко Вылка получил письмо. В том письме было сказано, что принято решение перевезти всех людей с острова на материк, для их же пользы и безопасности, и Тыко Вылке было поручено провести разъяснительную работу. Конечно, Тыко Вылка объяснил людям, как это будет хорошо для

них — переехать, и люди очень обрадовались, потому что они ему верили, а жизнь на острове оставалась очень суровой и опасной.

К острову подошли корабли, и на них погрузили все, что было у людей Тыко Вылки: чумы, собак, оленей, лодки и инструменты, ничего не забыли, всему нашлось место на этих кораблях. И народ Тыко Вылки перебрался на материк, туда, где не так холодно, где климат больше подходит для человека, и нет нужды убегать от белых медведей.

Стали они жить возле больших городов, а некоторые поселились и в самих городах. Тыко Вылка получил квартиру в большом кирпичном доме на третьем этаже, и там для него установили тот же телефон, чтобы он мог звонить и говорить, что еще нужно для переселенцев.

Много удивительных и полезных вещей было у людей с материка, и они охотно объясняли, как ими пользоваться, и делились ими. И была у них одна удивительная вещь, которую нельзя было никому показывать и которой нельзя было ни с кем делиться. Этой вещью была громадная бомба, ее привезли на остров, когда людей на нем уже не осталось. Остров был нужен для испытания этой бомбы, самой большой в мире, местных потому и попросили пожить на материке.

Бомбу привезли на корабле, установили на специальной площадке и взорвали. Взрыв был такой силы, что взрывная волна обогнула земной шар три раза, это зафиксировали специальные приборы. Как будто волшебный кит ударил хвостом по планете. А в квартире Тыко Вылки и во всем городе, куда он переехал, неожиданно задрожали оконные стекла, но Тыко Вылка не знал, в чем причина, он вообще-то так и не привык к городской жизни.

Это было в тот год, когда родился отец Гавриил, он родился в тот момент, когда испытание это состоялось.

Отец Гавриил приехал на остров через 47 лет после того взрыва, за эти годы на острове было проведено много испытаний, бомбы взрывали на поверхности острова, под землей, в специальных шахтах и в прибрежных водах. У каждого взрыва своя специфика, свой характер, своя разрушительная сила, и людям надо было это все досконально изучить. Этим занимались военные, только они и жили на острове, на построенной для них военной базе. Некоторые офицеры привезли на остров свои семьи, жен и детей. И однажды кто-то из больших начальников в Москве решил, что было бы хорошо, если в маленьком военном поселении на дальнем севере был бы храм. Идея пришлась по душе и другим начальникам, и было принято решение открыть на Новой Земле православный храм. Это был самый северный приход в мире, ни у кого не было храма так далеко на севере. И вскоре на остров в разобранном виде прислали церковь и всю необходимую утварь, а церковное начальство назначило священника, им и был отец Гавриил. И стал отец Гавриил служить, и прослужил он на острове три года.

Утром того дня отец Гавриил так и сказал командиру части, полковнику Николаеву:

— Три года уже прошло, как я принял храм.

— Да, быстро время летит, — ответил полковник.

Они находились в диспетчерском отсеке аэродрома и ожидали прибытия самолета, самолет должен был прилететь еще вчера, но погода не позволила принять борт. И вот сегодня утром диспетчер объявил, что в снежной буре, которая бушевала уже несколько суток, наметилося окно и получено разрешение на посадку.

Отец Гавриил очень хорошо помнил свой первый день на Новой Земле: как и всякому новоприбывшему, ему полагалось пройти инструктаж.

— Один звуковой сигнал — опасность, передвижение поодиночке запрещено. Два звуковых сигнала — движение разрешено только на тяжелом транспорте. Три звуковых сигнала — не покидать жилой сектор без специального разрешения.

— А я услышу сигнал? — спросил тогда отец Гавриил.

— Ну разумеется, — улыбнулся полковник.

Сигнал трудно было не услышать, это был ревун с пограничного катера, временами отцу Гавриилу казалось, что он был основным звуком, который он слышал за эти три года, и все равно не мог к нему привыкнуть. Еще он не мог привыкнуть к климату, точнее к очень низкому содержанию кислорода в воздухе, дышать ему было трудно.

— Для меня великая честь, батюшка, что самый северный приход в мире находится на территории вверенного мне воинского подразделения, — сказал полковник, когда отец Гавриил прибыл на остров.

«В географическом местонахождении прихода не может быть состязательности», — подумал тогда отец Гавриил, но вслух ничего не сказал.

Полковник был симпатичен отцу Гавриилу, он был похож на русского богатыря, какими их изображают в школьных учебниках, и временами его тексты соответствовали этому образу.

К своим обязанностям он относился чрезвычайно добросовестно. На встречу самолета отец Гавриил пришел по его просьбе. Пару дней назад у них состоялся разговор.

— В рамках планируемого мероприятия решено провести выставку художника из местных. Поскольку клуб в вашей епархии, вы уж помогите с организацией. Человек заслуженный, народный деятель культуры.

— Он прибудет? — спросил отец Гавриил.

— Нет, он умер уже давно, одно слово — классик.

— Солдатики выделяте?

— Не смогу, рад бы, да не смогу, весь личный состав задействован, комиссию ждем, вы уж как-нибудь сами, батюшка.

Отец Гавриил вздохнул, иногда его посещали горькие сомнения в необходимости пребывания в этой затерянной в океане ледяной пустыне, которая и без многочисленных атомных взрывов была непригодна для жизни. Как и подобает человеку его профессии, отец Гавриил гнал эти горькие мысли прочь, но они не оставляли его. Он полагал, что они, эти мысли, объясняются суровым климатом, который плохо влиял на его самочувствие. Но отец Гавриил понимал, что главная причина была в том, что добросовестное выполнение им его обязанностей является неким обязательным ритуалом и истинной нужды в нем, пастыре, у людей его прихода нет. Весь личный состав, свободный от дежурств, исправно посещал каждую неделю его службу, но отец Гавриил знал, что явка не была добровольной, а происходила вследствие прямого указания командира части. Во многом армейские священники заменили собой упраздненных новой властью замполитов. Он пытался быть, как и подобает священнику, внимательным к солдатам, приходящим на службу, вникнуть в их проблемы и чаяния, подбодрить и помочь им в их нелегкой службе, но у него это не очень хорошо получалось. Иногда он замечал на их лицах синяки и ссадины, следствие неизжитой армейской дедовщины, но когда он вопрошал о причинах следов побоев на их лицах, юные воины отвечали уклончиво: «Упал...» — говорил каждый из них.

— У рядовых это случается, — с досадой объяснял ему полковник Николаев.

«Наверное, из-за недостатка кислорода сгорает жир», — подумал отец Гавриил.

Лица и тела людей, живущих на острове, были невероятно рельефны. Через полгода пребывания на острове внешность человека изменялась, он становился каким-то другим.

— Мы в здешних местах меняемся, батюшка, — однажды признался полковник. — Человек тут жить не должен.

Было получено разрешение на посадку, самолет приземлился, и из него стали выходить члены правительственной комиссии и гости, среди них были и штатские. Все шло по плану, полковник отрапортовал старшему, представился, и вновь прибывшие направились к служебному отсеку базы.

А из самолета начали выгружать ящики, в которые были упакованы картины, и с ними появилась девушка лет двадцати по имени Нюцхе, она была ответственная за выставку от художественного музея.

Нюцхе была продвинутая девчонка, почти панк. Ей казалось, что ее одежда точно отражает ее национальную принадлежность — Нюцхе была этнографом и была поглощена изучением истории своего народа, предки которого в незапамятные времена перебрались в здешние места из Полинезии. Именно об этом она писала свою дипломную работу по антропологии. Нюцхе очень ждала этой поездки, и когда появилась возможность принять участие в мероприятии, не преминула ею воспользоваться.

Солдаты перенесли ящики, в количестве десяти штук, в примыкающий к храму армейский клуб, и отец Гавриил с Нюцхе принялись устраивать выставку Тыко Вылки.

Конечно, вначале отец Гавриил, как и подобает радушному хозяину, напоил Нюцхе чаем и показал красный уголок воинской части, где был установлен макет бомбы и висело множество фотографий, которые Нюцхе внимательно рассмотрела. Отец Гавриил счел также необходимым объяснить этой милой девушке, что объект, где они находятся, очень важен для обороноспособности их родины, но Нюцхе это и сама знала, Нюцхе много чего знала об этом острове, больше чем отец Гавриил.

Знакомое уже ощущение, предшествующее потере сознания, накатило, как это всегда с ним бывало, неожиданно. Отец Гавриил успел хорошо изучить эту симптоматику: у него потемнело в глазах, и он стал задыхаться. Первый раз это случилось с ним здесь, на острове, в самый неподходящий для священнослужителя момент.

Отец Гавриил чуть было не утопил годовалую девочку Настеньку, дочку лейтенанта Егорова, во время обряда крещения. Он потерял сознание, когда погрузил маленькое тельце в купель. К счастью, стоящая рядом мама девочки, жена лейтенанта, подхватила ребенка.

— Плохо вам, батюшка, — сказала она, — это поначалу у всех так, здесь кислорода мало, со временем привыкнете.

Но отец Гавриил за три года так и не смог привыкнуть, и врач, к которому он обратился, не мог ему ничем помочь. Вот и сегодня приступ случился крайне не вовремя.

— Вам плохо? — встревоженно спросила Нюцхе.

— Сейчас пройдет, — успокоил ее отец Гавриил, — это из-за недостатка кислорода. Надо нам приниматься за работу, — он указал на ящики.

— Сидите, я сама справлюсь, — сказала Нюцхе и принялась вскрывать крышку первого ящика.

И тогда отец Гавриил впервые в жизни увидел картины Тыко Вылки. Нюцхе открывала ящики, один за одним доставала холсты и расставляла их вдоль стены.

— Как красиво, — сказал отец Гавриил. — Это все наш остров?

— Конечно, это наш остров, — удивилась Нюцхе, — кроме него Тыко Вылка ничего не рисовал.

— Никогда не думал, что здесь так... — он задумался, пытаясь подобрать нужное слово.

— А давно вы здесь?

— Три года.

— Ну еще поживете — оцените, — успокоила его Нюцхе.

Отец Гавриил ничего не ответил, он продолжал рассматривать картины, и ему вдруг сделалось очень хорошо и спокойно, так, как никогда не было за все время пребывания на этой земле.

Наступило утро.

Солдаты, прапорщики и офицеры под руководством полковника Николаева показали свою выучку и военную подготовку, они торжественно промаршировали по плацу, и все немногочисленное население острова собралось посмотреть на этот парад. А потом военнослужащие продемонстрировали комиссии, как быстро они умеют готовить к пуску ракетную установку, но эту часть мероприятия гражданским на показали — из соображений секретности, эта часть мероприятия была организована специально для прибывших генералов, они в этом разбираются. Генералы похвалили полковника Николаева, и он очень обрадовался и даже немножко смутился.

А потом наступило время культурной программы, и она тоже прошла на должном уровне. Фольклорный ансамбль областного дома культуры исполнил ритуальный танец, и Нюцхе тоже танцевала, ведь Нюцхе была специалистом по национальным танцам северных народов. Она била в бубен, задавая ритм пяти танцорам, которые языком танца доходчиво изображали сценки из жизни людей, еще не успевших приобщиться к цивилизации.

А в завершение юбилейных торжеств все собрались в клубе, где отец Гавриил и Нюцхе развесили картины. И один из генералов сказал прочувствованную речь о том, сколько еще бомб можно будет взорвать на этом замечательном острове и как это важно для науки и обороноспособности страны, и все присутствующие дружно зааплодировали. А потом выступила Нюцхе и вкратце рассказала о том, каким замечательным художником был Тыко Вылка, и ей тоже зааплодировали. А потом все стали смотреть картины. А после был торжественный ужин, которым и завершилось мероприятие. Юбилейные торжества, посвященные 50-летию первого испытания ядерного оружия на Новой Земле, прошли на высшем уровне.

На следующее утро отец Гавриил и Нюцхе пили чай в красном уголке. Еще оставалось время до отлета.

— Знакомая фотография, — улыбнулась Нюцхе, указав на один из выставленных в разделе «коренное население» снимков. На нем был изображен

какой-то индеец в национальной одежде, державший на коленях годовалого ребенка, также одетого в шкуры, — у одного из моих дядек есть такая же, пояснила девушка. Говорят, что это моя бабушка, а это мой прадедушка, брат Тыко Вылки, он погиб.

Однажды, за много лет до испытания бомбы, красный телефон зазвонил, и Тыко Вылка взял трубку. Поздравляем вас, дорогой Тыко Вылка, сказал голос в трубке, у вас состоится большая выставка в Кремле, поедете в Москву, можете там остаться на постоянное жительство и быть московским художником.

— У меня вчера брата медведь убил, — сказал Тыко Вылка, — вдова осталась и шестеро детей. Я не полечу.

И Тыко Вылка остался на Новой Земле.

— Тыко Вылка женился на его вдове и стал отцом для его детей, у нас такой обычай, поэтому у меня на одного прадедушку больше, — засмеялась Ньюцхе.

— Я и не знал, что вы потомок классика, — улыбнулся отец Гавриил. — А как он погиб?

— Его медведь загрыз, — ответила Ньюцхе.

Картины были упакованы в ящики. Выставке предстояло вернуться обратно в музей. Солдатики под руководством старшины понесли ящики к самолету.

— Это была моя идея — хоть на день привезти их на его родину, — сказала Ньюцхе. — Ну, мне пора.

То, что она сделала, могло бы показаться шалостью: она поцеловала отцу Гавриилу руку и весело улыбнулась, давая понять, что для нее это скорее дань вежливости. И отцу Гавриилу стало очень хорошо, он подумал: «Дай-то Бог тебе всего самого хорошего, дорогая Ньюцхе», — и, улыбнувшись, благословил ее. А Ньюцхе в ответ протянула ему свой амулет из перьев и тюленьей косточки, который сама сделала, ведь Ньюцхе была специалистом по прикладному фольклору.

Самолет пошел на посадку, в иллюминаторе стала видна земля.

— Конечно, наше племя новоземельных ненцев было другим, чем те из нашего народа, кто жил на материке, — подумала Ньюцхе сквозь дремоту. — Мы были разведчиками, первопроходцами, пионерами этих неведомых человечеству земель, края света. Мы и наши сородичи, которые дошли до Гренландии с другой стороны Земли.

Земля приближалась, и вот уже стали видны дорога, домики и деревья. А маленькая девочка, Настенька, которая родилась на Новой Земле и никогда не выезжала на материк, та, которую отец Гавриил чуть не утопил в купели, посмотрела в иллюминатор и вдруг закричала:

— Мама, мама! Смотри, здесь есть ровные деревья! — Настенька никогда не видела таких деревьев, потому что там, где она выросла, прямых деревьев не бывает, все деревья на Новой Земле скрюченные, не выше человека.

Самолет совершил посадку.

СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

Ло Ин

Печальные песни

Из цикла «Измождённый отец»

* * *

Отец мой не был добрым человеком,
В сердцах мог наорать, нашлёпать.
Мне было всего-то года два,
Но крепко от него тогда досталось,
Никто мой рёв не мог унять.
И лишь в объятиях отца, на кане лежа,
Я засыпал.
Он искоса посматривал, глубок ли сон.
А через год, когда исполнилось мне три,
В дом ворвались,
Отца скрутили и увели с собой.
Ему инкриминировали заговор,
Назвали контрреволюционером.
Его арест победой революции
В провинции Нинся считали.
И, как врага народа, у озера Сиху держали.
В те времена нашлось такое множество врагов,
Что тюрьмы были все битком набиты.
От скученности той отец мой заболел.
Три месяца копил лекарства
И вмиг их проглотил.
Его зарыли где-то у реки,
И говорят, глаза были открыты,
Густые брови, сжатый рот...

Ло Ин (настоящее имя *Хуан Нубо*) — известный китайский поэт. Родился в 1956 году в Ланьчжоу. Окончил Пекинский университет. В 1998 году окончил бизнес-школу EMBA. В 1995-м — организовал компанию «Травел Кун Групп», которая стала лидером турбизнеса в Китае. Президент китайского общества поэзии, заместитель директора НИИ новой поэзии при Пекинском университете. Автор многочисленных сборников стихов, переведенных более чем на 15 языков мира. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Врагам народа памятников не полагалось,
И гнил отец, как пёс бездомный.
А может, и сейчас на какой-то пустоши
Белеют его кости среди других,
Без запаха, без цвета, без следа...
Потом опять пришла победа,
Отец мой невиновным был объявлен,
А матери вручили три тысячи юаней
Как компенсацию за столько лет.
Но сам я до сих пор не знаю,
Что же от адских вечных мук избавит
Тех, кто за отцом пришёл.

5 октября 2012

Перевод Ли Ялань

Из цикла «Хромоногая мать»

* * *

Мать умерла,
Ей было пятьдесят,
Когда угарным газом
На ночном дежурстве
Отравилась.
Так распорядилась жизнь
Родившейся под знаком Тигра.
Мне кажется, причиной смерти
Стали страдания
И нежеланье жить,
В те времена
Я мог себя спокойно прокормить,
Работая в деревне.
Но главной, думаю, причиной
Раннего ухода
Была людская неприязнь.
После отравления, в больнице
Она страдала от тяжёлого удушья.
Когда в больницу приходил,
Чтоб мать родную навестить,
Она слезами исходила
И как ребенок радовалась мне.
Так продолжалось восемь месяцев подряд,
Пока она не испустила последний вздох.
И хромоногую, с огромным шрамом на затылке,
Её красиво во всё новое одели
И положили в гроб.
Теперь ей ни к чему в Пекин поездки,
Чтоб справедливости добиться торжества,
Так вдовой «врага народа»

Она и умерла,
Я от неё уже не жду тяжёлых тумачков.
Хотя я сын «врага народа»
До сих пор.
Приют последний мать нашла в горах Хэлань,
Там и надгробный камень установлен,
Там имя выбито её — Янь Сюйинь.
Захороненье сделали двойным,
И имя мужа тоже написали,
Хотя при жизни она его не вспоминала.
Канули в прошлое те времена,
Когда мне денег не хватало.
Теперь я стал богат
И усыпальницу для матери построил
На горе, где прах её
Тихое пристанище обрёл навеки.
Ей на небесах известно,
Что реабилитирован покойный муж.
Что сын — богатейший бизнесмен
И в списке «Форбс»
Не на последнем месте.
Когда в места родные возвращаюсь,
Я долг сыновний исполняю.
И на могиле матери колени преклоняю.
О мать, несчастная моя,
Великая женщина Китая!

5 октября 2012 г.

Перевод Чжан Хуали

Из цикла «Коробочка для слов»

2

Враждовать с языком —
Лучший способ для самоубийства.
Это как окатить ушатом холодной воды
Высокие благородные чувства.
Существуют ключевые слова,
Похожие на красный хохолок аиста,
Выдавить их из себя —
Равноценно тому, что покончить с собой.
Чтобы выразить почтение к богам,
Мы твердим заученные фразы.
Так мы становимся рабами слов.
Например, когда я произнёс:
«Я всего-то лишь это...»,
Я сразу разучился говорить,
Все слова покинули меня.

Свое недовольство происходящим
Я смог выразить,
Лишь колотя в барабан.
Я подумал: и это неплохо,
Ведь я всего лишь какая-то обезьяна.
Я неоднократно попадался
В ловушки, расставленные словами.
Они приказали мне спариться с сукой,
Чтобы вывести полуязык.
Но в конце концов я стал лошадью для языка,
Превратился в нечто среднее
Между человеком и обезьяной.

17 ноября 2009 г.

Перевод Ли Ялань

3

Мне приснилось, что, оседлав язык,
Я скакал на нём повсюду.
Восседал на вершинах слов,
Себе придавая величье.
Был осторожен и лишних слов не ронял.
Только так и встал на самый короткий путь
К успеху и славе.
Были, кто говорил: богатством таким обладая,
Можно уже не следить за речью,
И болтать всё, что в голову взбредёт.
Мне дозволено пользоваться язык, как змею,
Везде устраивать охоту.
В своё время я убил пятерых мастеров слова,
Они были седы, усы и бороды — соль с перцем,
Но я их выбрил подчистую.
С тех пор получил волю,
Могу произвольно разгуливать между словами.
Я разгадал структуры взаимоотношений человека и речи.
Изучал закономерности письма слева направо.
Ещё всем осуждённым словам
Я галстуки повязал на шею.
Конечно, требовалась особая осторожность,
Когда я пробирался между слов,
Скользил, как угорь.

17 ноября 2009 г.

Перевод Ли Ялань

Николай Александров

Письма Соломонову

Повесть-проект

I

Так будет называться моя «крутая повесть», по твоему выражению, или «мой проект», как сегодня принято говорить.

А почему нет?

Повесть в письмах — это круче, чем эпистолярный роман. Мне просто нужен собеседник, доверенное лицо. А доверять мне некому.

Я даже себе не могу доверять, а если бы и доверял, то писал не повесть в письмах, а дневник.

Рассказывал бы себе о самом себе. Звучит глупо. Хотя разве писатели не занимаются именно этим?

Главное, что у меня есть, — это я сам. Меня у меня — не отнять, пока Я остаюсь тем, что внутри себя называю Я.

«Я» — может отнять болезнь и превратить в другое Я или в не Я. В испанского короля, в Гоголя, Достоевского, в кролика. Мне мое Я суждено нести всю мою жизнь. И это нелегко, каким бы Я ни было. Я не уверен, что мое Я развивается. Мне кажется, что в основе, в сути своей, я равен себе пятилетнему, равен тому душевному комку, который впервые с удивлением посмотрел на себя в зеркало, который впервые представил и с изумлением понял, что он для чего-то запущен в этот мир.

Я помню этот день. Я катался, повиснув на двери, которая вела из комнаты родителей в гостиную нашей квартиры на Чистых прудах, и впервые осознал — вот это Я, вот этот — повиснувший на дверной ручке. А вокруг меня — мир. И почему я здесь — совершенно непонятно. И главное — я кончусь когда-нибудь.

Осознание себя — это осознание своей смертности, конечности. Я — временно здесь, но что потом — неведомо. Все это смутно осознается, скорее чувствуется, чтобы пробудиться позже. И я помню, когда ЭТО пробудилось.

Мне было десять лет. Я был в пионерлагере. В месте, которое мне не нравилось. И окружающие меня люди мне не нравились. Я был в изгнании. Я был бездомным, выброшенным из домашнего уюта, тепла, из привычного существования, привычного круга вещей. И вот ночью, на узкой казенной пионерской кровати, я неожиданно понял: когда-нибудь я умру, прекращусь. Но что это такое — прекращусь? Что значит — меня не будет? Куда денется мое Я? Этого я понять не мог. И испытывал простой ужас. Избавиться от него было нельзя. Ужас был — как пробудившийся звук, и звук этот вторгался в мое существование, гудел монотонным постоянным фоном. Он затихал днем, но обретал силу ночью. Он вошел в меня, вжился в меня, все время напоминал о себе. Он был больше чем болезнь, поскольку был неотвратимее,

Александров Николай Дмитриевич — литературный критик. Родился в 1961 году. Окончил филологический факультет МГУ, аспирантуру ИМЛИ. Преподавал в МГУ, РГГУ, УВШЭ. Литературный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», ОТР. Автор книг: «Силуэты пушкинской эпохи», «С глазу на глаз» (беседы с современными русскими писателями), «Tête-à-tête» (беседы с зарубежными авторами). Живет в Москве.

поскольку не давал надежды на спасение. Казалось, о нем невозможно забыть, привыкнуть к нему. Он был настойчив и упрям. И безжалостен. Но я привык. Постепенно. Я научился его заглушать. Я привык к моментам его возвращения, к охватывающему темному, непроглядному отчаянию, к настойчивому напоминанию о грядущей катастрофе.

Все закончится, все прекратится, ничего не будет. Но как это все осознать? Никак. Этого просто не может, не должно произойти. Но ведь произойдет.

Мы с детства верим в свою исключительность, особость, неповторимость, гениальность. Я, по крайней мере, верю. И в этом нет ничего позорного, стыдного. Конечно, я — особый, исключительный. Разве нет? По идее, эту особость не нужно и проявлять. Она существует как данность. Ее не надо доказывать. Другое дело, что моя особость мне самому может быть противна. Может быть источником постоянных терзаний.

А может быть предметом постоянного восхищения, умиления — вот он ведь я какой. Душка.

Вот Толстой говорил, что нужно забыть о своем Я, что «забвение о себе» и есть путь спасения.

Вот и Пелевин с буддистской настойчивостью талдычит об этом же, то есть говорит о призрачности Я. Нет никакого Я, и все тут.

А я о себе забыть не могу. О смертности своей привык забывать. А о себе — нет.

И если до конца забыть о себе, не значит ли это просто умереть, слиться с открывшимся в детстве ужасом, завершиться, исчезнуть, что бы это ни значило?

Забвение о себе... Пьянство, например, ведь тоже забвение. И соблазн, позыв, стремление — скинуть нахрен эту тяжкую ношу, это давящее Я.

Куда с ним деваться, кому это Я принести, с кем разделить этот груз?..

Вот отсюда и писательство.

II

Люди стесняются говорить о своей смерти, о своей смертности. Хотя почему-то считается приличным говорить о смерти другого, переживать, испытывать горе.

Смерть присутствует в каждом как данность, как безусловный факт. Вне зависимости от того, как ты ее понимаешь: как переход куда-то или как завершение пути, тупик, исчезновение. В любом случае она будет.

Смерть есть. И это страшно. Страшно для Я.

Чувствовать свою смертность неудобно. Но о смертности можно забыть. До поры до времени. И задуматься о другом — куда нести свое неповторимое Я, кому?

Мы играем словами, и вся наша жизнь — слова, воплощенные или невысказанные. Мы все — писатели. И чем больше мы забываем о смерти, тем безответственней становятся слова. Наверное, так. Впрочем, я готов играть словами. Не то чтобы мне нравилось болтать (легкость в разговоре, непринужденность светской беседы — не мой конек), но болтовня (la causeurie) иногда может быть полезной, помогает, избавляет от ощущения тяжести Я. И от натужной серьезности.

Серьезным быть приятно, даже несмотря на то, что после всплесков серьезности чувствуешь жгучий стыд. В общем, как с пьянством. Пьяные ведь, как правило, становятся жутко серьезными. Невыносимо серьезными. А серьезным быть не важно, а тяжело. Для окружающих в первую очередь.

Легкость и быстрота. Скорость реакции. Непринужденность. Гений — в легкости, потому что легкость — это совершенство. Кто быстро мыслит, тот ясно излагает. Завидная способность. Дальше все зависит от того, насколько интересна и глубока твоя мысль.

Я мыслю глубоко, но медленно. Мне так кажется.

Потому что я ленив.

То есть мыслю медленно, потому что ленив. Потому что ценю каждое свое умственное усилие. Потому что нравлюсь себе, когда думаю и выдумываю. Настолько

нравлюсь, что, выдумав мысль, постоянно к ней возвращаюсь. И поглаживаю себя, поглаживаю. Мерзость, в общем.

Как мы миримся с собственной мерзостью? — вопрос для Василия Васильевича Розанова. — Здравствуйте, Василь Василич!

Правда, он уже ответил на него.

Кстати, остались ли еще вопросы без ответов? — в литературном смысле.

Тяжкий труд автоописания, самоизъяснения. Неблагодарное занятие — уверить в ценности своего Я других. Это легче сделать, совершив подлог, то есть сделав вид, что продаешь не себя, а нечто другое. Хоть бы и свою душевную эманацию.

Продал чуть-чуть себя, но сам остался цел. И если вам этот плод моего Я не понравился, то и бог с ним. Обидно, конечно, но всегда есть оправдание: во-первых, вы не поняли, во-вторых, я могу лучше, в-третьих, я все равно гений.

И последний тезис истинен во всех случаях. Каждый гениален. Но творения гения могут быть бездарны. Причем чаще всего так и бывает. И в этом нет противоречия.

III

Но вообще-то странна эта потребность в разговоре, в коммуникации, это желание показать свое Я, донести свое Я до другого.

Я выглядит неприлично. Люди из какого-то внутреннего стыда, из потаенного смущения не рассказывают о себе (то есть почти, или редко). Или рассказывают, прикрываясь историями. О другом рассказывать легче, хотя это всегда рассказ о себе. Что бы ни говорили постмодернисты.

Я интересен только себе, и другой мне интересен постольку, поскольку он — Я. Я с удивлением обнаруживаю себя в другом. И это — расширение моего существования. Расширение пространства борьбы, говоря словами Мишеля Уэльбека. Хотя Уэльбек здесь совершенно ни при чем. Признать, что другой существует так же, как я — почти невозможно. Поэтому люди и ходят к психоаналитикам. Они рассказывают о себе, а в ответ получают молчание. Сочувственное молчание.

В принципе, это модель идеальной критики. Критик сочувственно молчит, пока писатель не выскажется до конца и не поймет, какая именно травма заставила его писать, пока не осознает свою ущербность. И тогда писатель замолчит.

На самом же деле эта травма — рождение.

Мы рождены для высказывания.

А кто не высказывается — тот аутист.

Физики, например, — аутисты.

Кому нужна эта Вселенная, эти черные дыры, эти кванты?

Если все это не превращается в компьютеры и мобильные телефоны, конечно.

Аутист, способный сосчитать все, все разложить на числа — и неспособный к коммуникации. Пленник абстракции и отвлеченного знания. Гений иных измерений.

Может быть, поэтому я не люблю математику. Точнее — всегда был в математике бездарен.

Отвлеченная красота математической задачи — идеал безличности, формула постмодернизма.

Андрей Белый очень этому завидовал, потому что отец у него был математик. Это была его трагедия, Андрея Белого то есть. Он не родился математиком, но очень математиком хотел быть. И все время математику имитировал. Схемы рисовал, графики.

Как можно заниматься математической безликостью? — это вторжение в Бога, в холод его творения.

Тепло появилось с жизнью, огонь вспылал в человеке. Человек — это божественный интеграл, квадратура круга, корень из минус единицы, число Пи.

Ну и прочее...

IV

Я вот подумал, а как будет выглядеть мое последнее письмо, Соломонов. Я же пишу текст с потенцией к его завершению. То есть смысл этого текста в том, что он должен закончиться. Сам закончиться, логично завершиться, исчерпать себя. Но как может завершиться мысль? Что такое конец мысли, тем более мысли о себе? Это же не доказательство теоремы, не силлогизм. Это же *Я*. Можно ли *Я* представить в виде силлогизма? — Нельзя. Я сам себе и родовое, и видовое понятие. Я превращаюсь в силлогизм, когда становлюсь кем-то, не собой. Силлогизм требует третьего лица. Силлогизм это — *ОН*.

Но чем закончится моя повесть — понять трудно. Наверное, это дастся мне в ощущениях, произойдет само собой. У меня же нет плана. Даль, неясная даль впереди.

V

Я сижу за стойкой, они — справа от меня. Та, что ближе — рассказывает. Не могу отвести глаз от ее рук. Рукава засучены по локоть. Загорелая гладкая кожа. Ладони — бледнее, поэтому кажутся старше. То есть в них проглядывает будущее.

Рассказывает она о том, как приобретала говорящего попугая. Милый рассказ, приукрашенный непринужденным матом. В этом есть особое очарование, которого я был лишен в моей юности. Мат тургеневских барышень — симпатичная примета нашего времени. Попугай, перенесший два переезда, во вновь обретенном месте молчал три дня. А потом заговорил.

— Сидит в клетке и пи...т. Не отдельные непонятные звуки, а тексты...

Вторая удивляется и, в свою очередь, рассказывает о говорящем попугае. Он произносил разные слова, но однажды заболел, замолчал и... умер.

Это судьба Гоголя, — думаю я, — гоголь — тоже птица.

VI

Я вот все думаю, почему мне в голову все время приходит Веничка Ерофеев. На самом деле, понятно, почему. Веничка, вечный Веничка Ерофеев, если перефразировать известное восклицание Родиона Романовича Раскольникова. Именно он сумел в своих волшебных ретортах соединить мучительную пронизательность Достоевского, соблазнительную интимность Розанова, ироничную анафорическую стилистику Рабле. Он научил нежно говорить о себе, то есть нашел способ выразить нежнейшее к себе отношение, наше преисполненное нежности упоение собой.

Не все, конечно, относятся к себе нежно, но подавляющее большинство из их числа — этих не всех — стесняется это чувство выразить.

В нежности видится слабость.

Так оно и есть.

Мечта о твердости, непреклонности — одна из самых распространенных.

А Веничка нашел способ преодолеть стыд, природное стеснение собственной интимности. И остался в литературе не как Венедикт, а как Веничка.

Спасибо ему.

И теперь во всякой открытой, нежно-ироничной интимности проглядывает Веничка Ерофеев. Это уже больше, чем литература. Это стиль. Это язык. Кириллица и глаголица. Психологический алфавит. Найденная возможность высказывания. Преодоление табу.

Стоит ли удивляться, что мне все время чудится его голос? Не стоит.

VII

Если бы я назвал свою повесть «Сто писем Соломонову», мне был бы ведом финал. Формальные ограничения иногда полезны. Но я заложник названия — «Письма Соломонову». Сколько их будет? сколько их должно быть, чтобы хотя бы оправдать жанр повести? Я уже пересек границу Рассказа или еще нет? Я уже вырвался из цепких лап случайности, из когтей беспричинности, сюжетной необязательности и композиционной безответственности, — или пока все еще пребываю в них?

VIII

Скажи, Соломонов, как ты написал свой роман. Точнее — как писал его. На что это похоже — на яркую страсть или ровный брак? Каждый день на протяжении года жить в одном мире с выдуманными персонажами. Это легче, чем с реальными людьми? И когда ты испытал настоящее счастье — в процессе писания или по завершении романа? Может, так и с любовью (о браке не говорю) — истинное счастье испытываешь, когда любовь прошла («... или дать отставку милой, Или отставку получить»).

Но, правда, странное дело — писать роман. Всерьез. Как на работу ходить. Впрочем, и играть в роман не менее странно. Но в игре хотя бы есть смысл.

Есть ли серьезное занятие для человека? Даже готовиться к смерти — и то глупо. И знаменитое «познай самого себя» — звучит не очень.

Руссо думал оправдаться перед Богом своей «Исповедью». То есть честным рассказом о своих мазохистских комплексах, в детстве проявившихся, о рецидивах эксгибиционизма, онанизма, о совместной жизни с женщиной, которую он называл «маменька» (точнее говоря, о жизни втроем — маменька, Руссо и преданный слуга маменьки). Чушь.

Это притом, что «Исповедь» — великая книга. Но не оправдание существования.

И бытие как таковое — бредовая мечта экзистенциалистов — не более чем очередной философский проект.

И «просто жизнь» — ерунда. Попробуй ничего не делать хотя бы день — сразу начнешь испытывать постоянный зуд: чем бы себя занять.

Про постмодернизм.

Определять его можно по-разному. Но что важно. Постмодернизм — это не просто превращение идеи в симулякр. Что из этого следует? Постмодернизм означает упразднение диалектики (диалектики по Лосеву, например). В самом простом виде это означает следующее. Диалектика подразумевает восхождение к Единому. То, что кажется противоречием на одном уровне, перестает им быть при восхождении на следующую ступень. Красивые примеры из математики. Гордиев узел сам собой распадается в четвертом измерении. Или: если у нас есть два концентрических круга. В двухмерном измерении (плоскость) один находится в плену другого, освобождение невозможно. Но если мы добавим третье измерение (объем), один из другого вынимается легко.

В постмодернизме никакого единого нет. Это скопление симулякров, истинность (сущность) которых доказать невозможно. Никто никуда не восходит и ничто ничему не противоречит. Более того, постмодернизм упраздняет простую дедукцию. Понятно, что постмодернизм дает совершенно необъятное пространство для мифа. Собственно, постмодернизм и есть сплошное порождение пустых мифов. Логика, диалектика здесь, в этом пространстве, в этом измерении не работают. Из этого следуют вот какие любопытные вещи.

Постмодернизм художественный, литературный. Сознательная, отстраненная игра в мир, потерявший Единое. В роли Единого выступает автор намеренно

отвернувшийся, отстранившийся от своего создания. То есть он сам в себе может сохранять единство, но созданный им мир к нему отношения не имеет. Вот дворянская усадьба. Суета в доме. Барышня в радостном волнении, в ожидании какого-то важного события. Все вполне узнаваемо, все в соответствии с кодами классической литературы. Но потом оказывается, что барышня готовится к тому, чтобы стать главным блюдом на праздничном ужине. Ее должны съесть (из сборника рассказов Владимира Сорокина «Пир»). В классическом читательском восприятии такое невозможно. Повесть из дворянской жизни — одно, а сказка про Ивашечку, которого хочет съесть ведьма, — другое. В постмодернизме — возможно. Одно существует рядом с другим и уже самим этим фактом одновременного существования указывает на ложность создаваемого мира. Точнее, на его инаковость.

Если мы в политике, в политическом дискурсе будем утверждать, что радостный быт дворянских усадеб связан с тем, что в усадьбах периодически ели барышень и сами барышни этого хотели, то мы или циники, или безумцы. Но циники все-таки — скорее всего.

IX

Был ли Розанов постмодернистом. Был.

Розанов был фейсбуком своего времени, клейкой бумагой, на которую налипали наивные мухи-читатели. Он всех подкупал своей интимностью, и в этом обращении ко всем и был его феномен. Только он в голодном 1918 году мог написать: «Читатель, горстка крупы, немного табака может спасти твоего писателя».

Розанов был как радушный лукавый хозяин, который пьет на террасе чай, глядит на мир и говорит всякому проходящему: заходи, и тебе чашечку налью. И растроганный посторонний идет, усаживается с Розановым за стол, пробует его варенья. А Розанов мирно воркует, мешает ложечкой чай в стакане с подстаканником, показывает всякие коллекционные мелочи: монетки старинные, книжки, цитаты, листочки с надписями, окружает обманчивым уютом. И хорошо так, по-домашнему становится.

При этом одновременно с заднего крыльца Розанов может принимать совсем других гостей. На общую доверительность, на позицию письма, благоустройство читателя это никак не влияет.

X

Человек жмется к другим, к теплу пусть даже никчемной беседы. Томится в ожидании — вдруг что-то произойдет, случится чудо — и жизнь изменится. Чуда не происходит, но зато даже пустые светские беседы с далекими, в общем-то чужими людьми согревают. А главное спасают от самого страшного страха — одиночества. Когда ты один, по-настоящему один — на тебя обрушивается весь поток существования. И от этого жутко. Что делать с этой слепой в своем движении силой, как удержать оболочки своего Я от разрушения, от безумия, от отчаянья? «Нехорошо человеку быть одному» — и то правда. Можно было бы сказать — трудно быть одному. Потому что ближние утешают, отвлекают, убаюкивают, и кажется, что вихрь жизни пронесется где-то рядом, над крышей. Там — холод и дождь и мрак грозных вопросов и требований. А здесь — уют, нагретый чужим дыханием, голоса, мир — в смысле общность, — и можно забыть о буре, бушующей за окном.

Чем же так пугает этот экзистенциальный поток? Наверное, безликостью, неоформленностью, хаосом. И бессмысленностью. Это то самое аморфное, чистое существование, которое приводило в оцепенение героев Камю. Смысл в этот хаос

может быть только привнесен, но когда ты один, эти жалкие попытки хотя бы как-то справиться с течением бытия, с этой гудящей онтологической трубой (!) — обречены.

Короче говоря, отшельничество — трудный путь, тем более отшельничество без веры. Собственно, в этом и был эксперимент экзистенциалистов.

XI

Боже мой, как трудно писать — это восклицание справедливо и в том случае, когда ударение в глаголе падает вполне ordinarily, то есть на второй слог. При этом выраженные в этом простом предложении муки творчества, видимо из-за амбивалентности высказывания на письме, приобретают остро ощутимые физиологические оттенки. «Не хотим писать в пустоту» — такой заголовок мой отец дал заметке об австрийских молодых композиторах, когда работал в газете «Советская культура». Австрийские композиторы жаловались на невостребованность своих произведений. Банальная проблема не только музыкальной среды. Он как всегда опаздывал, заметка версталась поздно, заголовок попросили изменить, и он по телефону сказал первое, что пришло в голову. Так газета и вышла. Утром добрые друзья журналисты позвонили отцу и поздравили его.

XII

Я ознакомился с целым рядом книг (американских авторов), посвященных писательскому мастерству. Писатели, по большей части мне не знакомые, но, судя по всему, добившиеся успеха в США, делятся секретами своего мастерства и наставляют юные дарования на нелегком пути беллетристики. Подобного рода пособия у меня всегда вызывали смутное чувство неприязни и небезосновательные подозрения в шарлатанстве. Во-первых, я, человек читающий, освоивший и просмотревший гору литературы и литературной макулатуры, не знаю, что такое писательское мастерство, как ему следует учить, а главное — стоит ли учить. Во-вторых, вся ремесленная литературная грамматика настолько невнятна, пошла и тошнотворна, что заставляет сомневаться в здравом уме и честности людей, берущих на себя ответственность обучать оной грамматике молодых людей, начинающих свой путь в литературе. В-третьих, все книги по писательскому мастерству, если опустить лирические отступления, воспоминания, примеры и цитаты, сводятся к одному тезису: для того чтобы научиться писать — нужно писать. С этим не поспоришь. Но в таком случае я на верном пути.

Я пишу, несмотря на кризисы и бури, плохое настроение и житейские неурядицы, недостаток воображения и отсутствие плана. Я двигаюсь. Я соединяю, пусть и с трудом, одно слово с другим, я пытаюсь поймать вдохновение, поверить в свои силы. Плюс к тому, я не только не думаю о публикации (слава Богу, мои многочисленные филологические и журналистские опусы уже подверглись этой процедуре, и у меня нет никакой тоски по публичности), но мне страшно представить, что мои откровения, течение моего сознания и поток моей души откроются не только тебе, но каждому желающему. С каким чувством будет читать меня человек посторонний? Что он скажет, подумает, почувствует? Как обойдется с сокровенным сокровищем, со святой святых моей души. Страшно подумать.

XIII

Все-таки в тебе есть что-то писательское, Соломонов. Этакая вальяжная значительность, этакая, я бы даже сказал, барственность. Сразу видно — вот идет писатель. В любом писателе, даже не барственном, всегда ощущается присутствие некоей тихой тайны.

Ведь чем занимается писатель — непонятно. Начнешь расспрашивать — говорит что-то невнятное, заученное и к делу не относящееся.

Владимир Маканин — писатель умный. С ним интересно разговаривать. С писателями, кстати, это бывает отнюдь не так часто. Но не в этом дело. Маканин как-то говорил, что есть писатели, которые мыслят картинками (Толстой, скажем). И это одна традиция. Но есть и другая, идущая от античности. Это литература мысли: когда писатель движется не от картины к картине, а от мысли к мысли. Таков Монтень или Паскаль — вообще вся афористическая французская литература (Ларошфуко и др.). Таков же Эмиль Чоран, которого французы, игнорируя его румынское происхождение, называют Сьоран. Он, кстати, писал диссертацию по французской афористике. Но в числе авторов себе наиболее близких называет Розанова. Французы Чорана знают, а Розанова — нет. Ужас! Таков же и Паскаль Киньяр в своих последних книгах (в «Блуждающих тенях», в частности, вызвавших глухую неприязнь французской публики и удостоенных Гонкуровской премии). Киньяр, между прочим, тоже не знает Розанова. Я с ним говорил на эту тему — он приезжал представлять свою замечательную «Ладью Харона» (*La barque silencieuse*), рассказывал про свои книги, которые строятся как fuga — контрапункт и проч.

У нас же из современных писателей (если не считать Венички Ерофеева с его гениальным опусом «Розанов глазами эксцентрика») опыт Розанова попытался воспринять Дмитрий Галковский в «Бесконечном тупике». Но кто сейчас помнит Галковского? Канул, утонул, даже кругов на воде не осталось.

Двигаться от мысли к мысли — трудно, хотя бы потому, что мыслей много не бывает, это если говорить о писателе. Читателю, правда, труднее вдвойне, потому что он вообще думать не привык.

Можно двигаться от ощущения к ощущению. Вот замечательный нормандский учитель Филипп Делерм написал книгу «Первый глоток пива и прочие мелкие радости жизни». Лирические зарисовки — утренняя покупка круассана, первый глоток пива (он действительно отличается от остальных), теплый свитер, который надеваешь впервые. Поэтика осязания. Как если бы улитка описала свои ощущения от движения. Нет, правда, как она ползет? что чувствует? Получилось бы что-нибудь вроде «В дороге» Керуака. Он как раз документировал свою жизнь с беллетристической страстью. Завидное качество. То есть, по существу, настаивал на том, что он живет как писатель. Или так — поскольку он писатель, то и живет по-другому, пусть даже жизнь его складывается из обычных и обыденных жестов: «И вот я вхожу! Я вхожу в ресторан! Мне улыбается бармен! Улыбается улыбкой! Я подхожу к стойке! Виски! — говорю я дружелюбно!» — Тыфу!

Кстати, ты знаешь, что у Монтеня была плохая память. Он все забывал. Собственно, поэтому и писал. То есть для памяти выписывал фрагменты из книг, чтобы не забыть, а уж потом комментировал. Я бы мог стать Монтенем, Соломонов!

XIV

От мысли к мысли — нелегкое движение. Человеку только кажется, что он думающее существо. Думать трудно. А Декарт — зануден. Что такое — думать мысль? Обычное состояние человека — хаос вербальных рефлексов, фиксация сиюминутных ощущений: «Красивая девушка. Улыбается мило. А молодой человек ее — неловок и скован. И противно учтив. Интересно, это их первое свидание? Она пьет вино. Чего бы мне выпить? Или не пить. Завтра много дел. Кстати, я, кажется, должен денег Н. И за квартиру. И когда мне заплатят? Нужно отдать в ремонт машину. Завтра? — не могу...». Это все не мысли. То есть «должен денег» — это не мысль. И про девушку — не мысль тоже.

Мысль всегда — усилие, осязаемая тяжесть. Безмыслие — расслабленность. Прострация — не такое уж загадочное состояние. Подавить вербальные рефлексy в голове легко. И не думать ни о чем легко. Труднее понять, что медитация — тоже интеллектуальное сосредоточение.

Безмыслие затягивает, захватывает. В нем чувствуется какая-то сладость небытия. Обманчивый покой. Я — спит или грезит, покачивается на волнах экзистенциального потока. И нет ни мыслей, ни озарений, ни откровений. Душевный столбняк. Паралич воли. Белый шум.

XV

Что такое медитация я отчасти понимаю благодаря рыбалке. То есть, конечно, рыбалка не вполне медитация, но и не безмыслие. Нет. Это особое ощущение. Это такое волевое растворение в мире. Волевое — потому что ты одержим желанием поймать рыбу. Ты ее ждешь, предчувствуешь, провидишь. Ты как будтоходишь в глубины инобытия, в непроясненные сферы существования. Вода ведь — непроясненная стихия, такой хрестоматийный символ психоаналитиков. И вот оттуда, из этих странных глубин, из неведомой тебе темноты ты ждешь зова, то есть поклевки. Ждешь, когда безжизненный и скучный поплавок преобразится и затанцует на поверхности, а затем уйдет под воду. И натянется леска, и бьющаяся, живая тяжесть согнет удилище. И вот тогда начнется поединок, тогда подступит неповторимое волнение, судороги и спазмы охоты, тогда ударит в кровь адреналин, и обострятся чувства, и эзотерический экстаз охватит все твоё существо.

Смотреть на поплавок — это удивительное занятие. Вроде бы взгляд сфокусирован в одной точке. Но одновременно ты видишь и чувствуешь весь мир. И понимаешь его. Понимаешь и воду, и ветер, и колыхание ветвей. Ты растворен в мире, но при этом остро и трепетно ощущаешь свое Я.

Блаженство и восторг. Погружение. Страсть.

XVI

Впервые на рыбалку меня взял отец. Мне было четыре года. Рыбу я ловить не умел. Сосредоточенное ожидание мне было тяжело. В основном я смотрел, как ловит отец. Он был странным рыбаком, то есть слишком артистическим. Рыбаком-интеллектом, не добытчиком. У него были какие-то свои, довольно сложные отношения с рыбой. Она, то есть рыба, кажется, отчасти презирала его за интеллигентность. Впрочем, кажется, интеллигентность подобные эмоции внушает не только рыбе, но вообще всем окружающим.

У моего отца была великолепная память. И слух. И еще голос — приятный, строгий глубокий баритон. Он был музыкален, но музыкален как-то филологически. Наверное, это вообще ключевое слово в характеристике его талантов. Отец был слишком филолог. Во всем.

Он всю жизнь играл — сначала на скрипке, потом на скрипке и фортепиано. И, как мне кажется, не продвинулся в игре дальше ученических штудий. Слушать бесконечные повторения одних и тех же пьес, с неизменными провалами, музыкальной фальшью, отдающей в душе скрежетом пенопласта по стеклу, — было мучительно. Гораздо приятней были его рассказы о музыке, если только он не пытался их иллюстрировать собственной игрой. Чаще он все-таки ставил пластинки.

Отец тщательно готовился к рыбалке. Подбирал поплавки, крючки, вязал поводки. Подоконники в квартире на Чистых прудах были уставлены банками с водой. В воде плавал, извиваясь, мотыль — красный червячок, личинка комара. Раз в неделю мотыль перебирался, то есть дохлый — выкидывался, бодрый и здоровый отправлялся обратно в банку.

Опарыш — личинка навозной мухи, белый мускулистый червяк — хранился в холодильнике.

На книжных полках теснились тома альманаха «Рыболов-спортсмен». Кстати, странное, почти противоестественное сочетание. Конечно, рыбалка не спорт. И рыболов не спортсмен.

Рыболовные атрибуты для отца, кажется, были значимее самой рыбалки. А процесс, безусловно, важнее результата. Наверное, он подходил к рыбалке, как к тексту. Или как к нотной партитуре. Он не был удачливым, успешным рыболовом. Собственно, как и я. Видимо, это тяжелое бремя интеллигентности. Мир и всякая тварь смеется над нами. Включая рыб.

XVII

Как бы ты ни растворялся в мире, как бы ни проникал в него всем своим существом — все равно подспудно гложет сознание недоуменный вопрос: что я здесь делаю? почему я здесь? И становится неловко, неприятно, холодно.

Легче всего от мира уйти в себя. Мы заслоняемся от мира нашим Я. Одежда, вещи, дом — проекция Я и защита от мира. Поэтому и в гостинице часто в душе возникает то же недоумение, то же острое переживание чуждости внешнего пространства. Зачем я здесь?

Мир, природа не так уж благожелательны и не особенно готовы нас принять. Они тоже постоянно спрашивают в свою очередь — чего ты здесь делаешь?

Действительно — чего?

Мир — рассказанная история, сообщается в талмуде, если верить писателю Иличевскому. Сам я талмуд не читал. Только когда мы в него входим, не сразу понимаем, какая роль нам отведена. А иногда и не понимаем вообще никогда.

Вдруг я попал в чужое произведение — и что мне там делать, какие слова говорить? Вообразишь себя королем, а тебе, оказывается, отведена роль шута. И хорошо еще шута.

Забавно, что талмуд не дает оценок — нет эпитетов, — какая именно история. Просто история. И что на уме у автора? Может, он тоже импровизирует?

Вся жизнь состоит из укрытий. Писательство — тоже укрытие. Словесный дом. Построил — и чувствуешь себя хорошо, надежно. Некоторое время. Но попробуй разобраться с хаосом, царящим в голове, даже только сосредоточиться на нем, и обман рассеется, опоры рухнут, голое Я задрожит и заплачет.

Куда деть свой хаос, свой душевный беспорядок, в какую форму его облечь? Слава богу, есть традиция, жанры. Жанры — литературные подсказки, готовые домики для Я.

Ну вот, текст мой переходит в восклицания и риторические вопросы. Интонация меняется. Такая внутренняя мутация. Может, это закономерно.

XVIII

Что творилось в голове у мифологического человека, человека эпохи мифов, как он думал? Голова, населенная чудовищами, — вот мозг древнего человека. Душа, полная страхов. И вокруг — тоже чудовища. Этот древний ужас легко почувствовать. В университете, на втором курсе, я отправился в фольклорную экспедицию в Полесье. Дело было зимой. И по ночам тьма была какая-то нечеловеческая. И от ветра хлопала дверь сарая. И подкрадывался ужас.

Ночь. Стук двери. Полесье. Гиблое место. Спустя десять лет убитое Чернобылем. Кошмар не нужно выдумывать, он нас окружает. И в нас живет. Человек просто

старается о нем не думать, возводит преграды разного рода. В том же Полесье старики и старушки неохотно рассказывали былички и «преданная старины глубокой». Русалки умерли, говорили они. Раньше — были, но пришла советская власть, и поумирали лешие и русалки. И в избах, под иконой в красном углу, появились портреты деятелей ЦК КПСС. Понятно, куда русалкам против них.

У Михаила Гаспарова в «Занимательной Греции» есть чудесный рассказ о том, как римляне поймали сатира. Историческое свидетельство. Судя по всему, последнее свидетельство о сатирах. Допросили его и отпустили — достойный образец экологического поведения.

А няня моя, Екатерина Васильевна (родом была она из Арзамасской области), рассказывала родителям на забаву истории про оборотней. Вполне серьезно рассказывала. Говорила, например, что мужики в деревне как-то заподозрили в оборотничестве одного из своих. Он оборачивался козлом и всячески проказил. И вот однажды, когда обернулся колдун в очередной раз козлом, взяли вилы мужики и погнались за ним. Козел от них ускакивает, а они бегут за ним. И приперли козла к забору, обступили кругом. А козел поднялся на задние ноги и сказал человеческим голосом: «Простите меня, мужики, я больше не буду».

XIX

Другую мою няню звали Анастасия Ивановна. Ни нравом, ни речью на Екатерину Васильевну похожа она не была. И происходила из Тверской губернии. Низенькая, седая, с усталым, покрытым морщинами лицом, чуть сгорбленной фигурой. Усталость вообще была во всем ее облике. Усталость и серьезность. Она все делала с усилием, как будто преодолевая внутреннюю тяжесть, как с упорством взбирающийся в гору человек, но ни минуты не стояла без дела. Я не помню ее смеющейся, у нее, кажется, вообще не было чувства юмора. Она вся была — олицетворенное служение, долг, верность, преданность. Она воспитала моего отца и меня с братом. Она была даже не членом семьи, а частью дома, домашнего мира, его неперемнным атрибутом, одной из его основ. В ней чувствовалась какая-то вековая, крестьянская жила, та деревенская суть, которая сближает человека с существом природы вообще. Дерево, земля — вот ее стихии. Одна знакомая моей мамы называла ее Савельичем. В семье же у нас ее звали просто Настя. Даже мы с братом, хотя Настя нам в бабушки годилась. В этом была какая-то неловкость, которую я, став постарше, остро чувствовал. Что-то от старой барственности, какая-то неприятная отрыжка крепостного права.

Я родился век спустя после отмены крепостного права. А Настя родилась в 1898 году в деревне Трояка (или Трояки) Кашинского уезда Тверской губернии. Город Кашин, рассказывал мой дед, помимо святой Анны Кашинской и минеральной воды, благодаря которой Кашин называли городом-курортом, славился своей «драй-мადерой»: местные купцы нещадно разбавляли портвейн спиртом. Семья Анастасии Ивановны, как говорила она моему брату, была зажиточной, то есть имелась корова и лошадь. По праздникам чай пили с сахаром. Отец Насти владел «душой земли» (то есть наделом на одного кормильца — ревизские души, как мы помним по Гоголю, были только мужские). В моем же сознании сама Настя была воплощением души земли. На подмосковной дедовской даче она все время что-то полола, вскапывала, поливала, то есть сливалась с землей. А под дачные участки, между прочим, выделена была территория бывшего аэродрома, так что дерн огородники взламывали ломami. Нынешний культурный слой (теперь огражденный забором внутри промзоны) — наращивался годами.

Потом, когда я у русских классиков встречал описания нянечек, кухарок, прислуги — у меня все время перед глазами вставала Настя. Ну и, конечно же, Настасья из «Преступления и наказания» сразу напомнила мою няню. Не темпераментом, а скорее душевным строем. А еще позже, уже в университете, я прочел гениальную

книгу Георгия Андреевича Мейера «Свет в ночи (о «Преступлении и наказании»». Опыт медленного чтения». «То, что олицетворяет собою эта, как принято говорить, "второстепенная фигура" в романе, — пишет Мейер, — преисполнено чрезвычайного значения. Повторяю, собственные имена даются Достоевским не случайно, они почти всегда отражают не характеры, не типы, а личность его персонажей. Анастасия означает воскресение, и это надо теперь же запомнить. Настасья в «Преступлении и наказании» — один из важнейших символов матери-сырой земли. Утверждаясь во зле, Раскольников тем самым надругался над породившей его матерью-землей, но она по-прежнему любовно носит его на своем лоне, и ее символ, ее посредница — Настасья, простая, жалостливая деревенская баба, бездумно заботится о Раскольникове, порвавшем сознательно и злостно живую связь с людьми, ушедшем в гробный кокон».

С Мейером, кстати, забавно получилось. Советские «достоевсковеды» его знали, но цитировали, не ссылаясь (Мейер — белый эмигрант, книжка вышла во Франкфурте в издательстве «Посев» в 1967 году). Дал мне его мой университетский учитель А.М.Б. Долго у меня хранилась ксерокопия. В 90-х я публиковал в «Независимой газете» фрагменты из Мейера, и ксерокс потерялся. Я твердил разным издателям, что Мейера нужно печатать, но все без толку. Спустя лет десять как-то в разговоре я пожаловался Косте Бурмистрову (замечательному человеку, специалисту по иудаике и библиофилу), что скучаю я по «Свету в ночи», и он через своих знакомых букинистов в Германии книжку для меня достал. И она снова потерялась (кому-то дал почитать). Но вот теперь, наконец, она появилась в интернете, о чем я торжественно и сообщаю тебе, Соломонов, и даю ссылку. Вот она — http://www.fedordostoevsky.ru/pdf/meier_1967.pdf.

XX

Собственно здесь я застопорился, Соломонов. Я увидел, как медленно сворачиваю куда-то в сторону, вторгаюсь в иные пространства, как меняется просодия (любимое мое слово), как начинает заявлять о себе навязчивая мемуарность. В ней нет ничего плохого, просто она ко многому обязывает. Это другой строй, другой слог. Последовательность, хроникальность. Милые, забытые и окончательно вышедшие из употребления приметы литературности, когда-то отличавшие даже устную речь.

Застольные разговоры детства.

Мой отец, например, в рассказах всегда был обстоятелен. И не только в беседах за столом, но и в разговорах один на один всегда был строго литературен. Такой XIX век, литература, перенесенная в быт, укоренившаяся в нем. Абсолютная органика и естественность. Никакой позы. Он мог начать историю про то, как поймал на донку самого большого в своей жизни голавля, так: «Летом 1956 года я отдыхал в санатории на Волге». Настоящий эпос. Сага.

Правда, большой голавль стоит того. Поверь мне.

Ты бы мог начать рассказ — осенью (весной)... такого-то года я заглянул в кабинет Петра Наумовича Фоменко. Я робко постучался, открыл дверь — Фоменко сидел за столом — и сказал, что хотел бы у него писать работу. Фоменко поднял голову, посмотрел на меня и нараспев спросил:

— Кто-о-о вы? Я вас бою-усь.

Нет, не мог, Соломонов. То есть мог бы все это рассказать, но без указания даты, без хронологии.

Современность обязывает к анекдоту, к экономии средств. Само течение повествования, неторопливость, правильность, округлость (какое толстовское слово!) утомляют, вызывают нетерпение.

А вот Александр Сергеевич Пушкин, когда Михаил Семёнович Щепкин пожаловался ему, что никак не может начать свои воспоминания, написал ему первую фразу: «Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке». Правда, гениально!

Впрочем, анекдоты Пушкин тоже любил.

XXI

Итак, мы продолжаем, Соломонов. Снова взваливаем груз, снова катим камень в гору, снова идем.

Слово к слову, слово за слово. Слово — шаг. Путь из слов. Куда и зачем — подскажет само слово, так что, вполне возможно, это не путь, а блуждание. Ведь неясно, куда слово поведет, какое другое вызовет, и то, другое, кому передаст эстафету. И во что все это сложится.

Даже необязательный текст требует усилия. Зачем говорить, формулировать, подыскивать слова, придумывать порядок, взвешивать, перечеркивать, придумывать вновь. Мысль порой не хочет облекаться в слова, как будто боится воплощения, то есть неминуемого искажения, искривления. Но опыт показывает, что без воплощения, мысль подчас съедает себя, спокойно перетекает в забвение. А забвение — наш враг, Соломонов, потому что память, если обратиться к этимологическим изысканиям Павла Александровича Флоренского, это и есть мысль, разум — *mens, mentis*.

Изначально наш дом — утроба, но мы не помним о ней. Вот Андрей Белый пытался вспомнить, каково было там, — не удалось. Наше тело — тоже дом, некоторые, впрочем, говорят — храм. Крыша и стены защищают тело. Тело защищает от космоса. А внутри — *Я*. Такая матрешка. Кошей бессмертный.

И вот ты пишешь слова, озираешь себя, свое *Я* и свыкаешься с тем, что когда-нибудь эти своды падут. И беспомощное *Я* станет частичкой космоса. И где окажется?

Даниэль Пеннак написал роман (*Journal d'un corps*) — жизнь человека, рассказанная его телом: рождение, созревание, взросление, старение, смерть. Эта физиологическая (в прямом смысле) история имеет совсем малое отношение к *Я*. Понятно, тело зреет, а потом разрушается — а *Я*? Как созревает *Я*, как отследить эти этапы созревания (если они вообще есть) и разрушения? И что такое разрушение? Вряд ли это история болезни, если только жизнь как таковая не болезнь. Наверное, можно смотреть и так.

Андрей Белый в этом смысле гораздо интересней. Конечно, из его бесконечных мемуарно-автобиографических изысканий разной степени художественности (воспоминания, дневники, «Петербург», «Крещёный китаец», «Котик Летаев» и проч.) можно извлечь описания его недугов (от чирия на заднице — в этом состоянии его застал Гумилёв в Париже, поэтому дружбы не получилось) до мании преследования и вписывающихся в учебник по психоанализу рассказов об отношении к матери и отцу. Но это все следствия. Любопытней собственно история *Я*: первые мерцающие картинки, болезнь и кошмар (страшная старуха, от которой едва чувствующее себя *Я* спасается), мифические чудовища, наполняющие сознание (в их роли выступают и гости квартиры Бугаевых), постепенное освобождение от мифов, то есть начало истории, истории Бори Бугаева — Андрея Белого, игра, мечтания: восхищенный подвигами Скобелева, Андрей Белый примерял на себя его роль героя. *Я* выступало как *ОН*, то есть Боря Бугаев, но другой, героический. *Я* искало не адекватного, а идеального отражения, создавало миф о себе. Иными словами, Боренька Бугаев рассказывал себе историю о самом себе, он был и автором, и слушателем. Сказанное слово возвращалось к нему обратно, но уже с другим знаком, знаком прочитанного (читаемого, к нему обращенного) текста.

И только потом уже — вторжение сознания, в полном смысле этого слова. В храм тела (где купол — голова, ребра — готические своды) приходит священник, священнослужитель — *Я*.

Любопытно, кстати, это мечтание о себе, как о *НЁМ*. Это уже начало художественного отстранения. Но здесь *ОН* и *Я* почти слиты воедино. Они — одно. Это еще не вполне романное повествование от третьего лица. Там всевидящий *ОН*,

не Я-автор, а демиург, творец. Поэтому так раздражает романная объективность, всезнание, странный голос сверху. И здесь даже не Толстой, которого все вслед за Бахтиным приводят в пример, приходит в голову — все-таки толстовское всеведение опирается на его Я-концепцию, на его уверенность в собственном великом мессианском предназначении. Приходят в голову бесчисленные ординарные романы — с их «мороз крепчал» в начале и стандартной интонацией безусловной констатации — было вот так.

Откуда такая уверенность, избирающая для себя неопределенно-личную форму? Раньше истории рассказывались вполне определенным голосом. А потом личность растворилась в неопределенном ОН. — Кто говорит? — ОН. — Откуда? — Отовсюду. И не пробиться сквозь эту монументальную близость.

XXII

Мне приснился Стеклов, Соломонов. Не спрашивай, кто это. Его нет, то есть не было. Пока не было. Он вышел из снов и слов. «Я помню то утро, когда Стеклов, надев пальто, открыл дверь, вышел, обернувшись в дверях. Стеклов вышел, обернувшись... Стеклов уходил... Стеклов, уходя, обернулся... В своем сером пальто он походил... он казался... Он был... он смахивал, напоминал... Стеклов ушел; уход Стеклова. Стеклов проснулся. В странной испарине. Вставать не хотелось. День обещал рутину повседневных дел, и было лень заранее...»

Хорошо, я помню. И что? Речь обо мне? Я помню, как ушел Стеклов. На самом деле я не знаю никакого Стеклова. А если убрать меня — зачем Стеклов оборачивался. И почему Стеклов. Кто он такой — высокий старик, с прямой спиной, военной походкой, из тех, кого я видел в детстве? Тогда ему не было лень вставать, хотя он и мог проснуться в испарине.

А если просто ушел Стеклов — и меня не было, и он не оборачивался, взял и ушел — то еще больше вопросов. Куда он ушел? И почему я об этом пишу? зачем оживляю Стеклова, наделяя его чертами встречавшихся мне людей? Вот я вижу его. Высокий, подтянутый старик. Вот обитая дерматином дверь. Узнаваемые плоскосты шляпки гвоздей. Крутая лестница. Подъезд. Гулкий двор на Чистых прудах. Вот он выходит в своем пальто, похожем на шинель. Голову держит прямо. Идет быстро. Не шаркает, не сутулится. Скрывается в подворотне.

Меня затягивает мир, который я хорошо помню, но не знаю. Он состоит из моих детских впечатлений, несвязных воспоминаний, картинок, бликов, цветов, запахов.

Утро. Громкое гуканье голубей. Почему их не слышно днем?

Настя подметает пол. Я остался дома. Видимо, заболел.

Настя варит щи. Снимает пену с бульона, вынимает мясо, выкладывает его на тарелку. Я смотрю.

Отцовский стол. В ящиках — куча удостоверений. Почему так много? Очки, ручки, которые не пишут. Таинственные знаки взрослой жизни.

Монеты — старая, дохрущевская мелочь, которую теперь «не принимают». Я попробовал однажды купить сок — он продавался в магазинах в таких стеклянных конусах. Вишневый. Мне очень нравился. Продавщица сразу заметила подмену. Я бежал.

Шкаф. Зеркало. В нем я. Смотрю и кривляюсь. Думаю — вот Я. Кто такой Я?

Огромный ящик радиоприемника. Панель. Две вращающихся ручки. Передача по радио: «Здравствуй, дружок!» — голос Николая Литвинова

Портьера, разделяющая гостиную. Тяжелая, из плотной зеленой ткани. За портьерой живет моя тетья — Ира. Точнее, она мне не тетья. Во время войны бабушка взяла в семью двух девочек-блокадниц — Лиду и Иру. Ирин отец нашелся после войны. Но она осталась жить у нас. Когда она приходит вечером, я ее встречаю. С порога она мне говорит: «Страшнее Кольки зверя нет».

Она варит макароны и посыпает их зеленым сыром из пакета. Я ем вместе с ней. Как сюда вписать Стеклова? И нужно ли?

Книжные шкафы с черными пятнами — отец спичками сжигал клопов.

Мотыль в банках. Футляр со скрипкой. За дверью — удочки.

Я однажды попробовал на удочку ловить голубей. Почти поймал и сразу почувствовал, что сделал какую-то гадость.

Правда, лет семь-восемь спустя ел голубей в археологической экспедиции. Мы копали старую Рязань. Берег Оки. Лагерь. Палатки рядом с деревней. Вставать нужно рано. Раскоп, размеченный колышками и веревочками. Снимаем дерн. Потом копаем на штык. И еще на штык. И еще. Зачищаем, то есть снимаем уже тонкий слой, чтобы был виден рисунок почвы. Приходит начальник с железным щупом. Смотрит. Щупает. Обводит темные пятна (далее — работа совком и кисточкой) или говорит — еще на штык. В двенадцать перерыв в работе. На раскоп приносят кислое молоко и черный хлеб. В выходные, то есть в воскресенье ездили на другой берег, то есть в собственно Рязань. В ларьках покупали пиво и вино «Фетяска». Его продавали в розлив. В магазине рядом с раскопом были только «Старка», «Зубровка» и кубинский ром. Дорого.

Голубей ловили на чердаке. Рыжий плотный мальчик (как его звали, не помню) вынимал пойманных голубей из мешка и уверенным движением, зажав голову птицы между средним и указательным пальцами, бил голубя об колено. Голова отрывалась. Тело еще некоторое время дергалось и било крыльями на земле. Смотреть было жутко и неприятно. Голубей — жареных, покрытых темно-красной коркой — это есть не помешало.

Из экспедиции я сбежал. Мне было тринадцать лет. Приехал в Москву. Дома никого нет. Поехал на дачу. На даче тоже никого. Влез через окно. Утром приехал брат с бутылкой портвейна.

Дача. Тоже тема. И там тоже мог оказаться Стеков.

Он выходит из электрички. Он спускается с платформы. Идет через поле: овес. Приближается к деревне, дорога спускается. Небольшая речка, деревянный мост, потом в горку и снова поле: рожь. На дороге толстым слоем лежит пыль. Каждый шаг вздымает облачко серого праха. По пыли славно бегать босиком. После дождя пыль превращается в грязь. В лужах-вымоинах мелкий мотыль и головастики. Вот и участки видны. Высится водоканка. Серый дощатый забор. Массивные деревянные ворота, выкрашенные в коричневый цвет. Он подходит.

Нет, это не Стеков!

Небольшого роста, соломенная шляпа, светлый костюм, суетливая походка, мелкий шаг. В руках портфель и авоська.

Это Еремеев! Он везет продукты. У него красное одутловатое лицо, толстая, низенькая жена. Двое детей. Одноэтажный дом: веранда, две комнаты. Он не любит дачу...

А Стеков не приехал.

XXIII

Приходится отмахиваться от воспоминаний. А то, не дай бог, «нахлынут горлом и убьют», проникнут в сознание, заполонят мозг. Люди, картины, события, ощущения, как и что было на вкус, на ощупь, чем жила душа. Интересно — это тоже *Я*? Может быть, к старости человек действительно не выдерживает этого напора — и уходит в сон, в сладкое бездействие. Он просто боится вспоминать. И забывает. Или устает объяснять и замыкается. Пожилые люди застенчивы. У Чорана есть мысль, что скромность — это не только защитная реакция, но привычка, выработанная общением с возмнившими о себе профанами. С непонимающими.

Трояка, где родилась Анастасия Ивановна, куда в детстве, безмысленными чадами мы ездили с братом, больше не существует.

Маленькая деревня над ручьем. Летом ручей пересыхал, но оставались омуты. В них купали лошадей. Корзинами ловили вьюна (вьюн похож на угря, но относится к отряду карпообразных) — никогда после вьюна я не ловил и не встречал. Весной ручей разливался, так что ни пройти, ни проехать. Тогда у школьников Трояки наступали весенние каникулы. В школу они ходили в соседнюю деревню Никольское.

Посередине самой деревни был пруд с карасями и пиявками, с мутной, коричневатой водой. Две фермы. Коровы, лошади, овцы. Пастух с классическим (короткое кнутовище, длинная плеть) кнутом. Вокруг лен, овес, рожь, поля под паром. Дальний лес, еще помнящий, наверное, помещика Лихачева. Деревня, в общем. Остатки XIX столетия, хоть и изгаженные большевиками.

Трояка стала жертвой хрущевского укрупнения сельских хозяйств, аграрной оптимизации или уничтожения небольших деревень. Теперь, если посмотреть на карту, на ней значится — урочище Трояки.

Вот-вот. Кругом одно урочище, куда ни глянь: поросшие мелколесьем поля, оставленные деревни, безлюдье. По два-три старика на село (это кто круглый год живет), остальные — дачники. Исчезающий, на глазах убывающий антропоген, на смену которому приходят бобры и кабаны. Природа возьмет свое, можно не сомневаться. Ей на человека наплевать. Что крестьянин, что лось, что заяц. Это только нам бывает как-то жалько и неуютно смотреть на урочище.

Как-то в одном из походов с другом моим Тиуновым в поисках места, «где хорошо», были мы на Энг-озере, в Карелии. Сентябрь, холодно, ветер, дождь, грустные туристические стоянки, несколько оживляющие суровый каменистый берег, пусто, рыба не клюет. Тоска. И вот плывем мы на байдарочке, отыскиваем место, где можно было бы встать, и вдруг видим — чудесный берег, такое веселое пятно на общем не слишком радостном и приветливом пейзаже. Выходим — деревня. То есть раньше была деревня — ни домов, ни даже фундаментов не осталось. Осталась только память о присутствии человека: яблони, кусты смородины, яркая трава. Какая-то одушевленность, тепло. И к нему и зверь, и дичь стремятся: зайцы, тетерева. Благодарь.

А теперь вот дачи. Убожество современного очеловечивания. Отъезжаешь от Москвы — на километры тянутся участки, крыши домиков, домов, домин, заборы, огороды. Странные муравейники, городская теснота, выплеснувшаяся наружу, полипы на теле окрестностей, коррозия пейзажей, порча, разрешенная частная собственность, места для отдыха, подкрашенная энтропия.

На станции в городе Белозерск (где самый большой шлюз на Беломорканале) неподалеку от здания железнодорожного вокзала стоит характерное строение. Если смотреть на него с фасада, обращенного на пути, домик и домик, выкрашенный охрой. Даже не мрачный, не унылый. Целевое назначение одноэтажного сооружения обнаруживается при взгляде с торца. Тогда видишь аляповатую загородку из некрашенных досок, букву Ж. Вход в М — с другого, дальнего торца, если идти от вокзала. Мостки, крапива. Но даже само присутствие, то есть интерьер сооружения, помещение на два места — аккуратно. То есть можно войти. В углу лопата. На характерном подиуме, рядом с ассенизационным отверстием — книга: Ортъ Степанов. Вдовья доля (роман/Пер. с финск. — Петрозаводск: Карелия, 1987. — 215 с.).

XXIV

Свободное ли ты существо, Соломонов, ответь мне. Можешь ли ты быть свободным хоть день? Я вот не знаю, что бы на это ответил, в смысле — что бы сказал о себе.

Но совершим небольшой подлог. Освободим не себя, а день.

Свободный день — вещь соблазнительная и мучительная. Он манит обилием возможностей, иллюзией — я могу делать, что хочу. Но к этому *хочу* приходится себя принуждать. И часто ли это удастся? — Нет. А если быть совсем честным — не удастся никогда.

Свободный день — потерянный день, и завершается он разочарованием.

Конечно, он рисовался в мечтах другим. Наполненным радостными делами. Но как только пропала обязательность — так сразу пропало все. Ничего не планирую на свободный день, Соломонов. Все это самообман, глупости. Из этой же серии — книжки, взятые в отпуск, планы написать, придумать. Нет. Только простые дела — вынести мусор, постирать, выпить, посмотреть кино.

Главное не смотреть новости.

Что есть всему разрушитель, Соломонов? Скептицизм и отчаяние. Они приводят к злобной тоске и мрачному зуду рефлексии. К этому же приводит и регулярный просмотр новостей. Хочешь испортить себе настроение — почитай новости. Забавно, что именно с этого и начинается каждый день. То есть с новостей. Сознание постепенно захватывает этот однообразный и раздражающий поток. И ведь заранее знаешь, что нового ничего по большому счету нет, и все равно руки тянутся к компьютеру. Плохая привычка — похуже курения.

За всем этим призрачная надежда — вдруг мир изменился и произошло чудо. Нет, не произошло.

И какое чудо в мире? — белочка и изумрудные орешки, тридцать три богатыря, Царевна-Лебедь. Да все не у нас. А у нас — ткачиха, повариха и сватья баба бабариха. И дольше века длится день и не кончается сказанье. То есть аптека, улица, фонарь, и мостовую скребут железной лопатой. Или кладут плитку и благоустраивают территорию. И вокруг пыль, известка, арки из искусственных цветов и прочее благолепие.

Боже мой — где моя юность, где моя свежесть, где ситники и калачи, буханки «Орловского» и «Столового», где булочки с маком, где?

Где остатки окончательно Советами не уничтоженной той, стародавней Москвы, где булочная с пекарней на Кировской и такая же на Покровке... Судороги воспоминаний. Ведь есть особая мучительная сладость в воспоминаниях детства. Закроешь глаза и подступают цвета, образы, запахи, наполняет блаженное ощущение — всему еще длиться и длиться... считай, что это лирическое отступление, Соломонов.

Вернемся к новостям, то есть пошлем их к черту.

Все, иду к себе, выхожу из большого мира и прихожу в свой, маленький и скромный.

Но даром-то новости не прошли. Я прихожу уже обремененный ответственностью. Я страдаю болями мира, я гневаюсь и переживаю, я волнуюсь, наконец. Я душой стремлюсь к дальним и обездоленным.

Любить дальнего легко, говорил один персонаж Достоевского, гораздо легче, чем ближнего. То есть ближнего как раз любить и невозможно. И это понятно. Смотришь, идет по улице прекрасный человек. Но подойдет он поближе, рядом встанет,дохнет на тебя, заговорит — и все, пропала любовь.

Отец мне рассказывал, как ехал он однажды в электричке. Напротив — две девицы сидели. Он любовался ими, пока они не заговорили. А как заговорили, так волшебство и рассеялось: «Как будто с каждым словом жаба изо рта выскакивает»...

Скажу о ней всего два слова:

Душой — свинья, собой — корова.

Это тоже отец сочинил. В школе. О своей учительнице литературы. Прости, жабой навеяло.

Но дело ведь не только в дальних. Большой мир почему-то манит, притягивает к себе, вызывает желание самоутвердиться. Чтобы и ты в нем как-то отметился, какое-то место оставил за собой. Пусть даже просто табличку с именем. «Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живет в таком-то городе Пётр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Пётр Иванович Бобчинский».

Кстати, заметил ли ты, Соломонов, что Бобчинский и Добчинский — первые профессиональные журналисты. Ну, хорошо, первые провинциальные профессиональные журналисты. Новостники.

XXV

Мой дед говорил: «У меня в семье — одни олухи. Филолух, геолух, биолух. Только Мишка (двоюродный брат мой) инженер».

Сам дед был инженером-гидростроителем. Гуманитарные науки (включая в них географию, геологию, биологию) презирал. Когда отец, слушая его рассказ о создании в нижнем течении Оби плотины, спрашивал его: «А какая будет зона затопления? Ты хоть с географами посоветовался?» — дед презрительно отмахивался: «А, они ничего не понимают».

При этом он мечтал стать музыкантом, думал в консерваторию поступать. В старости, когда стал членкором, купил пианино. Играл дуэты с отцом. Он — на фортепиано, отец — на скрипке.

После смерти деда отец перевез пианино к себе.

Старательная пунктуальность, в мелочах проявлявшаяся, у него от деда, конечно. Он рассказывал, как завороженно смотрел в детстве на остро заточенные скальпелем дедовские карандаши. Завидовал. И потом сам точил карандаши, как дед. И тоже скальпелем.

Я родился в семье филологов. Среди книг. Впрочем, не только книг. Отец читал толстые журналы, газеты — советские и доступные зарубежные. И почти ничего не выкидывал. Квартира это выдерживала с трудом. Полки, забитые книгами, напоминали колумбарии — достать оттуда что-нибудь было почти невозможно, громоздились стопки журналов, газет, рукописей, машинописей. В какой-то момент отец решил все-таки делать «вырезки»: их сохранять, а остальное выкидывать. Вырезки должны были раскладываться по конвертам. Конверты надписывались. Справиться с этой работой нельзя было физически — пресса поступала ежедневно, а вот утилизация ее откладывалась. Тогда было принято кардинальное решение — сделать стеллаж. Эра, как известно, была доикейская (или доикеевская?), мебель приобрести было непросто. И главное слово здесь, конечно, *сделать*, а не *стеллаж*. Видимо, в папе проснулся инженер (или ревниво-мечтательная оглядка на деда). Были закуплены у кого-то жуткого вида доски. Их предстояло покрыть морилкой, отлакировать и уж потом собрать стеллаж. Морилка вскоре тоже появилась. Вся эта красота громоздилась у глухой стенки в гостиной, занимая добрую ее часть. И в этом полуфабрикатном виде застыла. На годы.

Я как-то пришел к отцу на Чистые пруды с приятелем, и он, войдя в гостиную, первым делом спросил

— Что это?

— Это стеллаж, — уверенно ответил я и, видя его недоумение, вкратце рассказал об отцовском проекте.

— Не легче ли просто готовые полки купить?

Конечно, легче. Конечно, стеллаж — почти плюшкинская куча. Но вот ведь в чем дело. Плюшкинский хаос — это потенциальный порядок, порядок, отложенный на потом. Он происходит от скрупулезности и педантичности. Зацикленность на порядке

рождает хаос, пунктуальность и строгий учет перерождаются в бессмысленное накопительство. Все так, но...

Стеллаж — это часть *Я*, только не организованная. Пока не организованная. Поэтому к ней нельзя прикасаться. Это заповедная часть личного пространства, вторжение в нее недопустимо и вызывает досаду, раздражение и гнев.

Отец любил порядок. Достаточно было посмотреть на его рыболовное хозяйство, на коробочки с поводками, крючками, поплавками, на старательно сделанные мотовильца. Но этот порядок, точнее, сама идея порядка была какой-то сложной, изощренной, почти фантастической, неэкономной, мечтательной, утопичной и, следовательно, невыполнимой. Идея не воплощалась, и энтропия стремительно возрастала. Материя ветшала и хоронила в себе первоначальный идеал. Но если верить Гоголю, если помнить, какую роль он отводил Плюшкину в романе, — есть надежда на воскресение. Или на повторение, если Гоголю не верить.

Всю жизнь меня окружали книги, и всю жизнь я себя книгами окружал. Они кочевали со мной с места на место, и в результате рассеяны по всему городу. Локализовать библиотеку не получилось. Может быть, это меня и спасло.

Впрочем, свой стеллаж я начал строить, по-моему, семи лет от роду. Я задумал соорудить замок из пластилина. Он должен был возвышаться на ящике из-под кубиков, в нем планировался подвал, мне виделся окружающий его ров, подъемный мост. И строился замок из отдельных пластилиновых кирпичиков, что, разумеется, требовало немалого количества исходного сырья. Замок я не достроил, и в этом виде, постепенно превращаясь из проекта в руины, он долго стоял на шкафу. Конечно же, я не стал ни гидростроителем, ни строителем просто. Более того, даже отцовскую аккуратность не унаследовал.

XXVI

Говорят, что один из способов «прибраться» — вести дневник. Все западные книжки из серии «Сделай себя сам» настаивают на этом: записывай, что нужно сделать. И я честно пробовал. И покупал ежедневники, которые очень люблю еще со времен сам- и тамиздата и всеобщего книжного дефицита. Переписанное в ежедневник давало иллюзию полноценной книжки. Но все напрасно. Не для меня. Записанное оставалось забытым и не сделанным. Правда, есть ведь люди, которым это удается.

Главным моим потрясением был ежедневник географа Анатолия Николаевича Запезалова из школы, где я преподавал после университета. Он, правда, все записывал. Все дела. А по исполнению вычеркивал, так что чудесная книжечка в обложке из кожезаменителя содержала в себе только зачеркивания. Забавный арт-объект, между прочим.

Да, дневниковая пунктуальность. Я как-то читал дневники Островского, Александра Николаевича. Книжка вышла, по-моему, где-то в 80-х. Там много было чудесных мест. Вот летом Островский записывает события дня. Примерно так (лень цитату искать): «Встал в 6. 30. Пасмурно. На омуте у мельницы. Два окуня и ерш». И все. Больше ничего не случилось. На следующий день тоже самое. Ну, может быть, только погода другая. И вместо окуня — лещ.

А ведь великий драматург был!

Представь: между ершом и окунем — «Гроза». Ну или «Бесприданница».

Вот что значит рыбалка!

И сухая объективность.

Я выступает в роли такого сейсмографа. Фиксирует колебания. *Я* ориентировано на внешний мир. Увидел — записал.

Дневник не обязан быть ежедневным саморазоблачением, собранием тайн и интимных подробностей.

«Если я и не проживу достаточно, чтобы быть знаменитой, дневник этот все-таки заинтересует натуралистов: это всегда интересно — жизнь женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки, как будто бы никто в мире не должен был читать написанного, и в то же время со страстным желанием, чтобы оно было прочитано; потому что я вполне уверена, что меня найдут симпатичной; и я говорю все, все, все. Не будь этого — зачем бы...»

Каков задор!

Лучше не скажешь.

Если снять с себя одежду, то телу станет стыдно, а душе стыдно, — писал Павел Александрович Флоренский.

Не всякой душе, разумеется.

Прошедшее столетие дало такие примеры разоблачения, что куда до них Жан-Жак Руссо.

«Заголимся и обнажимся» — этот лозунг «Бобка» стал расхожим товаром, настолько расхожим, что, кажется, в моду входит прикровенность. Не Жене, не Миллер, не «Голый завтрак», а чинная трапеза, скромное утаивание.

Не Мария Башкирцева, не Вера Павлова, а Полина Барскова, если нашими деньгами. Действительно, как улитке выйти из своего домика, ручейнику покинуть свой футляр?

Но ведь и пребывать в нем томительно. Запрешься в коконе самого себя, и поразит тебя дурная бесконечность саморефлексии подпольного человека, недуг самопоедания.

Дневник не только принципиально, по сути своей, скрыт от чужих глаз, он не пишется даже для себя самого. Он пишется для *Я*, но другого, для не меня, для отражения в зеркале, ментальной тени, астральной проекции *Я*. Разговор с самим собой, но не с теперешним, сиюминутным — а другим, удаленным во времени и пространстве, переведенным в иное измерение.

Наверное, так.

Я, впрочем, давно дневник не веду, хотя ежедневники покупаю. Потому пишу тебе письма, Соломонов.

XXVII

Соломонов, вот ты как пишешь? Я знаю, что пишешь ты левой рукой, но скажи, ты сочинишь утром или вечером? Ведь ты не можешь писать по утрам, я точно знаю. Ты ведь любишь поспать.

Я тоже люблю. И вот что странно, главные, самые сладкие часы, самые упоительные моменты сна — когда ты проснулся, но можешь не вставать. И тебя обратно в сон затягивает. Такая нежная слабость, такая дремная нега.

Чтобы встать, нужно сделать усилие. А оно мучительно, неприятно. И самое главное — ну вот ты встал, проснулся. И что? Этот требовательный мир перед глазами. Суета, дела, долги. Нет, радостно и бодро встречать утро могут только политики, бизнесмены и адвокаты.

Я даже на рыбалку рано утром не встаю. То есть или уж я не сплю и тогда иду на рыбалку. Или иду вечером.

У меня есть знакомая, дальняя знакомая (так говорят, Соломонов?), так вот она встает каждый день в шесть утра и пишет. К двенадцати она уже свободна. Можно сказать, весь день впереди.

Жуковский, говорят, вставал аж в пять часов, становился за конторку, писал до семи, а потом шел воспитывать наследника престола.

А Пушкин, когда просыпался, с кровати не вставал, конторку пододвигал к себе и писал до полудня. Потом брал палку и шел гулять.

А Достоевский писал ночью, когда уже все в доме ложились. Пил крепкий чай, как Кириллов, и писал до утра. Вставал поздно.

Некоторые пишут все время, как Дмитрий Александрович Пригов. И тогда все равно, рано ты встаешь или поздно.

Просто пишешь постоянно.

Правда, в постоянно пишущем писателе иногда угадывается что-то вороватое. Он все время настороже, начеку, он каждую частичку действительности, каждое мгновение, каждое слово и каждый шаг укладывает в свою творческую копилку. Увидел что-нибудь или услышал кого — и записал. А потом — бац, и рассказик готов.

Я же рано утром сочинять не могу, если только раннее утро не поздняя ночь, когда ты спать и не ложишься.

Утро — время скепсиса и неприятия жизни. Я и завтракать не люблю...

Ночь — другое дело. Но она располагает к медлительности, к «долгим думам». «Когда для смертного умолкнет шумный день...»

«Томительное бденье» — лучше не скажешь. Погружение в себя, которое действительно иногда граничит с отвращением.

Но можно ли утром писать исповедь или сочинять любовное послание. Встал рано утром, зарядку сделал, умылся, посмотрел в ежедневник, вспомнил — да, я же, собственно, влюблен, и написал страстное письмо.

Нет, жизненная правда, Соломонов, (а я всегда за нее) не такова. Проснулся, поморщился, вспомнил, что говорил вчера, с опаской поглядел на телефон и застонал в раскаянии. Тут не до любовных писем. И не до писем вообще.

Я уверен, Соломонов, что человеку, который рано встает, не могут сниться кошмары. А если приснились, значит он или напился, или виноват перед начальством, или в чем-нибудь уличен.

Утренний человек (назовем его так) просто проскакивает таинственный мрак, не видит очей «повелительницы ночи», не слышит «победный шаг ее сандалий».

Он рассудочен и рационален. Он дитя порядка. Он не верит в медитацию. Метафизика ему претит. Он читает политические новости и, может быть, даже смотрит телевизор.

Ночной человек не таков.

Он даже сочиняет во сне и помнит сны.

Вот Достоевский, ночной человек, помнил сны и разбирался в кошмарах, чувствовал дыхание миров иных. Сон у него легко перетекает в действительность, а действительность в сон, в мираж, видение.

А у Толстого сны аллегоричны. И даже знаменитый арзамасский ужас его вовсе не кошмар, а проекция бытовой мнительности. Он не из сна, а из реальности. Вот представь себе, Соломонов. Лев Николаевич Толстой. Ему 41 год (акмэ, как сказали бы древние греки, расцвет). Он здоров, женат и счастлив. У него дети. Он получил деньги за «Войну и мир» и едет покупать имение в Пензенской губернии. Едет поездом, потом на почтовых перекладных. Едет день. Потом решают ехать и ночью. В телеге он задремал и очнулся с плохим чувством в душе. «Зачем я еду? Куда я еду?» — пришло мне вдруг в голову. Не то чтобы не нравилась мысль купить дешево имение, но вдруг представилось, что мне не нужно ни за чем в эту даль ехать, что я умру тут в чужом месте». Это первые шаги приближающегося ужаса. Приехали в Арзамас. Гостиница показалась ему «грустной» — «так что жутко даже стало». И квадратная комнатка не понравилась. Слуга поставил самовар. Толстой лег на диван. Снова задремал. И опять проснулся в тревоге. В комнате никого, темно. «Я вышел в коридор, думая уйти от

того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было. "Да что это за глупость, — сказал я себе, — чего я тоскую, чего боюсь". — "Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут". Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть... Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно».

Самое искусственное здесь, конечно, — «голос смерти». Такой примитивный театр. Но никакой мистики, никаких сновидческих лабиринтов. Я живо ощущает неизбежный переход в инобытие, которое понимает как небытие. И не может с этим согласиться (а кто может?), не может согласиться с тем, что перестанет быть. Ну так это и есть реальность.

Собственно цитировал я «Записки сумасшедшего», которые Толстой потом написал. Сначала назвал «Записки несумасшедшего», а потом «не» убрал. Решил Гоголя не стесняться.

А вот Лермонтов, говорят, однажды увидел во сне своего предка — Лермонта. Тот пришел и подсказал решение задачи, которую Лермонтову никак решить не удавалось. И с тех пор, приходя в новое жилище, Лермонтов углем на стене рисовал профиль Лермонта. Михаил Юрьевич, конечно, ночной человек. А каким еще может быть автор «Штосса».

Фиолетовые руки на эмалевой стене.

Цвета модерна, между прочим. Так считал Евгений Абрамович Розенблюм. Дизайнер.

Почему это в голову пришло — бог весть.

Поймешь, на глянце центифолий
Считая бережно мазки...
И строя ромбы поневоле
Между этапами тоски.

Строю ромбы. Тоска.

XXVIII

Чтобы говорить, вещать, учить, наставлять, нужно иметь известную долю бесстыдства или великую способность к отстранению, чтобы тут же сказать — это не я. Это мой текст, но этот текст — не Я. Но где его взять, это отстранение или остранение?

Тихим странником, взяв посошок, как Толстой, сбежать от себя, покинуть свой домик. Вот так выйти через заднее крыльцо, встать в сторонке.

И подойдут и спросят:

— Это твой дом?

— Чего? Дом. Нет. То есть мой, но я в нем не живу.

— Сдаешь что ли?

— Вроде как. Но никто не селится.

— Дорого?

— Да нет, почти задаром. Просто дом с привидениями.

— Seriously?

— Ага. Поэтому и не живу.

— И что дальше?

— Не знаю...

«Я устал верить в себя...»

Письма поэта Вениамина Айзенштадта, прозванного Блаженным, Григорию Корину, Семёну Липкину, Инне Лиснянской, Елене Макаровой, (1980—1992)

Айзенштадт переписывал от руки не только свои стихи, но и письма. Благодаря этому в архиве поэта-минчанина Дмитрия Строчева обнаружились вторые экземпляры писем Айзенштадта ко мне и к моим родителям, Григорию Корину и Инне Лиснянской, а также к моему отчиму Семёну Липкину. Некоторые письма он редактировал, это я обнаружила, сверяя те, что хранились у меня, с теми, что получила от Дмитрия Строчева. Письма ко мне публикуются в «первозданном» виде.

В 1999 году в журнале «Дружба народов» было напечатано мое эссе памяти поэта Айзенштадта. В нем подробно рассказывалось и о наших встречах, и о том, как поэт Вениамин Айзенштадт стал Блаженным. <http://magazines.russ.ru/druzhba/1999/12/makar.html>

Елена МАКАРОВА
Хайфа, 2016

Г.А.Корину

21/VII.80

Дорогой Григорий Александрович!

Спасибо за письмо, за книгу¹, за надпись — я долго ее рассматривал, как, помню, в детстве впервые разглядывал переводную картинку: все сказочно, все не от мира сего. (Была у меня в детстве такая — случайная — книжка с переводной картинкой на заглавном листе: кораблик.) Посылаю стихи; в основном, о родителях. Горести отцовской жизни я не придумал и не преувеличил. Отец полвека проработал на фабрике — отмывал в керосине и расчесывал железным гребнем щетину и конский волос. Жили впроголодь. Слова отца, казавшиеся мне когда-то проклятьем: «Будешь, сынок, чесать щетину», — помню теперь как благословение: всю жизнь я ел хлеб, заработанный нелегким трудом.

Но мне «повезло»: я всего лишь 23 года работал со скипидаром, олифой, бронзовой и алюминиевой пылью. (Получал, как и отец, пол-литра молока в день за вредность.)

Я не «чесал щетину» — работал в художеств<енно>-рекламном цехе артели инвалидов. Художников в прямом смысле слова в цехе не было: инвалидов войны, труда и детства приспособили делать аншлаги и вывески — на стекле и на жести. Впрочем, в молодые годы пять лет был учителем сельской школы, как человек «образованный»: довоенная восьмилетка плюс один курс учительского института.

Любовь мою к стихам и — соответственно — мою «писанину» мать и отец считали семейным бедствием: писал стихи и повесился старший брат. Мне и тут повезло больше: отделился пребыванием в дурдомах, где иногда принуждали читать стихи студентам-медикам; лечащий врач комментировал — вот де бред, образец мышления параноика.

¹ Весь корпус писем В.Айзенштадта к Г.Корину, С.Липкину, И.Лиснянской, Е.Макаровой хранится в отделе редких книг и рукописей библиотеки им.Хесбурга, Университет Нотр-Дам, США (2377).

В общей сложности провел в разных психушках три года. Долгие годы имел соответствующую группу инвалидности: вторую, потом третью...

Судьба сделала все, чтобы мне не быть поэтом, — и преуспела лишь отчасти: я никогда не публиковался.

Наверное, я во многом, как поэт, виноват: слушал только свою боль, но ведь любая боль — отголосок мировой боли; боль — всегда эхо...

«Но странно был мой ум упрям
И молча верил я,
Что боль дана как правда нам,
Чужая и моя».

(К. Бальмонт)

Если я и плачу в стихах, то — сияя слезами: верил и верую в святость отца, матери. Святость жизни, если даже она — череда бедствий, для меня непреложна; по-своему я даже оптимист.

...Не пеняйте на прямоту письма. Вы сами со мной откровенны. Я не знаю, почему Вам написал именно такое письмо. Когда-то написал нечто подобное П.Г. Антокольскому: он меня застрашал: «Никогда никому не пишите подобных писем», — и прекратил со мной переписку. А я хотел, чтобы он знал о канве, по которой я вышиваю суровыми нитками. Может быть, и Вы так поступите. Но — как говаривал отец — «лучшая ложь — это правда».

Ваш В.А.

¹ Автопортрет: Стихи. — М., 1976.

Г.А. Корину

27/VIII.80

Дорогой Григорий Александрович!

Я пишу Вам в смутное для меня время, когда со мною перестали переписываться А.Тарковский и А.Кушнер.

(Если и Вы так поступите, то объясните хотя бы причину.)

Молчание поэтов казнит меня — всю вину я возлагаю на себя.

Видимо, «какая-то в державе датской (моей державе) гниль». Если бы мои адресаты знали, что значат для меня их письма — и что значит наступившее молчание!..

В моем почти казематном одиночестве!..

...Я всегда был убежден, что в моих стихах со стороны формы что-то неблагополучно. Рад бы их править, да не знаю, с какой стороны взяться. Со школьной скамьи помню, что «Онегин» написан ямбом, — вот и все мои познания в области стихотворной техники.

Ни дружеского круга, ни редакторов у меня никогда не было. В дурдоме под мягким нажимом лечащего врача читал я стихи студентам-медикам. Ассистент психиатрии построчно разъяснял их как бред параноика. Особенно досталось «Молениям о кошках и собаках»...

Студенты потом так и спрашивали: «А где тот дурак, который пишет про собак?..»

Наверное, мне не следовало бы писать об этом — писать, словно совать в чужие глаза привычные для меня струпья и язвы, но Вы написали о редакторах. Вот какими они были, мои редакторы!..

Впрочем, посылал я стихи и в редакции. Ответы были безличными, унижительными, за исключением короткого благожелательного отзыва Винокурова на бланке «Нового мира». Но он ничего не изменил.

Я мог бы в алфавитном порядке составить список поэтов, вовсе не ответивших на мои письма. ...Спасибо Вам за вашу в меня веру. Я устал верить в себя. Но Вы верите — и я верю вашим словам.

[...] ...Я очень боюсь потерять Вас, Григорий Александрович. Вы — самый добрый, самый откровенный мой корреспондент. А сейчас и единственный. Кроме того, Вы — поэт, которого я открываю каждый раз для себя заново. Вот я прочел стихотворение «Стена больничная напротив»¹, и у меня упало сердце от счастья, словно я во сне взошел на Эйфелеву башню: такова высота настоящей поэзии...

Кланяюсь всем вашим домашним.

¹ «Стена больничная напротив.
Две тени в матовом окне.
Два облачка души и плоти
Парят, сойдясь наедине...»

Г.А.Корину

29/X.80

Дорогой Григорий Александрович!

[...] ...Вы заметите при чтении новой посылки, что в стихах моих прибавилось Дьявола (а в запасе у меня его еще больше, как динамитных шашек), но это не безличное брюсовское: «И Господа, и Дьявола хочу прославить я», — я выблеываю Дьявола — слишком много его, увы, в моей будничной пище. И потом — какой же отшельник (а я прожил отшельником всю жизнь) без Дьявола, без Женщины Страшного Чуда?..

«Не "ножки женские", а ноги,
Голгофы смертная верста,
Те, что на все мои дороги
Легли как тени от креста...»

Дьявол, Женщина — не замкнутые поэтические циклы, а постоянные персонажи моих мистерий; Господь, великий выдумщик, постоянно подсовывает мне их в самых неожиданных сценах.

Насколько я обезобразил ими свои стихи — другой вопрос.

Думаю, что не слишком, ибо и к ним подходил я с беспощадной откровенностью Вечного Мальчика, а не с подмигиваниями любителя клубнички.

...Я много пишу о Цветаевой — по праву родства: Цветаева, популярная ныне, открылась мне — безвестная — «Вёрстами» и — позднее — самоубийством; я ревниво, как фотокарточку брата, берег тайну ее жизни и смерти, словно была у меня старшая сестра — и тоже погибла...

«Мне и тогда на земле не было места... Мне и тогда на земле всюду был дом», — строки эти перешли границы стиха, стали заглавьем моей повседневности — долгое время у меня не было дома; когда он появился, домом в житейском смысле он уже не стал; — как ковровая дорожка, протянулась через комнату бесконечная дорога Моих Скитаний и, по правде, на ней мне удобнее, чем на враждебной ковровой.

Мать, Цветаева — инопланетные образы, Женщины-Святыни, Женщины-Героини; Дьяволу возле них делать нечего. [...]

Г.А.Корину

5 дек. 80 г.

Дорогой Григорий Александрович! Воспоминания мои о матери и об отце проходят на грани галлюцинации. Отсюда и взлеты, и срывы (срывы, неизбежные при взлете). Я не «переусердствовал». Я забылся в бреду — и вышел из границ. (А кто их установил — границы?..) Безнравственным же я считаю не это стихотворение («Отец», 2 строфы), а стихотворение «Родство» («А что сказал отец?..»), где я в иронических образах варьирую единственный светлый образ отца.

...Вы преувеличиваете мою творческую активность. То, что я пишу, — бледная копия ослепительных замыслов, но не хватает сил и мастерства их воплотить. Стихи пишутся трудно. Кроме всего, роковой вопрос: «Для чего я (для кого я) всё это делаю?». (Вопрос, подавляемый творческой волей). Но я уже привык ко всему худшему. Ненормальность стала моим нормальным состоянием.

...Шестьдесят лет исполнится мне 15 октября сего года. В преддверии сей знаменательной даты (идушей у меня под девизом «уже лучше бы на свет мне не родиться») бегаю в старческом темпе за справками, необходимыми для получения пенсии. Видимо, собесы сознательно устраивают подобные кроссы, и старикам нужно разогнать кровь прежде, чем уйти на отдых. Однако пенсионные получать буду со спокойной совестью — долгий мой труд возвратится мне подмогой в старости. [...]

*Г.А.Корину**8 апр. 81 г.*

Дорогой Григорий Александрович! Мне даже трудно представить, что и у меня где-то есть читатели, поклонники — в таком нестерпимом одиночестве живу я, почти замирном.

В разное время разные люди мне говорили, что я человек сильный, что я все способен вынести, а я, к ужасу жены, часто плачу и вою по ночам во сне — почти по-собачьи. (Старость, что ли, виновата?)

...Заметили ли Вы, что у меня удручающее множество стихотворений «Блаженный»? «Блаженный» — мое поэтическое имя: святость и юродство. (В толстовском понимании юродства невольного как лучшей школы добра.)

Разумеется, это не сиюминутное озарение, не найденный псевдоним, а амулет мой сорокалетней давности, — но как неохотно, с какой тайной боязнью показываем мы амулеты!.. Мне не надо было прилагать усилия, чтобы оставаться самим собою: всегда я был чужим для людей; куда бы ни шел, спина моя притягивала камни; в итоге — блаженный, юродивый, человек не от мира сего.

...Поздравляю с выходом сборника, названного целомудренно и необычно: «Повесть о моей музе». Если соблаговолите, пришлите экземпляр — буду благодарен. Я был так рад, словно самого издали. [...] Ваш В.А.

*Г.А.Корину**29/VII.81*

Дорогой Григорий Александрович! Когда я думаю о своем одиночестве, мне кажется, что я не смогу больше прожить и двух дней, но я мыслю с такой остротой очень редко, и готов продолжать писать стихи в неизвестности еще целую вечность. (Одну вечность я уже исписал.)

К счастью, всегда находятся голодные собаки и кошки, нуждающиеся во мне, — и досужие мысли отступают на задний план. По природе я все-таки миротворец, а не стихотворец — поэты, поигрывающие клоунскими цирковыми словесами-гирями, внушают мне отвращение. Хорошее стихотворение в моем понимании — добрый поступок. [...] Ваш В.А.

*Г.А.Корину**15/XII.81*

Дорогой Григорий Александрович! Дорогая Ирина Леонидовна!

Я не слишком верю, что для меня что-то где-то засветило. Для этого Господу-Богу нужно создать новую Вселенную. В этой места для меня нет. Но в отличие Лермонтовского демона, который все презирал и ненавидел, — в отчаянном полете

над бездной держат меня цепкие руки мертвецов — Отца, Матери, Марины. И — порою презирая и ненавидя, — я все же люблю людей, ссорюсь с ними, бесконечно к ним взываю, болею собой и ими — не даром в моей поэзии так много слез...[...]

...Я, наконец, дождался ответа от Н.В.Панченко. Письмо необыкновенное, словно каким-то факелом осветил он самое тайное в моей душе, указал мне место в людском космосе.

Я благодарен Николаю Васильевичу за участие в попытке меня издать. Спасибо Евг.Евтушенко, если через год, ко дню выхода «Дня поэзии», он обо мне не забудет. Кстати, я долго не знал, чью строчку поставил эпиграфом к стихотворению «Матери от нас уходят к Богу...». Думал, что это Слуцкий, но не был уверен твердо, теперь удостоверился (случайно раскрыл двухтомник), что это строчка Евтушенко («Уходят матери от нас...»)

Спасибо Арсению Александровичу за память и заботу обо мне — за письмо к Д.Павлычко, замечательному поэту, мастеру сонета.

Что касается Вас, Григорий Александрович, Григорий, Гриша, — слова тут не нужны; мы — братья по духу. Поклон всей семье. Ваш В.А. [...]

¹ Вторая жена Григория Корина.

Е.Г.Макаровой

2/1.82

Дорогая Лена! Две последние строчки стихотворения «Царство небесное...» действительно слабые; я и сам чувствовал это. Но долго трудиться над другой концовкой не было желания, боялся изменить что-то в самой сути вещи. «Как спелось, так спелось». Не по душе мне также строчка «Но страшнее, чем звезд катастрофа» в понравившемся Вам стихотворении «Если руки раскинуть крестом».

Я где-то читал, что Мандельштам вообще не смог кончить какой-то строфы; последние две строчки подсказал случайный рифмоплет, но подсказал удачно — поэт был доволен.

А вообще-то у меня все на месте, как у Босха, но, как и Босх, я все скрепил магией духа. (Кстати, мой любимый художник не Босх, а Эль Греко; меня всегда поражали руки его персонажей; такие руки в вечном движении, иступленно-говорящие, видел я в дурдоме у одного больного — лицо, искаженное бессмысленной гримасой, и бесконечный монолог рук.)

...Снова возвращаюсь к стихотворению о дурдоме, где я не могу изменить ни одной строчки. Житейский факт под рукой у художника никогда не остается простой календарной датой; он всегда преображен чувством — гневом, болью, грустью, страхом. Да, ничьи имена врагов Данте в аду неинтересны, но подумали ли Вы, что вымышленные персонажи не несли бы на себе такого жгучего клейма ненависти, презрения, гнева, каким поэт наделил реальных, отравлявших ему жизнь лиц.

Я знаю, что объяснение типа «так оно и было в жизни» наивно, это объяснение литературных простаков, но разве, боясь «событийности», следует убрать и начало другого стихотворения о дурдоме: «Тогда мне рваный выдали халат / И записали имя Айзенштадта. / Я сразу стал похож на арестанта, / А впрочем, я и был им — арестант». Нужно ли это делать? Мне кажется, это именно та событийность, которая страшнее любого извращенного вымысла, это событийность холмов детских башмачков и холмов срезанных женских волос на месте бывших Освенцимов и Бухенвальдов.

...Вы пишете, что Вас заел быт, что Вам некогда писать. Конечно, проза требует и времени на раздумье, и спокойной обстановки. Но, мне кажется, в самой своей основе творчество — сопротивление окружающей среде, и не только Цветаева мощной рукою выключала себя из быта. Пастернак говорил мне: «То, что вам положено

сказать, вы скажете рано или поздно в любых условиях». Я создал свои лучшие вещи на адской работе и, валясь с ног от усталости после работы, записывал строчки в трамвае, в случайном подъезде, просто на улице, на ходу. Бывали и казусы, не всегда безобидные. Так, например, на работе (и работал я не в Академии наук) разъяренные алкаши и халтурщики потребовали показать им, что я строчу в записную книжку. Потребовали в совершенном убеждении, что я сексот и беру их на карандаш. Но мне легче было сносить любые подозрения, чем признаться, что я пишу стихи — т. е. расписаться в совершенном (и не только с их точки зрения) идиотизме — кто же это пишет и не печатается, когда ему уже за пятьдесят?.. Когда случайно открылось, что я пишу «какую-то хреновину», а не веду счет выпитым бутылкам или левацким заказам — на меня посмотрели с ироническим сожалением: «ну ты и даешь, батя!..»

...Меня очень обрадовало и заинтересовало, что Григорий Александрович снова пишет. Ваш отец — поэт с загадкой, и некоторые новые вещи его ошеломляют.

Так случилось с новой для меня поэмой «Брат», хотя от поэм я всегда ожидаю самого худшего. Но вот и заговорил поэт, заговорил смело, откровенно и мудро, без наигранного трагизма, и голосом прожитой правды, трагичной самой по себе.

Обязательно попрошу Г.А. показать свои новые вещи. [...]

Г.А.Корину

8/II.82

Дорогой Григорий Александрович! Я не расслабился. Это не то слово. Ведь и большие, нежели я, поэты, оптимисты по мировоззрению, приходили порою в отчаянье. Вы знаете об этом не хуже меня. Ведь и Учитель прислонил свой крест к стене дома Агасфера — и тот Его прогнал. Все, за исключением Вас, были Агасферами на моем пути. Но Учитель знал о своем великом предназначении, а я знаю только то, что я бесконечно устал.

Меньше всего моя тоска (а это только тоска, не расслабленность) связана с ожиданием публикации. Вы знаете, что я слабо верю, что в моей ночи что-то вдруг просветлеет. Вокруг меня такая пустота, ни одного человека, добрый ангел мой не дожил до моего преклонного возраста, умер молодым... В стихах своих я гальванизирую мертвецов — кажется, что скоро и они обрушат на меня свои проклятия.

Когда-то, в юности, я с упоением произносил фразу Ницше: «Некогда ты воскликнешь: Я одинок!» Но одиночество старости — одиночество собачье... (Бедная собака, не научилась ты в свое время цирковым трюкам и даже стоять на задних лапах не научилась!..)

Но я все еще пишу, и значит, не все потеряно. Беда в том, что пишу я все реже и хуже и мне почти нечего показать Вам из новых стихотворений. Будьте снисходительны к ним во имя моих прежних удач.

И еще — никогда мне не будет слишком горько, слишком страшно, слишком невыносимо. Повсюду со мною доброта Ваших глаз, душевное участие Ирины, Лены, благословенной вашей семьи. Бог послал мне Вас. Кроме Вас, у меня никого нет. Поклон всем Вам.

Привет от К.Т., у нее с ногой по-прежнему плохо.

Привет Н.В.Панченко — я получил от него письмо.

Примерно месяц назад написал на московский адрес А.Жигулину — ответа нет. Ваш В.А.

Г.А.Корину

24/VI.82

Дорогой Григорий Александрович! Мне, в общем-то, нравится новый неожиданный псевдоним, хотя от последнего слога сводит скулы, словно попробовал на вкус волчью

ягоду. Но не Вениамина Блаженных¹ вижу я, а юродивого крепкой сибирской породы, — и все дикое и сумрачное мне по душе. Я ведь и сам вынослив и крепок, да, да, даже физически крепок, несмотря на то, что почти постоянно болею. Болею, но остался жив, почти двадцать лет проработав в цехе, где двое умерли от туберкулеза, а другие — подальновидней — долго не задерживались.

Но — довольно о прошлом!..

Спасибо за книгу, которую привез мне Давид, спасибо за надпись. [...]

Я за последний месяц почти ничего не написал — и могу послать Вам только четыре стихотворения. Просматриваю и исправляю старые (очень старые) стихи. Занятие странное и, на мой покаянный взгляд, ненужное, поскольку — по истечении стольких лет — правит почти чужая рука. Пусть бы наивность оставалась наивностью, а нелепость — нелепостью!.. [...]

¹ Папа придумал Вениамину Михайловичу псевдоним, сибирское «ых» было впоследствии усечено, остался Блаженный. Это, как считал папа, поможет поэту публиковаться. На самом деле, еврейство Вениамина Михайловича явно в этом не помогало, но все же чуждыми советской литературе были, в первую очередь, сами стихи, а не еврейская фамилия.

Г.А. Корину

21/VII. 82

[...] Бог с ним, с псевдонимом. Суть в том, что и «Блаженный», собственно, не псевдоним; почти каждое десятое стихотворение у меня или названо «Блаженный» или развивает тему загнанного на задворки жизни добра (такой была и вся моя жизнь). К тому же с юности запали в душу слова Толстого: «Юродство добровольное — лучшая школа добра».

Мне тоже приходил в голову «Михайлов», но «Блаженных» все же лучше, что-то в нем сохранилось от страстотерпца, обугленного грехом и святостью, почти «Блаженный», а «Блаженов» с его лакейским лоском и вовсе не годится.[...]

Ваша оценка моих стихов совпадает с моей — внутренней, подспудной. Вы уловили основную мысль, что все мы — живые — смотрим на себя глазами мертвых. Слово «смерть» произношу я не в окончательном варианте уничтожения человеческой жизни, — произношу как мальчик, доверчивый к сказке, когда он шепчет: «Серый волк». Может быть, волк и будет верным другом душе в дремучих дебрях загробья.

«Бездомные звери Айзенштадта!» Но лучше — «звери Вениамина». Звери, в их наготе и незащищенности, — связанные бытия и небытия; глядя на них, ощущаю я до слез великое и незащитное чудо жизни, одинаковой, в конечном счете, для зверя и для министра.

Творить в полнейшем одиночестве тяжело, и не сомневайтесь, что я теряю критерий оценки. Но и не всякий собеседник для меня годится. И дело не в том, глупее он или умнее меня, — дело в самом качестве разума, если можно так выразиться.

«Как вскользь ножом, я вечностью поранен», но это рана глубокая, и для меня нелепы люди практического, ежедневного разума.

Вот так я и живу — по-паучьи: запутал в паутину стихов собственную душу и сосу, млея от восторга и омерзения. ...Привет всем домашним от меня и К.Т. Над чем Вы сейчас работаете, пишется ли Вам? Ваш В.А.

Г.А. Корину

23/X.82

Дорогой Григорий Александрович! Я ничего не в силах изменить в строе стихов, в системе образов — это как черты лица, слепок былых лет. Сравнение с Пастернаком неудачно — Пастернак был сыном своего времени, творцом, властно управлявшим

словесной стихией, его отношение ко времени и к искусству было сложным и противоречивым, — я же плакальщик, я только реагирую на боль и выпал из времени, ибо плач всюду одинаков и всюду одинаковы мертвецы. Но мое творчество — не безнадежность, а скорее моление о Надежде, и в стихах моих есть солнце — солнце Сострадания.

... Посылаю Вам новую правку стихотворения сорокалетней давности, в шестой строфе которого засиделась безграмотная строчка «болотный заплещется дед». (Вот оно, мое неполное среднее плюс матерный университет жизни!) Исправьте эту строчку в двух моих тетрадах 41 г. на «болотный плескается дед». Но обратите внимание и на другое — по тону, по атмосфере оно мало чем отличается от моих стихотворений последних лет.

Тогда мне было двадцать — теперь за шестьдесят. Но запрограммирован на вечную муку я был уже лет в двенадцать, а вернее — до рождения.

Е.Г.Макаровой

20/X.83

Дорогая Лена! Длительное время я не писал Вам — ведь если Григорию Александровичу я могу по-стариковски жаловаться на немощи, то в отношении Вас вопрос осложнен вашей неукротимой молодостью, а молодость жестока, и старческие жалобы для нее то же, что жужжание комара.

Боль, насылаемая на меня судьбою ежедневно, лишила меня уверенности в том, что я пишу (т.е. в непреложности содержания моих стихов), — так кошка лишается чувства собственного достоинства, когда к ее хвосту кто-то остроумно привяжет консервную банку.

Хотя я продолжаю писать стихи, но отношусь к ним как к разновидности запоздалых старческих страстишек — они стали для меня занятием постыдным, затянувшимся пороком.

Ибо отныне я — режиссер своих материй — не могу выпускать свою боль в нужном месте и на известный срок — она орет благим матом и обретает злокачественные приметы плебейской занудности.

Вы всегда судили мои стихи окрыленно и беспристрастно, хотя и с известной долей женской въедливости. Посылаю Вам последние опусы; не огорчайтесь, если мой товар кое-где с гнильцой — стихи не всегда такие, какими их хочет видеть автор.

Даже соринка в глазу помешала бы балету на сцене быть настоящим балетом... а у меня — похлеще соринки, мой лирический герой ходит раскорякой.

Спасибо Вам за оригинальное поздравление, спасибо Инне Львовне... Как бы хотелось увидеть ее снова, оставить у нее стихи, которых у нее нет и которые она по-прежнему любит... но и для меня драгоценна каждая ее строчка. [...]

Г.А.Корину

31/XII.83

Дорогой Григорий Александрович! Судьба мне криво улыбнулась однажды и снова — железная маска. Впрочем, в глубине души я не верил, что издадут меня сборником в Москве или Минске — инстинкт пасынка судьбы не подвел меня и на сей раз.

Вообще-то нужно быть безумцем, чтобы больным, изношенным, никому не нужным человеком — продолжать писать стихи. Никакого творческого удовлетворения они мне не приносят. Видимо, так алкаши прикладываются к рюмке. Организм их отравлен алкоголем, — я отравлен стихами.

[...] С большим интересом прочел «Слуховое окно» Чухонцева. Что-то есть в нем родственное мне, моему трагическому гротеску. Не знакомы ли Вы с ним, чтобы показать мои стихи, или нет ли у Вас его адреса?.. [...]

Е.Г.Макаровой

28/I.84

Дорогая Лена! [...]Инна Лиснянская для меня — очень большой поэт, и ненужное это занятие со стороны Г.А. — искать у нее цельное мировоззрение, единство стиля и пр. и пр. Есть поэзия и не поэзия. Все иное мудрствование — от лукавого.

Я верю каждой строчке И.Л. — ее смятению и грусти. Что же касается пресловутого эгоцентризма, то без него вообще нет поэта, особенно поэта-женщины, это то горячее, на котором взмыли космические строфы Цветаевой и Ахматовой. [...] Даже отчаянье И.Л. — это трагический полет, крылья раненой птицы, а не сломанный модный каблук и соответствующее чертыхание Казаковой.

Моральные качества Чухонцева меня не интересуют, они у всех поэтов не на слишком высоком уровне. Он интересен как поэт. Мне — в моем одиночестве, теперь уже безысходном, — хотелось бы, чтобы мои стихи знало побольше поэтов. Но поэты редко отвечают на письма. Бывает и так, что пишешь в Москву, а поэт разгуливает по Африке.

[...] Таковы наши дела и, кроме груза боли и обид, ничего у нас нет. Ваш В.А.

Г.А.Корину

24/III.84

Дорогой Григорий Александрович! Я вижу, что для публикации каждого моего стихотворения нужны усилия не меньшие, чем для запуска космического корабля. Поэтому я не хочу больше касаться этой межпланетной проблемы и перейду к делам житейским.

Какой-то недобрый рок висит над нашей маленькой семьей — К.Т. до сих пор не сделан протез. Это ставит под угрозу задуманную нами поездку в Трускавец. Я прикован к дому, очень редко выхожу на улицу. Давно уже не был ни в кино, ни в книжных магазинах. Для меня теперь событие, если кто-то раз в месяц мне позвонит или заглянет в гости. Я и прежде был одиноким человеком. Теперь я одинок совершенно. Кругом равнодушие, жестокость, корыстолюбие.

Я знаю, что это невеселое письмо, может быть, вызовет у Вас чувство досады, но что делать, когда дела обстоят именно так, а не иначе. Ваш В.А.

Е.Г.Макаровой

18/V.84

Дорогая Лена! В недалеком прошлом Вы удивлялись моей творческой неукротимости, теперь роли переменялись. Что ж, так и должно быть, вы молоды, вам и карты в руки, а я не только ничего не пишу, но «с отвращением читаю жизнь мою...»

Зачем я столько лет писал, отказавшись от земных радостей, от нормальной человеческой жизни?... Уж не пытался ли я повысить нравственный тонус человечества? В таком случае я действительно сумасшедший...

Болезнь взяла меня под домашний арест, изредка лишь по утрам хочется что-то творить. Так, наверное, лебедь в зоопарке стремится в полет, но, увы, подрезаны крылья... И тут не только физическая немощь, убеждаюсь прожитой жизнью, что поэзия моя никому не нужна.

Известно по Ибсеновскому эпиграфу у Блока, «юность — это возмездие»; нет, возмездие — старость, в крайнем случае, подобная моей. Ни мудрости, ни успокоения не приносит она, одно только запоздалое раскаяние и смуту. Конечно, есть и другие старики, делающие ручкой молодому поколению с трибунных высот своих гробов. Но это старики легендарные, а я заурядный пессимист.

У К.Т. дела на столько же бодром уровне. Протез она мастерит себе сама — «спасенье утопающих — дело рук самих утопающих». Привет всем вашим. Ваш В.А.

Дорогая Лена! В каждой поэзии есть свои путеводные вехи, и одни и те же образы сопровождают поэта всю дорогу. Это — непреложно, и я знал об этом, когда писал, что последние стихи мои — как бы воспоминания о прежних. Но я писал о том, что если прежде меня переполняло чувство новизны, чувство первооткрытия — и я должен был сказать о себе миру, то теперь я иду как бы по проторенным тропам и заранее знаю, где остановлюсь. Конечно, стихи могут быть и не хуже прежних. Может быть, это даже мастерство. (Помните стихотворение В.Соколова о художнике, который думал про усталость, «а это было мастерство»?) Но радости при сочинении стихов я теперь не испытываю, я словно бы пою заученные арии.

Вы пишете, что «зарубили» Вашу книгу¹. Но если это настоящая проза высшего качества, то рано или поздно она придет к читателю, как пришли Платонов и Булгаков. Что могу посоветовать Вам я, — я, столько лет пишущий впустую? Число моих поклонников исчисляется единицами, да и те не в силах расширить круг моих литературных знакомств. [...]

¹ Это была книга «Открытый финал». Рукопись дочери опальной поэтессы Инны Лиснянской не могла быть опубликована, о чем маму предупредили в обтекаемой форме. За ее проступок — участие в альманахе «Метрополь» и добровольном выходе из Союза писателей — понесу наказание я. Мама страдала из-за того, что испортила мне литературную биографию, папа ходил к какому-то высокому чину просить за меня, стучал по столу партбилетом, но тщетно. Однако времена изменились, и в 1989 году книга была издана.

Г.А.Корину

15/I.85

Дорогой Григорий Александрович! Отчаянье со стихами об отчаянье — это уже не отчаянье, а противоборство. Но я превратился в монумент — столько лет я стою на страже своей ненужной стойкости.

Вы написали мне прекрасное письмо с единственно необходимыми словами. Я должен держаться. Я и держусь, но:

«Когда бы зажило плечо,
Тянул бы ляжку, как медведь,
А кабы к утру умереть —
Так лучше было бы ещё».
(Н.Некрасов)

Живу в совершенном одиночестве, роюсь в памяти, стараюсь вспомнить все значительное, встречи, людей — но все это такие крохи... «Жизнь прошла, обошла стороной», — как поется в романсе.

Одиноко встретили мы с К.Т. Новый год. [...]

Мне трудно поверить, что в будущем моя поэзия соберет большой круг читателей. Современность ко мне безразлична или враждебна — думаю, что основная масса людей, а стало быть, и читателей, одинакова во все времена. К тому же, о будущем хорошо думать, когда тебе двадцать, а не за шестьдесят.

Вы пишете о звездных знаках моей судьбы, а я давно повторяю слова Ахматовой: «Под какими же звёздными знаками / Мы на горе себе рождены?..» [...]

И.Л.Лиснянской

21/I.85

Дорогая Инна Львовна! Спасибо за добрую память обо мне. Это так необыкновенно — и то, что я мог Вас увидеть, и то, что Вам понравились мои стихи, и то, что их слушал и оценил Семён Израилевич Липкин.

Я воспринял его замечание о неправомерности «судейских фраков» со смирением невежи. Не давали мне покоя и дамы, «одетые в брючки порочные модно». Но казус давно исправлен, и я посылаю стихи в новой редакции.

Я не слишком удивляюсь ни болезни, ни теперешнему моему жалкому состоянию: судьба преследовала меня всю жизнь. Но и сочинение стихов не избавляет меня от душевной боли; я пишу их, как узник в каземате царапает гвоздем на глухой стене свое имя.

Если мне и становится легче после писания стихов, то это легкость от потери крови, легкость приближения к небытию. Не потому ли мои стихи переглядываются со смертью? Может быть, смерть, созданная моими строфами, услышит живым слухом то, что не захотели услышать мои современники — люди с каменными сердцами, и прежде всего поэты. Вы ведь знаете, что только несколько из них ответили на мои письма со стихами. (Не ответили Ахмадулина, Ваншенкин, Вегин, Жигулин, Левитанский, Озеров, Самойлов, Сикорский, Чухонцев — в алфавитном порядке.)

Окончательно предало меня мое тело. Как всякий предатель, оно знает, куда больнее нанести удар. Я бреду по ухабам боли.

Я живу в городе, где не ценят и не любят стихов. У меня нет никаких связей с местными поэтами — и не по моей вине: К.Т. им звонила, плакала, чтобы они иногда приходили ко мне, позванивали, но, увы, я никому не нужен. Новые стихи мысленно читаю Вам; вижу Вас и Семёна Израилевича, слушающих мои стихи.

Всего доброго. Низкий поклон Семёну Израилевичу. Привет Вам и С.И. от К.Т. Ваш В.А.

С.И.Липкину

10/II.85

Дорогой Семён Израилевич! Я, как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. Не имею никакого понятия ни о мужской рифме, ни о женской, ни об усеченной, ни о пересеченной. Кругом болван. Гуманитарные институты заменил мне Университет Страдания. Тут я кое в чем разбираюсь, и даже слишком.

Вы сетуете на неуклюжесть некоторых моих строк, даже безвкусицу. Но я ведь Вам говорил при встрече, что всю свою жизнь провел среди людей, у которых все богатство русского языка воплощалось в матерном ругательстве. (В зависимости от интонации мат выражал то гнев, то ласку.)

Пять лет прозябания в деревне и двадцать три года работы с трудоустроенными алкашами — это не шутка!.. (Кстати, я и сам был устроен в артель инвалидов как психический больной.)

А вся-то образовательная основа — восемь классов довоенной школы плюс один курс учительского института. Лет до пятнадцати не имел никакого представления о поэзии, кроме того, что в школе заставляли зубрить Пушкина да еще один сластолюб-второгодник с обвисшей губой совал всем в углах замасленную тетрадь с похабщиной и шептал, что это стихи. Я стал бояться этого слова и считал, что стихами занимаются усатые мужчины и дамы в одних чулках, когда они остаются наедине. (Тетрадь была с приложением известного рода фотографий.)

Когда же я, наконец, вышел к Поэзии, как нищий к заветной двери, никто мне этой двери не открыл, никто в этот дом не впустил. Зато меня заперли в Дурдом, где профессор психиатрии читал мои стихи студентам-медикам. Я сидел на стуле в виде экспоната-приложения. И стихи, и моя понурая физиономия — все блестяще дополняло его лекцию о психзаболеваниях. Когда я однажды отказался присутствовать, мне пригрозили изолятором.

Вот какие у меня отношения с поэзией. Это, конечно, не оправдывает моих творческих провалов, но, увы, родимые пятна ограниченности и невежества навсегда останутся в моем поэтическом почерке. Я не в силах ничего изменить, я попросту не

знаю, за что и как взяться. В свое время я обалдело спросил Ю.Олешу, есть ли правила рифмовки слов. Олеша внимательно посмотрел на меня и ничего не ответил. Это не помешало ему назвать меня прекрасным поэтом. Но я не удивился бы, если бы меня называли бездарным графоманом.

Если я и поэт «милостью божьей», то по пути на землю меня перехватил дьявол и вымазал ангельский лик сажей. Узнавать под сажей черты ангела или считать меня чертом, — дело каждого, кто приблизится к моей поэзии.

Писать я, видимо, буду до самой смерти, но каждое стихотворение — громы и молнии, которые я призываю на свою же голову.

Всего доброго. Поклон Вам и Инне Львовне от меня и К.Т. Ваш В.А.

Е.Г.Макаровой

27/VII.85

Дорогая Лена! Женщин тревожит физическое убожество старости: богини теряют свое обаяние, становятся ссохшимися или — того хуже — по-жабы раздутыми существами.

Меня старость — в добавление ко всем физическим недугам — наказала еще и по-другому: был я млад и глуп, но полагал, что к старости обрету наконец-то академический ум, что, если уж доживу до старости, сумею спокойно обозреть бесконечно изменчивую панораму жизни и, сделав философские выводы, напишу своего «Фауста». Черта с два!.. Мне кажется, я стал еще беспомощнее, чем в юности, и ровным счетом ничего не понимаю ни в людях, ни в событиях. Не помогает и пресловутый «житейский опыт»; всякий раз, применительно к новым обстоятельствам, он оказывается или дутым или с привесом в голове. В итоге ни мудрости, ни покоя — и вместо гордого юношеского «у меня еще все впереди» растерянное «все уже позади».

...Очень хотелось бы получить что-либо из новых стихов Инны Львовны и Семёна Израилевича — поэтов огромных горизонтов. Не могли бы Вы перепечатать лист-другой из их новых сборников? Даст Бог, познакомлюсь когда-нибудь и с Вашим новым романом. Писатель Вы неожиданный, каждая новая вещь не похожа на предыдущую, я уже писал Вам об этом. [...]

P.S. Федя, безусловно, умен не по возрасту. Но первоначальное название знаменитой пьесы Грибоедова было «Горе уму». Берегите его.

Е.Г.Макаровой

12/I.87

Дорогая Лена! Вы пишете о печальных в общем-то событиях, но письмо ваше наполнено пружинящей силой молодости, духом противоборства судьбе. Почему-то мне кажется, что неукротимости этой хватит Вам надолго, а это и есть лучшее и необходимейшее качество для ежедневно возобновляемой борьбы с жизнью.

Маленькая фотография Семёна Израилевича и Инны Львовны стоит перед моими глазами как горестная иконка со святомучениками. (У судьбы что-то в голове не в порядке, если она так распоряжается поэтами!..)

Я тоже прочел Ходасевича и Набокова — и было ощущение, что я прочел не поэтов, отдаленных во времени, а заглянул в какое-то будущее время — настолько их чувства, образы, артистичность опередили унылую поэтическую когорту современников.

Радуюсь, что в прозе появились «Печальный детектив», «Пожар», «Плаха» — вещи, совершенно неожиданные и для нашей прозы и, пожалуй, для авторов. По литературным достоинствам самое совершенное из них «Пожар», но не могут не задеть душу и «Печальный детектив» с его гневной запальчивостью, и высокие морально-философские категории автора «Плахи». Роман порою несовершенен, но силен правдой, а история волчьего семейства — это уже классика.

Вышел в свет новый сборник Г.Русакова «Время птицы». Я просил достать стихи

Русакова Григория Александровича (адрес Русакова мне неизвестен, на запрос Адресное бюро не ответило), но по всегдашней рассеянности Г.А. не обратил внимания на мою просьбу. Остается просить Вас — если это не проблема, достать сборник. Может быть, следует обратиться к автору — я ведь встречался с ним у Г.В., и, кажется, мы пришли друг другу по душе. [...]

Е.Г.Макаровой

1/III.87

Дорогая Лена! Вы пишете, что я не отозвался на Ваше последнее письмо. Но я не только на него отозвался, а послал Вам с письмом примерно дюжину стихотворений. (Это — много, поскольку я пишу сейчас замедленными темпами, вопреки повсеместному ускорению.) Неужели Вы его не получили?.. Было бы печально думать, что стихи куда-то исчезли.

Странно, что поэты выбрасывают письма, не читая. Конечно, поток графоманства велик, но все же прочесть строфу-другую неизвестного автора надо бы хотя бы из любопытства, — а вдруг тут настоящая поэзия?

Я, конечно, благодарен вам и О.Чухонцеву за внушенные мне надежды, но из всех известных мне нравственных пыток пытка надеждой — самая тяжелая. Надеюсь, Вы поймете меня, пережившего крушение надежд на издание сборника в Минске и пребывающего в горьком недоумении, что же решится в Москве. И все же в какой-то мере душа моя взбодрилась, ваша молодая энергия что-то расшевелила в ее застойной глубине. [...]

Г.А.Корину

18/III.87

Дорогой Григорий Александрович! У меня не та боль, которая проходит. У меня боль, которая не уходит. Но к чужой боли даже врачи проявляют известный скептицизм и верят только смерти. Я превратился в больное, вынужденно-нечистоплотное животное, и в этих обстоятельствах кажется странным, что я все еще пишу стихи. Человек не должен видеть свою изнанку, это все равно как если бы он знал о дне своей смерти — жизнь становится лишенной смысла.

Вы советуете мне забрать в «Совписе» рецензии на мою рукопись. У меня есть возражения. Во-первых, внутренние рецензии, насколько мне известно, на руки авторам не выдаются; во-вторых, забрать рецензии — похоронить все надежды на издание сборника и, наконец, что бы я стал делать с этими рецензиями? В Минске они никого не убедят, ведь даже письмо А.Тарковского Н.Гилевичу не внесло никаких изменений в мое положение, а добиваться признания через Москву с помощью К.Т... — простите, но Вы сами знаете, что это, применяя ваше выражение, «пустой номер». Без меня хватает поэтов с медными лбами, а то, что я, может быть, талантливее других, это надо еще разглядеть, и, что еще труднее, в это надо поверить.

[...] Даже те, кто признавали мой поэтический талант, спешили по каким-то причинам от меня поскорее отделаться; видимо, я попал не в свое время. Собственно, теме изгоя посвящены все мои стихи.

Я бесконечно благодарен вам и Лене за хлопоты обо мне. Вы делаете святое дело — спасаете человека, спасаете поэта, его поэтическую судьбу. [...]

Е.Г.Макаровой

25/V.87

Дорогая Лена! Ваша оценка моих стихов сама подобна стихам: все в ней законченно и непреложно. Впрочем, в настоящее время понятие «стихи» настолько расширилось, что, право же, не знаешь, что называть поэзией: тут и уютная демагогия

старших псевдопоэтов и безответственный эпатаж молодых типа Парщикова, хотя поэтическая молодежь не вовсе бесталанна (Арабов, Жданов и др.).

Вы, конечно, в курсе литературной полемики. Высказываются мысли, которые должны были быть высказаны 30—40 лет назад. Сейчас эта смелость, пересыпанная нафталином, никого уже по-настоящему не волнует. К тому же дискуссии носят какой угодно характер, но только не глубинный, не творческий. (Скорее купеческий — каждый хвалит свой товар.) Некоторые мастера метра вообще хранят мудрое молчание.

Думаю, надежда нашей прозы — Т.Толстая. Но она окажется в опасности, если увеличится число Проскуриных. Стал терять форму Ф.Искандер («Чук и Пушкин»), А.Битов, как Демосфен, ворочает камни во рту, — когда уж наконец станет великим!

В поэзии новых больших имен не знаю, но пишут «хорошо» все (тревожный симптом). Сочинительство на уровне современной образованности становится явлением заурядным. Школа Пастернака и Цветаевой хорошо освоена — есть натренированная гладкопись, нет личностей. А поэт должен прорубать дорогу топором в непролазной чаще. Впрочем, этот образ поэта исчез. (Я, человек доисторический, не в счет.)

Мне тоже будет не хватать Жанны¹. (Может быть, она и мне напишет письмо.) Меня всегда восхищала легкость и проницательность ее ума. (Легкость — артистическая.) Мне, занудному и туманному, всю жизнь не хватало именно такого собеседника, но, увы, встречи с Жанной Бог строго лимитировал.

Всего доброго. Привет всем вашим. Ваш В.А.

¹ Жанна Удалова, моя подруга, с которой мы ездили в Минск к Айзенштадтам, эмигрировала с семьей в Америку.

Е.Г.Макаровой

6/VII.87

Дорогая Лена! [...]

Поэзия моя, раз уж зашла о ней речь, переходит в какое-то новое качество, но качество это для меня неуловимо. Знаю только, что теряют силу категории борьбы добра и зла, духа и плоти — основные вехи многих моих поэтических лет. Теперь я, как плющ, хочу обвиться вокруг незримого древа вселенной, и только в стихах о детстве стоя на незыблемой почве. Духовное одиночество мое глобально — таким одиноким чувствует себя человек, плывущий на утлом челне в океане. Это дает неповторимо-обостренное чувство бытия, но одновременно овладевают душою всебезразличие и усталость — исконные враги творчества. Ежедневные боли моей проклятой болезни — те волны, которые грозят затопить меня целиком.

...Прочел «Защиту Лужина» В.Набокова. Какой смелый шаг в будущее русской прозы!.. У фразы Набокова своя артистическая поступь, она шагает легко и уверенно, не оглядываясь.

Рад, что время возвращает читателю С.И.Липкина. Надеюсь, в недалеком будущем то же случится и с Инной Львовной. Тревога и боль многих ее стихов — веянье времени, и должны быть ему созвучны.

А я погребен эпохой, как жертва под обломками многоэтажного дома.

Всего доброго. Привет всем вашим. Ваш В.А.

Г.А.Корину

15/VII.87

Дорогой Григорий Александрович! Я всегда был оторван от событий, происходящих в современной литературе, а теперь оторван совершенно, ибо газетная информация неполна и уклончива (я имею в виду «Литературную газету»), а живого сведущего

собеседника судьбой не дано. Те стихи современных поэтов, которые мне доводится изредка читать в журналах (их некому для меня купить, да и купить теперь — проблема), эмоционально воздействуют на меня слабо, хотя культура стиха возросла неизмеримо, поэзия стала более интеллектуальной, есть интересные находки.

И все же всё чуждо, стихи не приближают к душе, а хитроумно от нее уводят... Даже умозрительно не нахожу себе места в современной поэзии, словно я упал на землю с отдаленной планеты. А ведь я, как никто иной, истерзан земной жизнью; кажется, что судьба собрала в горсть все земные горести, предназначенные десятку или сотне поэтов, и швырнула в лицо мне одному.

...В житейском плане писать о себе тошно. Все однообразно и тупо, как непрерывная зубная боль. Кстати, о зубах: после усердных хлопот К.Т. я поставлен на очередь на протезирование. Ставить их будут мне на дому, поскольку за пределами дома со мною случаются известного рода казусы. Очередь может растянуться года на два, а пока оставшимся тремя зубами ем я перетертую пищу.

Как быстро со мною расправилось время; вся жизнь была в непосильной работе и травле (постоянно приходилось отбиваться от врагов, которые, как известно, растут как грибы). Не знаю, что я смог бы написать, живи я хотя бы сносной жизнью самого паршивого поэта, но все, что я мог, — создать «песню, подобную стону». Всего доброго. Привет всей семье. Ваш В.А.

Е.Г.Макаровой

28/I.88

Дорогая Лена! Я столько лет жду у моря погоды, что для меня уже я не я, море не море, ожидание не ожидание.

Да и можно ли быть больше обманутым (даже гласность повернулась ко мне начальственным плотным задом).

Удивительные слова есть в каком-то стихотворении о смерти: «Она не обманет...» Люди меня обманывали всю жизнь.

Новый год вложил персты в мои раны — было страшное обострение болезни, три дня лежал я охающим истуканом. И — что совсем невообразимо — не хотелось выкарабкиваться из болезни, не хотелось жить. (Какое это блаженство — нежелание жить!..)

Публикация И.Бродского в «Новом мире» оставила меня равнодушным. Я не люблю холодных поэтов, если даже они талантливы. Поэт, как ребенок, должен иметь на мир личную обиду.

Каждый раз по-новому волнует В.Набоков. Кажется, Куприн назвал Набокова талантливым пустоплясом. Нет, он не был пустоплясом. Надо быть таким слепым, чтобы не видеть набоковской боли, но он, аристократ, умел ее скрывать за блистательной фразой. Так с соблюдением галантных манер шли на эшафот жертвы Великой французской революции. (Почему «великой», если был террор?.. Подлинное величие бескровно.)

Намечены ли к изданию И.Л. и С.И.? Их публикации очень значительны.

[...] Всего доброго. Привет всем вашим от нас с К.Т. Ваш В.А.

Е.Г.Макаровой

19/III.88

Дорогая Лена! Творчество — всегда противостояние смерти, но когда жизнь ставит художника лицом к лицу со смертью насильственной, поединок приобретает гигантские очертания. Таковы судьбы Лорки, Радноти, такова судьба художницы-узницы, о судьбе которой, уверен я, Вы напишите интересно и страстно, ибо даже в письме чувствуется, как много Вы можете о ней сказать¹.

Боль — сердцевина бытия, и в центре земли — густая кровь наших страданий.

Наконец-то наступает время отбора, и хотя Кочетовы и Кожевниковы еще не заклеены по заслугам, но имена Платонова и Булгакова указывают им на дверь.

Из последних публикаций пришелся по душе Нагибин повестью «Встань и иди», хотя назвать ее следовало бы «Повестью об отце» — так она лучше ляжет в классику (а вещь безусловно классическая), — некоторая выпренность названия явно в противоречии с горьким и мудрым сюжетом повести.

Но более всего обрадовал меня «Госпиталь лицевого ранения». Произошло чудо поэзии, когда «бронзовые» формы сонета вдруг задвигались, задышали, наполненные горячей жизнью.

Какой нерастроченной смелостью девочки-подростка надо обладать, чтобы затопить первый же сонет ошарашивающей прямизной стихии пола, трижды облагородив ее мудрым милосердием сонетов последующих. Низкий поклон Инне Львовне за необыкновенный венок сонетов!..

...Я отношусь к перспективам издания моего сборника с тем же исконным недоверием, с каким отнесся пресловутый неудачник древности к предложению своего друга, посоветовавши ему заняться изготовлением шляп. «Если я начну делать шляпы, — сказал он, — люди будут рождаться без голов...»

Тем не менее, моя темничная участь исповедует и другой девиз: «Ждать и надеяться!» [...]

¹ Речь идет о художнице и педагоге Фридл Дикер-Брандейс, работавшей с детьми в концлагере и погибшей в Освенциме. Ее историей я в ту пору была захвачена.

Е.Г.Макаровой

10/V.88

Дорогая Лена! Какой все-таки притягательностью обладает слово правды — вот я сейчас читаю Гроссмана, который никогда не был стилистом, — и он мне дороже блестящих пассажиров лукавых приспособленцев (типа канувшего в Лету Лидина⁸.)

Наконец-то настало время, когда нужна правда, и пусть она еще говорится не до конца, но уже обжигают праведным гневом страницы Ганиной, поэтические публикации Домбровского, Галича и др.

Литература никогда не имела права поступаться правдой. Провал в сталинщину — дело рук литературных приспособленцев, ведь немислимо, чтобы лгали на своих страницах Платонов или Булгаков.

Чтение — единственный смысл моего убогого существования, поэтому и пишу Вам почти всегда о книгах. В моей жизни ничего не происходит, кроме различных по объему пакостей. (Несчастье притягивает негожих людишек, как падаль — стервятников.)

[...]Мне кажется, если бы были изданы объемистые однотомники Инны Львовны и Семена Израилевича, кое-кому в поэзии пришлось бы потесниться. Но право на однотомники у нас, увы, большей частью принадлежит псевдопоэтам (Ф.Чуев, В.Сорокин, О.Фокина и др.).

И все же — будущее за настоящими поэтами.

«Жаль только, жить в эту пору прекрасную / Уж не придётся...»

Всего доброго. Привет всем вашим от меня и К.Т. Ваш В.А.

¹ Писатель Владимир Лидин (1894—1979).

Г.А.Корину

22/V.88

Дорогой Григорий Александрович!

Удивляться безразличному отношению ко мне в Минске не приходится, если учесть, что консерваторы в Белоруссии до сих пор не признают даже признанного всем миром Шагала (Вы, наверное, в курсе злобных статей в белорусской прессе, они освещались в центральной печати). В свете этого говорить о каком-то Айзенштадте вообще не приходится...

[...] Может быть, помогла бы публикация в каком-либо московском журнале, но, как я вижу, это дело неосуществимое. Л.Н.Турбина, если Вы ее помните, издала вторую книгу стихов, но ей и карты в руки: дочь академика, сама — старший научный сотрудник.

Так я и живу — никому не нужный старик, воистину узник совести. Мне кажется — живи я на земле две тысячи лет, — ничего в моей судьбе не изменится. Уже целая плеяда поэтических ловкачей облачилась в скорбные одежды жертв сталинской эпохи (есть, конечно, и настоящие жертвы), — а я вот, заживо погребенный этой эпохой, — я по-прежнему никому не нужен. Чужой среди чужих, инопланетянин из еврейского местечка. Оттого, наверное, и беседую в стихах только с прошедшим, с вечными родителями, с детством.

Внешних событий в моей жизни — почти никаких; не назовешь же событием зубное протезирование на дому или пошив брюк. Кстати, протез получился неудачным, нижняя челюсть выпадает, зато изменился голос — стал скрипучим и занудным, под стать общему статусу моего дикого бытия на земле.

Всего доброго. Привет всем вашим от меня и К.Т. Мы беспокоимся за Ваше здоровье — берегите себя. Ваш В.А.

Г.А.Корину

29/VI. 88

Дорогой Григорий Александрович! Благодарю Вас за высокую оценку моих стихов. Она тем более для меня важна, что в моем бессрочном одиночестве я могу потерять все ориентиры и начать писать всяческую чушь. (Так монах, изнуренный одинокой святостью, начинает извергать богохульства.)

Сейчас, когда опубликовано столько прекрасных стихов забытых поэтов, для всех пишущих повысилась ответственность за поэтическое слово.

Конечно, неминуемы в моих стихах и изъяны, но видимо все же чем грубее удары жизни, тем одухотворенней истончается душа — и в основном я где-то не уступил, переборол свою суку-Судьбу.

Может быть, московские публикации (в реальность которых я все же не могу до конца поверить) внесут что-то новое в мою скудную жизнь. Впрочем, передо мной такая непробиваемая стена, что и это событие может пройти незамеченным. В Минске есть и русские поэты, но это поэты небывалой в истории поэзии формации — поэты-дельцы. (Наверное, и в Москве хватает подобного товару.)

[...] В Минске нет у нас ни друзей, ни добрых знакомых, нас окружают одни мародеры. [...] Всего доброго. Привет всем вашим.

P.S. Есть ли у Вас новые стихи? В наше время возрожденных надежд и легализации боли Вы должны сказать свое слово, Вам есть что сказать. Ваш В.А.

Г.А.Корину

14/VIII.88

Дорогой Григорий Александрович! [...]У Вас почти все мои стихи и, конечно, Вы можете ими распоряжаться по своему усмотрению.

Я не думаю, чтобы мои последние стихи были лучше прежних. Во мне сломалась какая-то гневная пружина, всегда побуждавшая мою душу отзываться на окружающее зло, гнет, неправду. Может быть, я стал умудреннее, может быть, просто бесконечно устал, и все чаще ухожу в своих стихах в ирреальность, мистику, бред. Или же моя обособленная мистика — уход от мистики реальности, где зло разрослось до гигантских размеров джинна, выпущенного из сказочной бутылки? Как бы то ни было, я никогда не приводил в систему свое хаотическое творчество, не собираюсь делать это и теперь. Во-первых, нет в поэзии эталона, к которому следовало бы обратиться (у каждого своя стезя), а во-вторых — «чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд» (Пастернак).

Сейчас все знают, как надо писать стихи, и критические изыски поразительны по своей проникновенности, но, увы, никто из поэтов не написал стихотворения хотя бы равного самому слабому стиху Блока или Цветаевой. Поэтические вечера, иногда транслируемые по телевизору, поражают убожеством содержания, хотя внешние приемы обольщения публики отработаны ювелирно. Поэт — факел вечности, но нам демонстрируют поэтические электроприборы.

Что же касается поэзии молодых, то, на мой взгляд, их мнимая сложность не от избытка чувств и мыслей, а скорее наоборот. Есть, конечно, и таланты; хорошая школа — школа Тарковского — чувствуется у Лаврина.

Кстати, о Тарковском. Я хотел поздравить А.А. в июне с юбилеем, но не знал, куда послать телеграмму, не знал точного адреса. Передайте ему при случае мои наилучшие пожелания. (Слишком мало видел я в жизни добра, чтобы не помнить людей, творивших добро.) Всего доброго. Привет всем вашим от нас с К.Т. Ваш В.А.

Г.А. Корину

28/IX.88

Дорогой Григорий Александрович! С.Моэм, став стариком, написал «Подводя итоги», а в моей памяти только плач мухи, запутавшейся в палаческой паутине паука. В любой — даже самой трагической — судьбе поэта должны быть какие-то взлеты, а я всю жизнь просидел возле навозной кучи чужого благополучия и недоброжелательства.

Я боюсь моей прожитой жизни и отгораживаюсь от нее стихами, пытаюсь в них найти и гармонию и смысл бытия. Какова цена этого занятия — Вы, поэт, можете представить себе сами!.. Ведь часто поэта предают и стихи, они тоже жаждут обновления, свежей крови, а где ее взять?.. В моем положении собачий лай во дворе — и то событие.

...Публикация в «Новом мире» — горькая радость. Разве могут дать представление о поэте четыре стихотворения? Это как если бы выпустить на сцену скрипача... на десять минут. За десять минут можно только настроить инструмент и поправить манжеты. Тем не менее, спасибо всем, кто причастен к публикации. Я понимаю, что непросто было добиться появления на страницах такого престижного журнала никому неизвестного гражданина.

Спасибо за сведения о кооперативе по изготовлению протезов. Не можете ли Вы раздобыть точный адрес? К.Т. была бы Вам очень благодарна. Всего доброго. Привет всем вашим от нас с К.Т. Ваш В.А.

Е.Г. Макаровой

15/I.89

Дорогая Лена! [...] После публикации в «Новом мире» все дружно обо мне забыли. Видимо, никого она не взволновала, не открыла мне «дальнейших перспектив», как говорят руководящие товарищи. По какому-то шалому, распутному даже замыслу судьбы никто не отвечает на мои письма.

Я устал утверждать себя, даже в образе воинственного муравья. Последний год стихов я озаглавил «Обет небытия». Боги завистливы: едва открыв мой голос, Аполлон

заткнул мне рот половой тряпкой. (Иногда эта тряпка действительно имеет приметы пола, но ведь и женщины не высвобождали, а отбирали мой голос.)

Таковы дела в двухпалатном сумасшедшем доме, именуемым моим рассудком. Мне не хочется видоизменять свое послание, пускай оно будет таким, какое есть. Отец, интернационалист по роду деятельности (нищий), говорил: «Нехай бизванэн (пока что) будет так». Мне кажется, говоря так, он хотел отдалить приход смерти, соглашаясь на все проигрышные условия жизни.

Пастернак спрашивал: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» Я, как бессрочный заключенный, спрашиваю, есть ли такое понятие — время?.. Т.е. есть ли время для камня-валуна, не ставшего даже могильной вехой, вернее, ставшего надгробьем своего вселенского сиротства, бесконечности своего отчуждения?

А я ведь живу в эпоху НТР и бурного развития культурно-общественной жизни. Всего доброго. Ваш В.А.

И.Л.Лиснянской

11/II.89

Дорогая Инна Львовна! Вы мне так дороги — каждой строчкой, — что полуофициальное «уважаемая» просто немыслимо, так же как у Вас в отношении меня.

Я давно — подспудно — пишу для Вас. После «Виноградного света» — бессменное моление Кому-то: пускай прочтет меня когда-нибудь Инна Лиснянская. И вот — чудесное совпадение (предопределение!), вдруг судьба познакомила, свела меня дружбой с добрейшим Г.А.Кориным, затем знакомство — сначала по письмам — с Леной, и Вы — мать Лены.

Но это было еще не все, оставалась поэтесса И.Л.Лиснянская, мнение которой для меня значило так много.

Теперь я посвящен Вами в сан поэта, как королева — ударом шпаги — посвящает подданного в рыцари. Спасибо Вам. Книга, привезенная Леной¹, — она и по формату напоминает молитвенник — молитвенником для меня и стала; несколько ночей я прятал ее под подушку, как ребенок — самое-самое, которым одарили на всю жизнь.

Как много Вы прошли на земном пути, словно побывали и за загробной чертой и вернулись оттуда — покорная, с разбитым сердцем, непримиренная. А уж как Вы нашли свою душу «в том хаосе, где и пылинка — и та одинока», нашли, сохранили, заставили говорить стихами, — это великая тайна, тайна Вашей души. Ваше самоумаление — от непомерности Вашей души, от ее переизбытка. Я не знал стихотворения, равного «Чуду» Пастернака, но я нашел его у Вас — «Вдруг изменила жизнь свое обличье...»

Спасибо Вам за все, за Вашу трудную жизнь (нелегкой была и моя), за то, что Вы доказали, что человек выше своей судьбы, а Поэт — судьбы и человека. Рад буду переписываться с Вами. Ваш В.А.

¹ Инна Лиснянская. Дожди и зеркала. — Париж: ИМКА-Пресс, 1983.

Е.Г.Макаровой

20/III.89

Дорогая Лена! Как хорошо найти себя в благородном деле — иначе, как герой Шамиссо, в один злосчастный день мы обнаружим, что за нами нет тени. Вы нашли — и незачем жалеть, что уходит много времени на хождение по инстанциям — не квартиру же Вы выбиваете (хотя и это живущему нужно), — Вы выбиваете квадратные метры человеческого духа, а дух человеческий может заявить себя и в отроческом возрасте. [...]

Почему-то все адресаты убеждены, что я нахожусь в состоянии непрерывного экстаза и переполнен стихами. Но вряд ли пеликану доставляет удовольствие терзать грудь и питаться собственной кровью. Писать с великолепной необязательностью,

поигрывая словесами, я не умею; стихи даются труднее и труднее; чтобы написать стихотворение, нужно прочувствовать и осмыслить какой-то пласт жизни, приникнуть к роднику какой-то чистоты и доброты. Но — «среди людей я дружбы не имею» (С.Есенин). Не потому ли вдохновение уходит корнями в глубину детства, в память о родителях?.. Ведь никто, кроме них, не видел во мне человека, для всех прочих я — экспонат. Где же тут место творческому бурлению?.. Всего доброго. Ваш В.А.

Е.Г.Макаровой

13/IV.89

Дорогая Лена! Я не против публикации в «Вестнике» — благодарю Вас за приглашение.

Мне хотелось бы прежде всего видеть опубликованным стихотворение «Родословная» («Отец мой, Михл Айзенштадт»...)¹ Оно для меня значит очень многое.

Я не помню, посылал ли я Вам его, но я твердо помню, что оно есть у Григория Александровича. (Он даже процитировал мне из него несколько строчек.) Публикация стихотворения об отце, кстати, снимет вопрос о псевдониме.

Меня поразило ваше откровение. Вы плакали, не увидев опубликованными ваши страницы. Это чистые слезы; я понимаю, что не авторское тщеславие было их причиной. Вы плакали потому, что то наболевшее, что Вы должны были сказать людям, осталось за пределами журнала. Но будем надеяться на лучшее, хотя в устах человека, погребенного заживо, это звучит несколько странно.

Житейско-философские теории Пастернака меня всегда поражали бескрылостью. Поэт, некогда написавший, что он хотел бы «Труда со всеми сообща и заодно с правопорядком», — никогда не был моим духовным вожатым в полетах Духа. Для этого нужно было быть Икаром, Пастернак же не любил рисковать и всегда дорожил душевным покоем. Юрий Живаго, любимец автора, занимается главным образом благоустройством быта и удивительно, что он попутно сочиняет гениальные стихи. Мне кажется, Пастернак любил в поэтах «священное безумие», поэтому он с сомнением отнесся ко мне; впрочем, я для него был не священным, а рядовым сумасшедшим. Помню его отзывы об А.Белом и Дм.Петровском, столь разных поэтах, — «сумасшедшие»...

Со стороны душевных удобств подошел он и к национальному вопросу, т. е. так, как ему было удобнее в жизни. Тысячелетия страданий народа-мученика ему ни о чем не говорили.

Вы пишете о желании изучать иврит, об осознании принадлежности к исторической нации. Это вопрос сложный. Бабель писал по-русски, однако вряд ли можно назвать его подлинно русским писателем — и дело не только в тематике. Нация — сумма историко-психологического опыта, его невозможно полностью растворить в инородной среде. [...]

¹ Отец мой — Михл Айзенштадт — был всех глупей в местечке.

Он утверждал, что есть душа у волка и овечки.

Он утверждал, что есть душа у комара и мухи.

И не спеша он надевал потрёпанные брюки.

Когда еврею в поле жаль подбитого галчонка,

Ему лавчонка не нужна, зачем ему лавчонка?..

И мой отец не торговал — не путал счёта в сдаче...

Он чёрный хлеб свой добывал трудом рабочей клячи.

— О, эта чёрная страда бесценных хлебных крошек!..

...Отец стоит в углу двора и робко кормит кошек.

И незаметно он ногой выделяет танец.

И на него взирает гой, весёлый оборванец.

— «Ах, Мишка — "Михеле дер нар" — какой же ты убогий!»

Отец имел особый дар быть избранным у Бога.

Отец имел во всех делах одну примету — совесть.

.....

...Вот так она и родилась, моя святая повесть.

Г.А. Корину

24/I.90

Дорогой Григорий Александрович! Последнее мое письмо к Вам осталось без ответа и поэтому я, человек изначально обиженный, не решался Вам больше писать. К тому же каждое письмо я сопровождаю стихами, но какой же смысл посылать 10—15 стихов, если к приезду Лены ей приготовлено 7 или больше общих тетрадей. (Разумеется, там и старые стихи, но и новые тянут на одну общую.)

Я где-то прочел об узнике-поэте, которого держали в темнице; когда его освобождали от цепей, он писал сонеты. Я не знаю — проклятье или благословение божье такая одержимость, — но я все еще пишу...

Я очень благодарен Лене за осуществление публикации и за предисловие¹. Стихи выбраны самые-самые мои, и редакция «Даугавы» очень бережно отнеслась к тексту. (По ее просьбе я заменил всего лишь одну строчку.)

Я не надеюсь, что мой голос будет услышан в хоре Паршиковых и Приговых, но, может быть, когда-нибудь читатель с незамутненным взором увидит эти стихи.

У нас с К.Т. никаких перемен; по-прежнему проблема протеза, муки и горести болезней.

Меня почти никто не навещает; те, кто выдавали себя за моих друзей, оказались безразличными посетителями, которым я надоел.

У меня к Вам необязательная просьба: приобрести (если есть возможность) последние сборники Чухонцева и Русакова и прислать мне. К.Т. в книжном магазине суют местные детективы. Не знаю, как обстоит дело у этих авторов с сюжетом, но стиль их писаний таков, что уже первые две-три фразы пахнут уголовным преступлением.

Я, разумеется, жду выхода сборника и безмерно благодарен Вам и Николаю Васильевичу. Вы совершили подвиг. Это уже почти «душу свою за други своя». [...]

¹ Вениамин Айзенштадт // «Даугава». 1989. № 12. С. 71—76.

Г.А. Корину

1/III.90

Дорогой Григорий Александрович! Получил ваше дружеское письмо.

Боюсь, что Вы принимаете желаемое за действительность: я по-прежнему одинок и никому не нужен, и тут не помогут никакие публикации. Как и следовало ожидать, в Минске публикация в «Даугаве» прошла совершенно бесследно: никто мне не позвонил, никто не поздравил, а ведь в Минске не так уж мало поэтов, пишущих на русском языке, хотя и проводится усиленная белорусизация. (Как будто до этой кампании кто-то мешал говорить и писать по-белорусски.)

Надо учесть и то, что я не поэт сиюминутных сенсаций, я всю жизнь открываю для себя вечные библейские истины, преломляя их не столько в магическом кристалле искусства, сколько в кривом зеркале моих несусветных житейских испытаний.

Нужен какой-то сдвиг в читательском сознании, прочно утрамбованном годами лжи, чтобы стал понятен мой язык — для многих почти нечленораздельный.

Не надеюсь я и на то, что откроет меня как поэта предполагаемый «совписовский» сборник¹. Нет, был я изгоем в жизни — буду вечным изгоем и в поэзии.

Всего доброго. Привет всем вашим.

P.S. Очень хорошее стихотворение поместили Вы в последнем «Дне поэзии». Я подумал, прочтя его, что поэзию отличает вечная молодость страдания. Ваш В.А.

¹ Вениамин Блаженный. Возвращение к душе. М.: «Советский писатель», 1990.

*Г.А.Корину**18/I.92*

Дорогой Григорий Александрович! «Кому открою пустую душу, Душа пустая кому нужна?» — писал поэт и художник Павел Радимов.

Долгое время стихи были для меня знаком доблести, как оружие у черкеса. Теперь они стали суковатой палкой в руке одряхлевшего путника. И уж действительно гордиться нечем, этим посохом только собак пугать. Но ведь собаки мои друзья; «среди людей я дружбы не имею» (С.Есенин). Когда-то у Н.В.Панченко я сказал В.Б.Шкловскому, что у меня в Минске нет друзей. (Вам казалось, что они у меня есть.) Время подтвердило мой безнадежный прогноз. Ко мне приходят всего лишь два человека — Л. Турбина и еще одна одинокая женщина. Минские поэты — глухая стена, я им не нужен и, смею думать, в какой-то мере даже отвратен. Впрочем, большинство из них обо мне ничего не знает.

[...]Посылаю Вам несколько стихотворений. Я не уверен, стихи ли это, по-прежнему ли способна душа склеивать осколки разбитой жизни. Всего доброго. Ваш В.А.

*Г.А.Корину**20/V.92*

Дорогой Григорий Александрович! Вы преувеличиваете мое место в поэзии. По сути его никакого и нет, и сомнительно, каким оно будет в будущем — слишком спорный я поэт. Я учился жить лишь в себе и, как пеликан, питался собственной кровью. Читатель, привыкший к тому, чтобы с ним заигрывали и тешили его читательскую похоть (есть и такая), мне этого не простит. А заигрывали многие — и добивались неслыханной популярности (время, быть может, внесет свои коррективы в эту популярность). Так называемая гражданственность по сути была сделкой на низшем базарном уровне.

[...]В жизни моей было так мало радости и добра, что нечем утешить душу. Даже во сне — проклятая работа, цех, где алкаши и воры столько лет плевали мне в душу.

«Никакая не знала поэзия/ Столько грязных бурсацких обид», — писал я когда-то.

Я послал Риталию Заславскому, сославшемуся на знакомство с Вами, цикл стихов на еврейскую тематику (они у Вас есть). Он обещал мне их публикацию в журнале «ИУ» (Израиль — Украина), однако давно уже из Киева нет вестей. Неизвестен мне и адрес Р.З. — письма мои ушли до востребования. Всего доброго. Ваш В.А.

*И.Л.Лиснянской**25/XI.93*

Дорогая Инна Львовна! Я не знаю, почему я Вам пишу, хотя мысленно беседую с Вами почти ежедневно. Что-то незримо связывает нас. Мне кажется, мы оба смотрели на события жизни с детским недоумением — почему так плохо, так страшно там, где все могло быть сказочно-легко?!. Оттого-то, быть может, цветаевская формула «Отказываюсь жить в бедламе нелюдей» была для нас приемлемой на всех этапах жизни. И все же мы глядели дальше и выше: в душе поэта есть тот заветный эдем, к которому страшится прикоснуться заскоруждыми пальцами даже смерть...

У меня теперь трудная полоса, мне не с кем перемолвиться словом, не с кем переписываться. (Я мог бы найти и собеседника, и адресата, но в ущерб себе, своей искренности, а играть в мирские игры на старости лет не хочется — опостылело с юности.) А вот в Вас я чувствую то подспудное простосердечье, к которому только и можно обратиться «в минуту жизни трудную».

Если Вы мне ответите (а я надеюсь на ответ), я пришлю Вам новые стихи, буду ждать стихов и от Вас.

В Минске я по-прежнему никому не нужен. Десятилетиями я не мог опубликовать ни одной строчки, сейчас снова вернулось это время.

Но пишу стихи я по-прежнему. Душа, как мальчик, выбегает на стартовую дорожку — так и не терпится ей увидеть Бога: «А вот и я...».¹

Позвольте мне кончить письмо на этой звонкой ноте. Да и не письмо это вовсе — два-три откровенных слова. Всего доброго. Привет С.И. Ваш В.А.

¹ Из писем мамы ко мне: «14.12.1993. Только что Сёма [Семён Липкин] мне передал письмо от Айзенштадта. Очень жалуется на одиночество и пишет именно лично мне, считая доброй и равной, дескать, мог бы иметь и адресата и собеседника, "но в ущерб себе, своей искренности, а играть на старости лет не хочется, — опостытелo с юности. Я всегда в Вас чувствовал то подспудное простосердечье, к которому только и можно обратиться в «минуту жизни трудную". Это я процитировала причину, по какой он мне пишет, прислал одно очень хорошее стихотворение. Пишет, что хочет быть уверенным в моем ответе, и тогда пришлет мне свои новые стихи — побольше. Бедный, бедный! Он даже не ведает, как он богат! Как я рада его письму, завтра же отвечу. Это счастье — получить стихи поэта. 15.12.1993. Деточка, у меня такое чувство, что он на грани и хочет себя и меня предостеречь от самоубийства. Если ты ему еще не написала в ответ на пересланные папой его стихи, то напиши ему письмо, ради Бога. Он очень глубоко в меня всмотрелся, м.б., глубже, чем кто-либо на этом свете. Что за человек — полугений-полубезумец! Как больно мне за него. Жуть, когда один может распознавать в другом человеке почти двойника. Какая это пытка, двойная пытка. Но это только в том случае, когда такое письмо пишешь только одному человеку на свете, а не свое поэтическое клише — каждому».

И.Л.Лиснянской

7/1.94

Дорогая Инна Львовна! Для меня достаточно конверта с вашим почерком, чтобы почувствовать в душе некое успокоение. Во сне это ощущается иначе: рука моя в чьей-то теплой руке — с нею можно и к праздничному субботнему столу и в газовую камеру. Ибо в каком-то довременном бытии все уже пережито и прощено Богу: и восторг быть помеченным горьким избранничеством и неизбежность смерти.

Суд Солженицына, распознавшего в Вознесенском деревянную душу, а в Вас — подлинного поэта, в какой-то мере суд грядущего, ибо дано этому писателю «всевиденье пророка». Все, о чем Вы говорите в стихах, даже невнятно, поднято вашей взволнованностью и искренностью на жертвенную высоту лебедя, плачущего над погибшей подругой. Птица открыта и божьему и человеческому состраданию, но она открыта и выстрелу. Так плачем и мы с вами о гибели души, но душа, омывшись кровью последнего убийства, снова обретает крылья, размах их все тяжелее, — но уж коли погибать ей, то только утонув в бездонном океане неба...

Вы бесконечно добры и самоотверженны, предложив свое участие в публикации моих стихов. В истекшем году я опубликовал лишь несколько стихотворений, да и то в газете с незначительным тиражом. Когда-то А.А.Тарковский предсказал мне в письме: «Они (т. е. местные писатели. — В.А.) поймут, что вы значите...»¹. Они — поняли: я окружен стеной неприязненного безразличия, мне некому сказать и двух слов... Между тем пишу я стихи почти ежедневно. Я тороплюсь: завтра смерть отберет у меня и перо и бумагу.

Я не могу не чувствовать себя евреем в мире глухой вражды к древнейшей нации, но Господь возложил на меня и другое бремя — худшее и ниспосланное его же милостью — бремя поэта. «В сем христианнейшем из миров поэты — жида» (М.Ц.).

Всего доброго. Привет Семёну Израилевичу, Лене, Корину — всем, кто обо мне еще помнит. С Новым годом и Рождеством — вечным праздником! Ваш В.А.

¹ А.А.Тарковский писал В.Айзенштадту в конце 70-х гг.: «Ваши стихи опять потрясли меня... Очень важная для людей книга получилась бы из ваших стихотворений; несомненно,

всеобщее признание стало бы вашим уделом, но ничто из Ваших стихотворений, несмотря на все старания Гуттенберга, света не увидит — пока. Ваша поэзия, настоящая на печали, на немодных идеях, света увидеть не может. Я, вслед за Вами, могу только посетовать на это... Для меня — счастье, что вы нашлись... Стихи Ваши читаю и перечитываю, давно уже я не радовался ничьим стихам так, как Вашим».

*И.Л.Лиснянской**16/VII-96*

Дорогая Инна Львовна!

Я назвал бы Вашу книгу «Одиноким голосом», ибо Вы как бы вышли за пределы бытия и слово «дар» применительно к душе, совершившей подвиг духовной схимы, звучит необязательно и обременительно.

Но уж если дар, то дар слезный, дар плакальщицы — такой неподдельной чистоты и скорби, что книга Ваша одним рывком ставит Вас в ряд великих поэтов многострадальной земли русской.

С истинно королевским величием Вы поставили в жизни карту на проигрыш — и можно лишь дивиться, какие несметные богатства Вами проиграны — и отыграны у жизни, ибо в руках ваших бесценная книга (так держат в худых на просвет десницах предвечные письма ветхозаветные пророки).

Вы давно были для меня «одна, как луна на небе» — и это Вас, как явление почти неземное, — должен был я увидеть только однажды в жизни...

Кланяюсь Вам, преклоняюсь перед Вами.

Ваш Вен. Айз.... (подпись)

P.S. Простите за поздний ответ — книгу Вашу получил я лишь на днях вместе с очередным номером «Ариона».

Привет Семёну Израилевичу.

Эпилог

Не знаю, посылала ли мама Вениамину Михайловичу это стихотворение. Я нашла его недавно в блокноте.

Вениамину Блаженному

Простят мне Ваши птицы и котята.
Я им нужна, а людям не нужна.
За это ль я сама собой распята
На крестовине зимнего окна?
К своим ладоням притянула гвозди
Зрачком магнитным, и они вошли
По шляпку в мякоть и пробили кости
Насквозь, и солью алой расцвели.
Но почему не ощущаю боли,
А только гладкость крашенных досок,
А только радость ненасытной воли
И на губах — не уксус, а ледок.
Мне напоследок снег даёт напиться,
На утихающих устах скрипит,
И лишь душа — котёнок или птица —
Все медлит и никак не отлетит.

16 марта 1983

Амен!

Вениамин Блаженный



Мне неизвестны библейские сроки...

* * *

— Господь, — говорю я, и светлые лица
Стоят на пороге, как птицы в дозоре,
И вот уж отец мой — небесная птица,
И матери в небе развеяно горе...

И тот, кто дыхания лишился однажды,
По смерти становится трепетным духом,
И это есть миг утоления жажды,
Он в небе порхает блуждающим пухом.

— Господь, — говорят мне собака и кошка,
И обе они на себя не похожи, —
Мы тоже летаем, хотя и немножко,
Хотя и немножко, мы ангелы тоже...

— Господь, — говорит мне любая былинка,
Любая травинка возлюбленной тверди,
И я не пугаюсь господнего лика,
Когда прозреваю величие смерти...

«ДН», 1997, № 5

* * *

Я вовсе не стыжусь рукопожатья
Избранников скитальческих дорог,
И всех бродяг люблю я без изъятья,
И тех всего нежнее, кто убог.

Бродяга в поле утреннем — не просто
Обугленная вежа на пути,
А птица человеческого роста
И ангел, чьих чудес не обойти.

А чудеса бродяги в том, что чудом
Он где-то обитает на земле
Каким-то драгоценнейшим сосудом,
Колеблясь на бродяжьей колее...

— Что в глубине таинственной сокрыто,
Какой бродягу окрыляет зов?..
Одной слезой душа его умыта,
Одною непорочною слезой...

«ДН», 1997, № 5

* * *

Ах, это снова я — на мне обноски ваших
Потусторонних снов,
И словно бы во тьме я шествую на марше,
Где каждый шорох нов...

И словно бы во тьме я вслушиваюсь в шорох
И вглядываюсь в тех,
Кто на моем пути сжигает синий порох
Земных своих утех...

Ах, это снова я — но я не тот, кем прежде
Казался ходокам, —
Я в новой прохожу бессмысленной надежде,
Блуждаю по векам...

И это снова я — уже не путник в мире,
Не вещая строка,
А только некий миг, что затерялся в миге,
В дремоте старика...

«ДН», 1997, № 5

* * *

Мне хотелось когда-то взлететь в небеса,
Но не выше той ветхой избушки,
Где я видел в окошке и кошку, и пса
И где сиживал с трубкою Пушкин.

Мне хотелось когда-то чудес, но таких,
Чтобы чудо являло веселость,
И я сыпал стихами, как просом с руки, —
Созревай, мой метельчатый колос!..

Мне хотелось когда-то быть выше чуть-чуть
Всех чудес, что вершатся на свете,
И раздать всем попутчикам по калачу —
Пусть они веселятся, как дети...

И не страшен страдальческий визг палача,
И враждебного сброда улики,
Если есть у бродяги кусок калача
На виду у господней улыбки...

«ДН», 1997, № 5

* * *

По какому-то следу, по ниточке бреда предсмертного
Доберусь я до детства, до тех и широт и высот,
Где я жил не тужил, и на Господа Бога не сетовал,
И смотрел, как на старой трубе умывается кот.

И я думал, что кот восседал на трубе не из удали,
А спустился с высот по своим поднебесным делам,
И сидел на кресте колокольном во городе Суздале,
И во городе Пскове похаживал по куполам.

Что-то было в том звере хвостато-усато-крылатое
И такое волшебное, столько святой старины,
Словно взмахом хвоста истребил он все воинство адаво
И теперь на трубе снова видит домашние сны.

«ДН», 1997, № 5

* * *

Мне неизвестны библейские сроки,
Знаю я только, что Господа рыжего
Ждёт и затравленный кот на помойке,
Ждёт и старик с застарелою грыжею.

Что же вините меня вы, враждуя,
Что обвиняете вы сумасшедшего
В том, что воскресшего Господа жду я,
Жду-ожидая второго Пришествия.

Да и кого ожидал бы я в мире?..
Уж не того ли, кто в сфере палаческой
Лучшим убийцей бездомных и сирых
Продемонстрировал все свои качества?..

Господи, будь же повсюду со мною
Там, где тебя окликаю я горестно, —
Грозной увенчан ли ты рыжиною,
Русоволос ли, чернее ли ворона...

«ДН», 1997, № 5

* * *

Обитатели сумрачных мест,
Звери, птицы в расселинах скал, —
Помогите нести мне мой крест,
Я от ноши тяжёлой устал.

Выходите, мои земляки,
Как колодники в кандалах...

Непомерное бремя тоски
Возложил я на зверя и птах.

Я ведь тоже взлетал в небеса
И обшаривал взором луга,
Когда птицу в полете спасал
От невидимой пули врага.

И ни разу не предал я тех,
Кто спешили на водопой,
Кто в звериной своей правоте
Проходили таёжной тропой.

А теперь я бреду тяжело
И взираю с надеждой окрест:
То ли птица подставит крыло,
То ли зверь мой наследует крест.

«ДН», 1999, № 6

Случайный разговор

Когда в доме нет электричества,
Черти
Зажигают спички
Смерти.
Но вот улыбаются детские лица:
Пришел монтер,
Руку простёр,
Дом — светлица!
Вот и я весёлый монтер грядущего века,
Натягиваю над человечеством лучистую
энергию сердца.
Есть ток! —
Скажите весело,
Поворачивая выключатель последней рифмы.

«ДН», 1999, № 6

* * *

«Когда меня не будет»...
Что за чушь,
Как может быть, чтобы меня не стало,
Когда в себе храню я столько душ,
Что их бы на века всем вам хватало?..

Как это может быть, чтобы не я,
А кто-то, кто ещё мне не известен,
Вдыхал в себя усладу бытия —
И задышался от неспетых песен?..

Нет, не затем я прожил столько лет
И был своею сказкою кровавой,
Чтобы остаться тенью на земле, —
И если тень я, то с загробной арфой...

И вы мои услышите шаги,
И вас созвучья прежние коснутся, —
Я не ушёл, не умер, не погиб, —
Ушёл, но лишь затем, чтобы вернуться...

«ДН», 1999, № 6

Ольга Балла

Точка доверия

«Письма Соломонову» литературного критика Николая Александрова — разговор с самим собой и с любым собратом по человечеству о жизни и смерти, о человеческой обреченной единственности, о детстве и росте, о предках и первоосвоении мира, о времени и памяти, о стыде и тоске — были бы интересны даже в случае, если бы автор писал их самому себе и никому не показывал. Ну, хотя бы потому, что сказанное здесь, при всей его единственности, касается каждого.

«Я помню этот день. Я катался, повиснув на двери, которая вела из комнаты родителей в гостиную нашей квартиры на Чистых прудах, и впервые осознал — вот это Я, вот этот — повиснувший на дверной ручке. А вокруг меня — мир. И почему я здесь — совершенно непонятно. И главное — я кончусь когда-нибудь».

Ох, да. У вас ведь тоже был такой день?

Этот текст (именно текст — в единственном числе, потому что цельный, членится на письма-главки единственно ради удобства вдоха-выдоха) полон подробностями личной памяти, которые, как можно подумать, за пределами жизни носителя этой памяти не значат ничего, а в пределах ее — перенасыщены значениями. Впрочем... только ли в пределах?

«Я родился в семье филологов. Среди книг. Впрочем, не только книг. Отец читал толстые журналы, газеты — советские и доступные зарубежные. И почти ничего не выкидывал. Квартира это выдерживала с трудом. Полки, забитые книгами, напоминали колумбарии — достать оттуда что-нибудь было почти невозможно, громоздились стопки журналов, газет, рукописей, машинописей. В какой-то момент отец решил все-таки делать "вырезки": их сохранять, а остальное выкидывать. Вырезки должны были раскладываться по конвертам. Конверты надписывались. Справиться с этой работой нельзя было физически — пресса поступала ежедневно, а вот утилизация ее откладывалась. Тогда было принято кардинальное решение — сделать стеллаж. Эра, как известно, была доикейская (или доикеевская?), мебель приобрести было непросто. И главное слово здесь, конечно, *сделать*, а не *стеллаж*. Видимо, в папе проснулся инженер (или ревниво-мечтательная оглядка на деда). Были закуплены у кого-то жуткого вида доски. Их предстояло покрыть морилкой, отлакировать и уж потом собрать стеллаж. Морилка вскоре тоже появилась. Вся эта красота громоздилась у глухой стенки в гостиной, занимая добрую ее часть. И в этом полуфабрикатном виде застыла. На годы». Личные, пристрастные отношения (в данном случае — отца повествователя, но это — почти свои собственные) с вещами — как с частью себя: «Стеллаж — это часть Я, только не организованная. Пока не организованная. Поэтому к ней нельзя прикасаться. Это заповедная часть личного пространства, вторжение в нее недопустимо и вызывает досаду, раздражение и гнев».

Господи, как знакомо, как родственно, как понятно — ловит себя на мысли читатель. Ловит — и одновременно понимает, что речь идет не о каком-то единичном

случае. Речь — сразу о целом культурном типе, о культурной стратегии — а то и не одной, о способах смыслооборота, свойственных такому типу людей, тому состоянию культуры и цивилизации, в котором мы все жили... Тут же, одним движением — целая антропология. Ничто так щедро не порождает обобщений, как единственная единичность.

А вот и поверх всякой культуры — все культурное тут случайно:

«Мне было десять лет. Я был в пионерлагере. В месте, которое мне не нравилось. И окружающие меня люди мне не нравились. Я был в изгнании. Я был бездомным, выброшенным из домашнего уюта, тепла, из привычного существования, привычного круга вещей. И вот ночью, на узкой казенной пионерской кровати, я неожиданно понял — когда-нибудь я умру, прекращусь. Но что это такое — прекращусь? Что значит — меня не будет? Куда денется мое Я? Этого я понять не мог. И испытывал простой ужас. Избавиться от него было нельзя. Ужас был — как пробудившийся звук, и звук этот вторгся в мое существование, гудел монотонным постоянным фоном. Он затихал днем, но обретал силу ночью. Он вошел в меня, вжился в меня, все время напоминал о себе. Он был больше чем болезнь, поскольку был неотвратимее, поскольку не давал надежды на спасение. Казалось, о нем невозможно забыть, привыкнуть к нему. Он был настойчив и упрям. И безжалостен. Но я привык. Постепенно. Я научился его заглушать. Я привык к моментам его возвращения, к охватывающему темному, непроглядному отчаянию, к настойчивому напоминанию о грядущей катастрофе».

Более общечеловеческого и не придумаешь.

Но зачем нужна именно такая форма собирания разговора — письма? Зачем тут (псевдо)диалогичность, не ждущая и не требующая ответа, зачем «Соломонов», кем бы он ни был?

«Повесть в письмах, — объясняет автор с самого начала, — это круче, чем эпистолярный роман. Мне просто нужен собеседник, доверенное лицо. А доверять мне некому. Я даже себе не могу доверять, а если бы и доверял, то писал не повесть в письмах, а дневник».

«Даже себе не могу доверять.» Ситуация редкостная, особенно для исповедального текста (а это — почти он). Но раз уж так — приходится вынести точку доверия вовне. Поставить ее, так сказать, произвольно.

«Говорят, что один из способов "прибраться" — вести дневник. Все западные книжки из серии "Сделай себя сам" настаивают на этом: записывай, что нужно сделать. И я честно пробовал. И покупал ежедневники, которые очень люблю еще со времен сам- и тамиздата и всеобщего книжного дефицита.» (И я, и я, и я, — пыхтит читатель, младший современник автора, за кадром. — Говорю же, тут целая антропология.) «Переписанное в ежедневник, — продолжает Александров, — давало иллюзию полноценной книжки. Но все напрасно. Не для меня. Записанное оставалось забытым и не сделанным. Правда, есть ведь люди, которым это удается».

Да разве дневники — об этом?! — не терпится воскликнуть читателю. — Да разве они вообще о том, что «надо сделать» и потом, сделавши, вычеркнуть? Да они же — обо всем, включая и бывшее, несбывшееся, и невозможное, и немыслимое... Стоп, читатель, не торопись. Постарайся услышать главное: тут человеку для полноценного писания, для простой возможности письменной речи важен сам факт адресованности, сам жест ее. Не адресат, а адресованность, понимаешь?

«Дневник не только принципиально, по сути своей, скрыт от чужих глаз, он не пишется даже для себя самого. Он пишется для Я, но другого, для не меня, для отражения в зеркале, ментальной тени, астральной проекции Я. Разговор с самим собой, но не с теперешним, сиюминутным — а другим, удаленным во времени и пространстве, переведенным в иное измерение.» Так вот, есть люди — и автор из их числа, — которым мало «другого Я». Нужна более радикальная инаковость.

«Дневник, — напоминает нам Александров вполне, вообще-то, очевидное, — не обязан быть ежедневным саморазоблачением, собранием тайн и интимных подробностей». Да он вообще ничем никому, включая собственного повествователя, не обязан. А вот письма... с письмами сложнее.

Они уже обязывают.

И это при том, что разница между письмами, условно говоря, «настоящими» и «литературными» вот в чем, и сразу — радикальная: «литературному» письму, письму-приему собеседник, на самом деле, не нужен.

Нужна, грубо до циничности говоря, фикция собеседника (смягчая цинизм, скажем: функциональная, конструктивная фикция — такая, чтобы выстраивала перспективу разговора), воображаемая его фигура, позиция — даже если имеется в виду настоящий человек, да только письма ему не отсылаются. А это уже принципиальная разница. Так сказать, типологическая.

При обращении к фиктивному адресату нет, например, страха его обидеть — ну хотя бы простым невниманием, недостатком внимания (всякий ведь адресат хоть втайне да надеется, что писать ему будут еще и ради него самого, — а то, может быть, даже и в первую очередь ради него самого, хотя это, конечно, уже совсем роскошь). Нет опасности его непредвиденных реакций, следующих из его личного, единственного — и никогда в полной мере нам не известного — душевного устройства и опыта. Нет необходимости их учитывать, выстраивать сложную систему откровенностей и умолчаний. Это ведь всегда происходит, когда мы общаемся с живым человеком, полным собственных интересов, целей и особенностей, даже если мы совсем не отдаем себе в этих рассчитываниях и выстраиваниях отчета, даже если мы этому другому очень-очень доверяем.

Доверие — это же сплошная ответственность. Сплошное усилие.

Доверять — но не задавливать собой. Доверять — но не забывать все время задаваться вопросом: а все ли ему интересно и нужно, что я на него вываливаю? Доверять — но не использовать как повод для самораскрытия, самотолкования, самобичевания и самопрезентации, иначе плохой ты собеседник, и лучше бы ты дневник себе в тетрадочку писал.

Живой, настоящий другой — это тот, в кого надо вслушиваться и вчувствоваться.

Переписка — всегда игра в четыре руки (два разума, две души в их сложном согласии-несогласии друг с другом), даже если пишет только один, а другой — только читает и совершенно не должен реагировать. Сам факт того, что другой есть, ко многому обязывает говорящего.

Именно поэтому никакого настоящего, самоценного и неповторимого «Соломонова» в письмах Александрова нет. Даже при том, что на свете действительно живет человек с таким именем, с точно таким же лицом, какое уж наверное представлял себе автор, обращаясь к своему адресату: театральный критик и писатель Артур Соломонов, по имени, кстати, ни разу не названный, только по фамилии — видимо, для пушей условности. Если это вообще он, а не таинственный его соименник. Да так ли важно? (Автор периодически напоминает себе, что вот есть у него такой адресат, время от времени окликает его: «Вот представь себе, Соломонов», «так говорят, Соломонов?», «Соломонов, вот ты как пишешь? Я знаю, что пишешь ты левой рукой, но скажи, ты сочиняешь утром или вечером?» Не нужен тут ответ ни про утро, ни про вечер, ни про левую руку — его отсутствие никак не скажется на дальнейшем повествовании.) Не в кого тут вслушиваться и вчувствоваться, убирая и дозируя свое, — задачи не те. Свое, разумеется, дозируется — но исключительно под собственные задачи.

И автор может заниматься самоанализом, ничуть не беспокоясь о том, что будет делать с этим анализом Соломонов, к какому поведению располагают Соломонова все

эти откровения. Соломонов не должен ничего. Он свободен от своего присутствия в разговоре.

Другой — это тот, с кем надо быть осторожным. Даже не затем, чтобы не ранить себя: себя ранить каждый, в конечном счете, в полном праве, а иногда это даже бывает и нужно — но чтобы не ранить его, другого. Чтобы не ступить ненароком на ту территорию, где наши права и интересы — кончаются. Человек — существо, уязвимое по определению.

А самое-то интересное: воображаемого адресата можно по своему вкусу — или в соответствии с поставленной задачей — сконструировать.

Зачем же тогда вообще нужна фикция собеседника? Почему бы не писать просто дневник или не подбирать «опавшие листья» собственных умственных и душевных событий, как Розанов? Зачем этот жест адресованности, направленности речи?

А вот затем и они нужны: для прояснения того, что говоришь — как будто говоришь другому (себе в тетрадку можно и скомканно, сокращенно, намеками, понятными только тебе).

Предполагаемый адресат — намеренное, работающее на твои цели и задачи ограничение. Условия этого ограничения можно менять по ходу дела. С живым собеседником так обходиться не будешь.

У условного адресата ничего не просишь. От него ничего не ждешь. С ним, даже при том, что он — намеренное ограничение, ты свободен: это — направленная, организованная, структурированная свобода, в отличие от той, что наедине с собой.

Условный адресат — довольно эффективное средство для противостояния хаосу. Живого человека делать средством к чему бы то ни было грешно, даже когда ты это и вправду делаешь, а воображаемого — и можно, и как же без этого.

Перед воображаемым адресатом ты не виноват.

С настоящими письмами — другое. Читать их всегда немного неловко: ведь не нашему глазу предназначались, да и вообще, мы же не представляем себе во всей ее полноте систему умолчаний и допущений между собеседниками. С ними мы всегда несколько непрошенные гости, даже если и отправитель, и адресат уже умерли и им все равно. Чужие письма беззащитны — недаром традиция запрещает их читать. Да ведь, сколько ни выстраивай дистанций, — таковы и собственные: писание их — всегда риск, всегда акт беззащитности.

Понятно, что любой акт сравнения не лишен насильственности, что живущий несравним. Но на читательском столе, волею редакции, рядом с письмами-проектом Николая Александрова к Соломонову оказались другие письма, живые, трудные, жгучие — поэта Вениамина Блаженного к трем другим поэтам: Григорию Корину, Семёну Липкину, Инне Лиснянской и писательнице Елене Макаровой (дочери Лиснянской и Корины). Как не прочесть эти письма одним взглядом, как не задуматься о том, насколько по-разному ведут себя в текстах этих разных типов слово, интонация, само дыхание?

«Дорогой Григорий Александрович!

Спасибо за письмо, за книгу, за надпись — я долго ее рассматривал, как, помню, в детстве впервые разглядывал переводную картинку: все сказочно, все не от мира сего. (Была у меня в детстве такая — случайная — книжка с переводной картинкой на заглавном листе: корабль.) Посылаю стихи; в основном, о родителях. Горести отцовской жизни я не придумал и не преувеличил. Отец полвека проработал на фабрике — отмывал в керосине и расчесывал железным гребнем щетину и конский волос. Жили впроголодь. Слова отца, казавшиеся мне когда-то проклятьем: "Будешь, сынок, чесать щетину", — помню теперь как благословение: всю жизнь я ел хлеб, заработанный нелегким трудом.»

Это — та самая беззащитная откровенность. С неровным, рвущимся дыханием,

в постоянной надежде быть услышанным. Это уже сама исповедь — без адресата, причем без заинтересованного, чуткого, единственного адресата — такое не говорится:

«Любовь мою к стихам и — соответственно — мою "писанину" мать и отец считали семейным бедствием: писал стихи и повесился старший брат. Мне и тут повезло больше: отделался пребыванием в дурдомах, где иногда принуждали читать стихи студентам-медикам; лечащий врач комментировал — вот де бред, образец мышления параноика.

В общей сложности провел в разных психушках три года. Долгие годы имел соответствующую группу инвалидности: вторую, потом третью...

Судьба сделала все, чтобы мне не быть поэтом, — и преуспела лишь отчасти: я никогда не публиковался.

Наверное, я во многом, как поэт, виноват: слушал только свою боль, но ведь любая боль — отголосок мировой боли; боль — всегда эхо...

Это — разговор с постоянным чувством своей ответственности за сказанное, чувством взаимной уязвимости — и своей, и адресата. В такой ситуации всегда немного — а то и всерьез — страшно:

«...Не пеняйте на прямоту письма. Вы сами со мной откровенны. Я не знаю, почему Вам написал именно такое письмо. Когда-то написал нечто подобное П.Г.Антокольскому: он меня застрашал: "Никогда никому не пишите подобных писем", — и прекратил со мной переписку. А я хотел, чтобы он знал о канве, по которой я вышиваю суровыми нитками. Может быть, и Вы так поступите. Но — как говаривал отец — "лучшая ложь — это правда"».

И снова, и снова:

«Я пишу Вам в смутное для меня время, когда со мною перестали переписываться А.Тарковский и А.Кушнер.

(Если и Вы так поступите, то объясните хотя бы причину.)

Молчание поэтов казнит меня — всю вину я возлагаю на себя».

Ставя себя на место пишущего, отождествляешься с ним всецело. Ставя себя на место адресата, не можешь нащупать в себе убедительного ответа на вопрос: а я-то что сделала бы, окажись в подобной ситуации? Чем смогла бы ответить — какой степенью участия, в какой мере адекватной обращенному ко мне доверию? Нашла бы в себе силы и нужные слова? А если бы не нашла — как бы потом с этим жила? (А ведь не нашла бы, не нашла бы...)

Кстати, Григорий Корин, Инна Лиснянская и Елена Макарова и силы, и слова — нашли.

«Если бы мои адресаты знали, что значат для меня их письма — и что значит наступившее молчание!..

В моем почти казематном одиночестве!..»

Такая доверительность требовательна — но она и не может быть другой: принятие и участие тут нужно, как воздух. Тут фиктивным собеседником не обойдешься.

Разве можно, как мыслимо, не ответив на такое встречным понимающим движением — да еще не нарушающим притом чужих границ — спокойно жить дальше и смотреть в зеркале самой себе в глаза?

Вениамин Блаженный это ясно понимал. «Наверное, мне не следовало бы писать об этом — писать, словно совать в чужие глаза привычные для меня стружья и языки...»

Беззащитными в такой ситуации оказываются оба — и пишущий, и адресат.

«Никогда никому не пишите подобных писем».

Но если не будем — и писать, и отвечать, — перестанем быть людьми.

Юрий Каграманов

На площади Бастилии больше не танцуют

Французы пересматривают опыт «великой» революции

До последнего времени образ Французской революции был окружен романтическим ореолом. Ей восхищались русские революционеры — от декабристов и Белинского, который, читая историю революции, от восторга «катался по полу» (свидетельство К.Д.Кавелина), до Ленина и Троцкого. Даже люди, далекие от революционного движения, несмотря ни на что, зачастую сохраняли о ней идеалистическое представление. Так, Фёдор Сологуб, наблюдая за тем, во что превращается Русская революция, писал: «восставшая против деспотизма» Франция несла Европе крещение «огнем и кровью», а Россией овладел «гнусный бес», который «мажет нас грязью». Надо ли упоминать о том, каким было отношение к революции, получившей титул Великая, у нее на родине?

Однако в последние десятилетия идеализированное представление о Французской революции стремительно утрачивает кредит в самой Франции. Если судить по литературе, кино и телевидению, то выходит, что якобинский комиссар в щегольской шляпе с изящно загнутыми полями (для некоторых чинов еще и с синим плюмажем) был одержим «гнусным бесом» не меньше, чем большевистский комиссар.

Круглая годовщина — сто лет с начала Русской революции — дает повод «юбилейным» размышлениям на эту тему, для нас наиважнейшую. В России до сих пор нет единого мнения об отечественной революции 17-го года. И было бы весьма интересно разобраться, что думают о своей революции французские историки и какое складывается на сей счет общественное мнение. Тем более что имеется множество параллелей в событиях двух революций, равно как и в подготовительных их этапах и в последующей за ними истории.

«Штурм» Сорбонны

То ли Маркс, то ли Энгельс, точно уже не припомню, писал, что с момента «великой» революции 1789 года политическая история Франции развивалась в «классических формах». Что в ней было такого «классического», понять трудно. Вся она в продолжение почти целого столетия, считая со дня штурма Бастилии, состояла

Каграманов Юрий Михайлович — культуролог, публицист, постоянный автор «Дружбы народов». Последние публикации в «ДН»: «Крик Майастры. Перспектива консервативной революции в Европе» (№2, 2013); «Нерон высадился в Америке» (№8, 2013); «На подходе ко второму Просвещению» (№1, 2014); «Призрак Закона» (№7, 2014); «Кого ждет “триумф воли”»? Противоборство идеологий на Украине» (№3, 2015); «Обаяние Птолемея» (№3, 2016).

из непродуманных рывков и попятных движений, скольжений то влево, то вправо. Лишь к началу 80-х годов XIX века положение более-менее «устаканилось» и республика утвердилась в определенных идейных координатах. Тогда и сложился миф о «великой» революции, которую надо принимать *en bloc*, целиком, с равным энтузиазмом приветствуя Лафайета (либеральный период) и Робеспьера (якобинский период). Оплотом этого мифа стала Сорбонна, парижский университет. А день взятия Бастилии, 14 июля, стал национальным праздником Франции.

Но вот в годы, непосредственно предшествовавшие двухсотлетию революции, одно за другим стали появляться исследования, которые нанесли мифу непоправимый ущерб: это «Великая дисквалификация» П.Шоню (крупнейший на тот момент среди французских историков), «Мыслить Французскую революцию» Ф.Фюре, «Христианство и революция» Ж. де Вигери, «Цена Французской революции» Р.Седийо, «Трудная профессия короля» М.Антуана, «Французская и Американская революции» Ж.Гюсдорфа. Никто из названных историков не примыкал идейно к реакционерам типа Жозефа де Местра. Ныне покойный Шоню, например, был либералом английского типа — «постепеновцем». Фюре одно время состоял в компартии, но и выйдя из нее, оставался расплывчато-левым. По-новому взглянуть на революцию побудила их научная добросовестность, но также изменившаяся атмосфера.

Начавшаяся перемена мыслей на уровне академического сообщества отразилась на праздновании двухсотлетия взятия Бастилии 14 июля 1989 года. Традиционное шествие на Елисейских полях на сей раз вылилось в подобие грандиозного карнавала, в котором приняли участие приглашенные из разных концов света. Тематически он очень мало был связан с революцией; разве что однажды прозвучала «Марсельеза», которую спела почему-то негритянская певица из США. Спасибо хоть, что по-французски.

«На площади Бастилии больше не танцуют», — говорит один из персонажей франко-американского фильма «День взятия Бастилии» (2016). Положим, кто-то здесь еще танцует, но персонаж имеет в виду, что народное ликование по случаю взятия королевской твердыни ушло в прошлое. А иные авангардисты даже находят площадь подходящим местом для демонстрации макабрических танцев (*dance macabre*).

В последующие годы «штурм» Сорбонны историками-ревизионистами продолжился. Вехой здесь стала «Чёрная книга Французской революции» (2008; переиздана в 2014),¹ интерес к которой вышел далеко за рамки академических кругов. В ней увидели *пандан* к «Чёрной книге коммунизма», изданной в том же Париже в 1997-м. Сорок пять авторов (в основном историки, но также писатели и журналисты) на пространстве почти в тысячу страниц гвоздили миф под разными углами зрения, в основном развивая мысли своих предшественников, как далеких (И.Тэн, О.Кошен), так и непосредственных (Шоню, Фюре).

В статье историка П.Клода обосновывается точка зрения о том, что революция не была делом народа, в подавляющей своей части плохо понимавшего, что происходит. Реально ее вершила кучка «идейно возбужденных» деятелей, выдвигавшая из своей среды вождей, которые увлекали за собою деклассированные слои города и деревни. Но и вожди по мере развития революции не столько влекли, сколько были влекомы; некоторые из них сами признавались, что их «несет» куда-то даже вопреки их желанию.

Это было похоже на обвал в горах: сначала падают отдельные камни, за ними другие, потом обрушивается целый поток тяжелых горных пород.

В других статьях указывается, что Франция стала осыпаться после свержения и казни короля. Как считают авторы, одного из самых добропорядочных в истории страны. И кстати, податливого (порою даже излишне податливого) — идущего, пусть даже после некоторых колебаний, на все уступки, которых требовали у него

¹ Le livre noir de la Révolution française. «Cerf». Paris, 2014.

революционеры. Монарх, пишет историк Ж.Гаффио, был «собирательным лицом» Франции; когда его не стало, она будто лишилась своего лица.

Если король служил «замком свода» французского общества, то католическая Церковь была его духовным фундаментом. В ней, пишет историк Ж. де Вигери, революционеры видели главного своего врага; поэтому они развязали против нее гонения, которых мир не видел со времен Диоклетиана. Уже в 1792—1793 годах были закрыты все церкви и монастыри (чего даже в СССР не было), разрушено множество храмовых зданий, представлявших большую архитектурную ценность, казнено или убито без суда свыше восьми тысяч священников и монахов. Надругательству подверглись мощи святых; например, мощи св.Геновефы (Женевьевы), покровительницы Парижа, были положены под нож гильотины. Робеспьер, который не был атеистом, но веровал, как пишет де Вигери, в «бога деистов, без слов и без любви», учредил было надуманный культ «верховного существа», но он сдох на другой день после падения Неподкупного. Десять лет Франция прожила без религии — до 1802 года, когда Наполеон вновь открыл церкви. За это время выросло поколение, совершенно незнакомое ни с катехизисом, ни с церковной обрядностью.

Было разорено и унижено французское дворянство, никогда уже не оправившееся от того удара, который нанесла ему революция. Авторы сборника, впрочем, считают, что отчасти оно получило по заслугам. Когда-то бывшее носителем рыцарских идеалов, знакомых нам хотя бы по «Трём мушкетерам» (Дюма точно выбрал время — правление Людовика XIII и Фронда — когда они еще оставались в силе), оно в последние десятилетия Старого режима покидало свои поместья и стекалось в Версаль, где выступало в ролях блюдолизов разного статуса и ранга. Иные князья и графы прислуживали королю за столом, как обыкновенные лакеи, иные со шпагами на боку выносили за ним судно! Хотя понятия о чести не совсем их оставили: когда потомки крестоносцев всходили на эшафот, где их ждала гильотина, то, как правило, сохраняли горделивую осанку.

Каковы бы ни были изъяны Старого режима, не было никакой необходимости штурмовать Бастилию и вести дело к дальнейшему кровопролитию. Податливым показал себя не только лично король, податливой показала себя большая часть аристократии и бюрократической верхушки. Поставленных революцией целей (первоначально они были достаточно разумными) можно было добиться путем легальных процедур. Но революция, как писал Шоню в книге «Великая дисквалификация», «уподобилась ребенку, который топает ногами и кричит: хочу всего сразу! Хочу сейчас!» «Революционное нетерпение» переросло в форменное безумие, которое было опозитизировано следующими поколениями. Один из самых ярких образов, оставленных ими: «Марсельеза» Рюда (горельеф на фронтоне Триумфальной арки) — крылатая дева-воительница, зовущая покарать врагов, которых в реальности не было.

«Черная книга» лишь походя касается якобинского террора, вписавшего самые черные страницы в историю революции. Но это потому, что в предыдущие годы данную тему рассмотрели очень тщательно и вынесли на сей счет почти всеобщий вердикт, не допускающий никакого оправдания террору. Поскольку эта тема все-таки затронута, обращает на себя внимание замечание историка Ф.Моргана о том, сколь резким диссонансом ворвался террор в атмосферу конца века, исполненную, казалось бы, прекрасноты и моцартианского лиризма. Изящно склоненные женские головки Буше и Греза ожидали, вероятно, услышать что-то совсем другое, чем те крики ненависти, которыми «вдруг» огласились стогна древней Лютеции. И ведь уже был написан «Вертер»! (Для сравнения: Русской революции предшествовало множество зловещих предсказаний, а пришедшие к власти большевики и левые эсеры крепко держали в уме историю якобинского террора и в самом скором времени пошли по французским кровавым следам.)

Пафос революции есть ненависть и разрушение, — писал С.Н.Булгаков в «веховской» статье «Героизм и подвижничество». Выгорев, революционный огонь оставляет после себя пепел (а подвижничество продолжает гореть ровным пламенем). Крылатая дева Рюда эффектно взлетает — и падает. Зачарованных ее взлетом ожидает неприятный сюрприз: плодами революции пользуется довольное собою мещанство. Бальзак (в юности увлекшийся красивой воинственностью 93-го года) спрашивал: неужели королю отрубили голову для того, чтобы лавочник из Сомюра мог выдать свою дочь за «достойного» господина?

Уже с Термидором открылся момент истины: верхние позиции в обществе заняла порода людей сугубо прозаического склада. Возник, пишет Шоню, «новый правящий класс, более грубый, более жадный, синдикат воров, неразрывно связанный с новым порядком вещей».

Эрнест Ренан писал в 1868 году: «На исходе XVIII века наследники обанкротившейся революции с их мелочными подходами в вопросах семьи и собственности выстраивали мир пигмеев и смутьянов». Следует оговориться, что на исходе XVIII века самим наследникам было еще не ясно, какой мир они выстраивают, зато это становилось ясно во времена Ренана: спустя два года после написанного пигмеи, неожиданно для всей Европы, привыкшей к французским победам (см. «Заметки о войне» Ф.Энгельса), с треском проиграли войну с немцами, а вслед за тем смутьяны устроили в Париже очередную кровавую революцию.

К числу беспспорных последствий революции относится поэтапное ослабление национального организма, о чем подробно писал Шоню в «Великой дисквалификации» (слово *declassament* в заголовке может быть переведено также как «понижение в ранге»). Особенно наглядно свидетельствует об этом демография: в 1789-м во Франции проживала пятая часть населения Европы (включая Россию), сейчас — 8%. Не менее выразительны экономические показатели: страна производила четвертую часть европейского ВВП, сейчас — одну десятую. Лишь по производству ВВП на душу населения и по уровню промышленно-технического развития Франция несколько отставала от Англии, но и здесь наступала ей на пятки. После революции о соперничестве с Англией пришлось забыть.

С большим опозданием подсчитали — прослезились.

В «Чёрной книге» эту тему развивают и другие историки. Т.Жоссеран пишет: мы ослеплены победами Наполеона, но куда большее значение имело поражение, понесенное французским флотом при Трафальгаре. Оно не было случайным: в революционные годы морское офицерство — элита французского офицерского корпуса — было уничтожено или изгнано с кораблей, в результате чего флот резко ослаб. Франция, пишет Жоссеран, «уступила таким образом Соединенному королевству возможность стать первой морской, а значит и торговой, и промышленной державой Европы. Эта катастрофа была прямым следствием революции».

Д.Дешер указывает, что Людовику XVI, хотя обычно его считают слабым королем, не чуждо было стратегическое мышление. Он намеревался вернуть утраченные в результате Семилетней войны обширные колониальные владения (район Великих озер и весь бассейн Миссисипи в северной Америке, территории в Индии) и установить французское господство на морях. Он был единственным правителем в истории Франции, который флоту уделял больше внимания, чем сухопутным войскам. И не напрасно: в период американской Войны за независимость французский флот, защищавший новорожденную республику, нанес ряд чувствительных поражений англичанам.

К сказанному добавлю от себя: существуют косвенные свидетельства, что в начальный период революции Англия, заинтересованная в ослаблении французской монархии, всячески «разжигала огонь», действуя через свою агентуру в Париже

(немногочисленную, но весьма дееспособную). Хотя прямых доказательств этому я не нашёл.

И ещё одно последствие я бы сюда добавил: относительный культурный упадок, начавшийся с революцией и продолжавшийся примерно до 1825 года. Для сравнения, крайне невыгодного французам: в соседней Германии это время «бурных гениев», особенно в области литературы и в области музыки.

Авторы «Чёрной книги» широко активируют «ресурс» критических суждений о революции, датированный XIX — XX веками. Это, конечно, граф Жозеф де Местр и виконт Луи де Бональд, но также Бальзак и Мюссе, Вилье де Лиль-Адан и Бодлер (да-да, автор «Цветов зла» был легитимистом!), Ренан и Барбе д'Оревилли, Верлен и Гюисманс, Доде и Мопассан, Пеге и Бернанос.

Своеобразную позицию в этом ряду занимает писатель Леон Блуа. Начиная как ученик проживавшего в Париже Герцена, как атеист и революционер анархического толка, Блуа вернулся в лоно католичества и привнес в него ярость своих прежних воззрений. Став в принципе роялистом, он в то же время резко негативно отзывался о «нечистой семье» Бурбонов и заявил себя сторонником теократии, причем очень жесткой, даже жестокой. «Неистовый католик» Блуа оправдывал... якобинский террор (только не в отношении монарших особ, каковы бы они ни были), как «предвосхищение Божьего суда»¹, и грозил новыми, еще более масштабными репрессиями; он, например, предлагал ввести смертную казнь за отказ причащаться хотя бы четыре раза в год. Был бы он жив сегодня, вызвал бы острую ревность у исламистов.

Подводя некоторый итог усилиям историков-ревизионистов, можно констатировать, что «штурм» ими Сорбонны удался: историки старой, «якобинской» школы оттеснены на вторые роли. Только в школьных программах они еще сохраняют остаточное влияние, но вытеснение их оттуда, вероятно, — вопрос времени.

Тем более, что есть еще важная сфера, где «якобинская» школа утратила всякий кредит, — это сфера «национальной памяти», которую историк Пьер Нора четко отделил и от коллективной памяти традиционного общества, и от исторической науки. «Национальная память» в ее современной конфигурации лабильна, неустойчива, тематически раздроблена. Она пытается «связать времена», но делает это так, что прошлое оказывается «приспособленным» к настоящему; она пользуется выжимками со стола науки, но больше опирается на образы, чем на письменное слово, поэтому важнейшими средствами интерпретации служат ей кинематограф и зависимое от него телевидение.

Месть Марии-Антуанетты

«Звездный» момент Французской революции — «Марсельеза», как в музыкальном ее качестве, так и в позднейшем каменном воплощении. Но не менее «представителен» ее, скажем так, контртип, только уже не символический, а вполне реальный. Представим такую картину. Дождливое утро 17 октября 1793 года. Два могильщика приходят на парижское кладбище Мадлен, чтобы захоронить в общей яме останки казненных накануне, сброшенные прямо в грязь. Среди них полуобнаженный труп тридцатисемилетней женщины, чья отрезанная голова положена ей между ног. Это

¹ Близкое к этому парадоксальное суждение высказал Максимилиан Волошин в стихотворении «Термидор»: Робеспьер явился,

Чтоб возвестить толпе, смирив стихию,
Что есть Господь!..

дочь императрицы Священной Римской империи и вчера еще королева Франции Мария-Антуанетта. После Наполеон скажет: «Это было хуже, чем цареубийство».

Это было проявление н и з о с т и, какая едва ли была знакома Средним векам. Леон Блуа напишет: «До 16 октября 1793 года случалось, что королевы рубили головы королевам¹, но никогда не случалось, чтобы королеву казнила Каналья, это хамское величество нынешних времен».

В предсмертном письме Мария-Антуанетта, как известно, по-христиански простила своих палачей. Но не простили девы-эвмениды, естественно, чуждые христианских понятий: их месть состоит в том, что фигура королевы владеет современным воображением более всех остальных персонажей великой драмы. Об этом, как и о других моментах, связанных с историей революции, свидетельствует в первую очередь кинематограф (о Марии-Антуанетте снято всего около тридцати фильмов; из них я посмотрел те, о которых заранее знал, что их отличает более высокий, сравнительно с другими, художественный уровень).

Шестичасовой (еще более пространный в телевизионном варианте) двухчастный фильм «Французская революция» Робера Энрико, вышедший в год Двухсотлетия, уже отразил сдвиги в представлениях о ней, совершившиеся под влиянием историков-ревизионистов. Если день 14 июля в этот год еще оставался праздником (формально и сейчас еще остается), хотя уже с сильно смазанным содержанием, то в фильме отношение к революции двойственное: недаром он разделен на две части, первая из которых названа «Годы света», а вторая «Годы ужаса». Еще повторяется традиционное вранье о штурме Бастилии (на самом деле не было ни одного «героически погибшего» инсургента, погибли только комендант крепости, приказавший открыть ворота, и несколько его солдат). Конечно, в революции был «момент» света — разумного стремления к обновлению², но не было «годов света», ибо грозная тьма нависла над нею с самого первого дня: надетая на пику голова несчастного коменданта де Лоне возвещала о том, что с самого начала все пошло «не так».

Но «годы ужаса» показаны правдиво: это обжигающее прикосновение к трагедии, каковую является история на своих высотах и на своих глубинах. Подлинные герои этой части, точнее, герои-мученики — королевская чета, не только королева, но и король, кажется, впервые в истории французского кино показанный так, что он вызывает симпатию.

Вышедший в том же году фильм «Австриячка» Пьера Гранье-Дефера почти целиком сосредоточен на судебном процессе, где низложенная королева, преображенная страданием, ведет себя стоически. Пусть она и не была безупречной супругой, но стократ порочнее выглядят ее обвинители и «свидетели по делу» — и те, что гнусные порнографические картинки, на которых она изображена, ей же ставят в вину, и те, что обвиняют ее в соращении собственного десятилетнего сына. Отвратителен Фукье-Тенвиль, «общественный обвинитель», требовавший перед казнью выпустить из бывшей королевы побольше крови, чтобы она не могла сохранять на эшафоте свою гордую осанку (к счастью, требование было сочтено чрезмерным)³. А лицо «народа» здесь — лицо, то бишь морда, зверя.

Совсем иной путь к сердцу современного зрителя находит королева в фильме франко-американского производства «Мария-Антуанетта» Софии Коппола (2006).

¹ Соблюдая, добавлю от себя, все необходимые знаки почтения. Когда, например, казнили Марию Стюарт, палач встал перед ней на колени и попросил у ее величества прощения; каковое и получил.

² Это признавал даже К.П.Победоносцев: «Несомненно, что великая революция имела всемирное значение. Из нее вышло много благотворительных мер и новых стремлений; она разрушила много обветшавших форм правления и общественных отношений» (Победоносцев К.П. Сочинения. СПб., 1996. С. 186).

³ Если кто не знает, человек, лишенный большого количества крови, не держится на ногах.

Чувственная Кирстен Данст, портретно совсем не схожая с прототипом, играет здесь «королеву гламура». Со вкусом показан обиход Версальского дворца, представляющий своего рода произведение искусства; им можно любоваться, как любят, например, балетом. Но заритуализированную жизнь современному нам человеку долго выносить трудно, поэтому нам показывают, как королева «отрывается», с большим азартом играя в карты (что было) в сомнительного вида заведениях (чего быть не могло) или отплясывая какие-то непонятные танцы под звуки чего-то, похожего на... рок-н-ролл. *Joie de vivre* (радость жизни) в стиле галантного века сношается с современным *кайфом*. «Неуместная» революция отодвигается в конец фильма, который завершается отъездом из Версаля королевской четы, в последний раз глядящей на него из окна кареты. «Прощай навсегда, Версаль!» — это грустное чувство призван разделить с нею и зритель. По истории это 6 октября 1789-го, самое начало революции.

Шестисерийный телефильм «Мария-Антуанетта» Пьера Дероше (2009) тоже увлекает эстетикой Версаля, только уже вне связи с современным масскультом. Королева — плод и одновременно венец утонченной культуры рококо; у нее «моцартианская душа», которая была грубо растоптана сапогом санкюлота, превратившим ее в «гражданку Капет». Маяковский, любовавшийся «трещиной в столике Антуанетты», которую оставил «штыка революции клин», оказался бы здесь не понят.

Особенно интересен психологически тонкий фильм «Прощай, моя королева» Бенуа Жако (2012). Героиня здесь, собственно, не королева, а ее чтица (была при ней такая должность) Сидони Лаборд (историческое лицо, она оставила воспоминания, положенные в основу сценария), девушка «скромного» происхождения. Королева вызывает у чтицы немой восторг. Возможно, есть в ее чувстве лесбийский оттенок, но в основе своей оно метафизично: королева для Сидони — смысловой центр мира; вынужденная покинуть ее навсегда, Сидони записывает в дневнике: «Без нее я никто». Спроецировав это чувство в «грубую» политическую плоскость, получим монархическую идею.

Но в фильме проводится и демократическая идея. Ввиду грозящей им опасности окружающие королеву придворные бегут за границу; среди них и ее наперсница герцогиня де Полиньяк с супругом. Королева велит чтице их сопровождать. Чтобы не быть узнаваемыми, Полиньяки переодеваются в костюмы соответственно горничной и лакея и становятся действительно на них похожи. А чтица, облаченная в роскошное платье герцогини, преображается и на своих вельможных спутников смотрит едва ли не свысока. Вспоминается Гюго: «знатен тот, кто верен королю». Добавим: или королеве¹.

Еще одна девушка из тех лет всегда была знаменита, но скорее худою славой. Когда Жана-Луи Давида спросили, почему в его картине «Убийство Марата» отсутствует убийца, тот ответил, что не хотел, чтобы она осталась в чьей-то памяти, что само имя ее должно быть вычеркнуто из истории. Но она все-таки осталась в памяти и дождалась часа, когда была прославлена, как героиня, — и в фильме «Французская революция», и в специально посвященном ее фильме «Шарлотта Корде» Анри Эльмана (2008). Другое дело, что отважная правнучка великого Корнеля заслуживает более искусного воплощения на экране, чем то, которое было предложено.

Стоит упомянуть фильм «Англичанка и герцог» Эрика Ромера (2001). Это экранизация мемуаров одной английской аристократки, в годы революции проживавшей во французской столице. Вот итог всего, что ей довелось увидеть и услышать: «Никогда

¹ Таковых оставалось немного. Белая армия роялистов, сосредоточенная на границе, в Кобленце, насчитывала едва четыре тысячи человек. Не случайно ее официальным гимном стала ария трубадура из оперы Гретри «Ричард Львиное сердце» (звучащая отныне в хоровом исполнении), начинающаяся такими словами: «О Ришар, мой король, мир тебя покидает!»

не было ничего более мерзкого, чем то, что творится на улицах Парижа». Фильм пронизан симпатией к роялистам, а санкюлоты выглядят в нем еще отвратительнее, чем они, наверное, были на самом деле.

Еще одна острая тема: шуаны (в расширительном смысле — контрреволюционные мятежники Северо-Запада: это Земли Луары, включая Вандею и Бретань). Телесериал «Шуаны» Филиппа де Брока (1999) рассчитан на зрителя ветреного и игривого. Кровавая брань между белыми и синими не вызывает здесь большого интереса: первые, с точки зрения авторов фильма, слишком набожны и скудоумны, вторые слишком принципиальны и жестоки. Герои фильма, местный аристократ и его жизнерадостный сын, держатся в стороне от этой «свары» и в конечном счете улетают от нее на выстроенном ими воздухоплавательном аппарате неведомо куда.

А вот другой телефильм, «Однажды на Западе» Эрика Дика (2015), от выбора не уклоняется, принимая сторону вандейского Сопротивления, в котором до недавних пор принято было видеть запоздалую реакцию Темных веков на свет Просвещения. Герой фильма шевалье де Шаретт (до сих пор в Вандее почитаемый) — воплощение рыцарских качеств, которых явно не хватает его противникам. Вандейские мятежники здесь идут в бой с пением... «Марсельезы». И это не против истории. Да, местный аббат Люссон переписал текст песни, оставив неизменной мелодию; вот ее начальные слова: «Вперёд, католическая армия,/ День славы наступил!» Кто знает, не вернется ли когда-нибудь Франция к этому, альтернативному, тексту, оставаясь верной ставшей, как кажется, неотъемлемой от нее музыке великого гимна?

Замечу, что перемене взгляда на Вандейское восстание в какой-то степени способствовала перемена взгляда на Средние века, которые редко кто уже назовет Темными. За минувший век целая плеяда блестящих французских историков-медиевистов, похоже, убедила публику, что Средневековье было по-своему великой эпохой, в некоторых отношениях затмевающей Новое время (на чем, кстати, еще в 20-х годах настаивал Бердяев в книге «Новое средневековье»).

Любопытно, что в одном из интервью режиссер Эрик Дик высказал мнение, что противостоять агрессии исламизма Франция может и должна с позиции Вандеи, ею, то есть Вандеей, когда-то вынужденно оставленной.

И наверное, никому сегодня не придет в голову снять апологетический фильм о первых лицах революции. О Марате, Робеспьере, Дантоне. В отношении того, кого при жизни называли Другом народа, общественное мнение приближается к оценке Тэна: «экзальтированный негодяй номер один». Робеспьер — сухарь, одержимый двумя *idées fixes*: добродетель и террор; ни то, ни другое не греют сегодня душу (если не считать исламистов, но о них будет сказано ниже). Жизнелюбивый Дантон еще не в столь отдаленные времена стал героем талантливого фильма Анджея Вайды («Дантон», 1982). Более того, фильм, в котором Дантон выступает противником террора, сыграл заметную роль в перемене взглядов на Французскую революцию, как и на все последующие революции; запомнилась его фраза, обращенная к Робеспьеру: «Ты хочешь поднять нас на высоты, в которых невозможно дышать». Но сегодня на роль обличителя Робеспьера был бы подобран какой-то другой персонаж, ибо Дантон сам замазан кровью с головы до ног.

Говорят, что престарелый и выживший из ума аббат Сьейес (автор знаменитой брошюры «Что такое третье сословие», вышедшей в канун революции) каждое утро отдавал распоряжение прислуге: «Если придет Робеспьер, скажите, что меня нет дома». Наверное, в метафорическом смысле эту фразу мог бы сегодня повторить едва ли не каждый француз.

Даже благородный Лафайет, один из вождей революции на раннем ее этапе, человек с фантастически яркой биографией, давным-давно не удостоивался внимания кинематографистов.

Зато среди «героев» Термидора есть колоритные персонажи, которые сохраняют

некоторое, пусть и отрицательное, обаяние. Таковы два «великих» циника, Талейран и Фуше, в фильме «Ужин» Эдуара Молинаро (1992)¹.

Как видим, на уровне образов история революции подвергается не менее, если не более, решительному пересмотру, чем на уровне исторических исследований. И конечно, охват аудитории в первом случае оказывается несравненно большим. Как писал Солженицын, художественное произведение может обладать «тоннельным эффектом» — вернее и короче проходит там, где научному исследованию надо преодолевать перевалы.

Перекличка

Дореволюционная Россия была в высокой степени самодостаточной страной, не в том смысле, что она отгораживалась от остального мира — то есть практически от Европы, — но в том, что не торопилась слиться с нею. Лучшие русские умы понимали, как выразился Версиров у Достоевского, «неотразимость текущей идеи», иначе говоря, идеи исторического прогресса, но относились к ней с большой осторожностью, не забывая опрашивать прошлое — ради настоящего и будущего.

К сожалению, росло число соотечественников, не просто принявших передовые — иногда без кавычек, чаще в кавычках — идеи, но и эмоционально возбужденных ими. Вообще говоря, такова русская душа, что она требует, как выразился в «Записках отшельника» К.Н.Леонтьев, «подвигов, восторгов, горя и борьбы», но это скорее в личной жизни, чем в общественной. И потом это лишь один из ее полюсов, а есть и другой, где она становится «испросящей нам от Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие» (из молитвы св.Георгию Победоносцу). Но «пугачевы с университетским образованием», как их называл Ксавье де Местр (брат Жозефа, прижившийся в России), эти «плохо засеянные и плохо возделанные умы», жаждали поджечь все, что устоялось веками, чтоб «заметался мировой пожар», схожий с тем, который инициировала Французская революция.

Русская революция тоже попыталась взять «верхнее до»: «Марсельеза» стала ее официальным гимном и еще при большевиках некоторое время оставалась таковым (потом ее сменил, и уже надолго, «Интернационал», тоже, впрочем, французского происхождения). Но уже в первые свои дни Русская революция показала, скажем так, дьявольское копыто и пошла по кровавому французскому следу. Как и во Франции, стихийный террор начался задолго до того, как он стал государственным. (Уже в первых числах марта моряками Балтфлота были убиты командующий адмирал Непенин и многие офицеры флота, несколько позднее в разных местах та же участь постигла других офицеров и юнкеров, духовных лиц, включая одного митрополита, а в деревнях прокатились погромы помещичьих усадеб, владельцы которых в иных случаях вырезались целыми семьями). Но по-настоящему масштабным стал террор, развязанный большевистской властью. И здесь большевистские вожди прямо вдохновлялись французским примером. Некоторые товарищи даже предлагали запустить гильотину — «заветный» инструмент «великой» революции. Но обошлось без этого, громоздкого все-таки, устройства. «Поставить к стенке» было проще.

По мере углубления революции как революционеры всех мастей, так и контрреволюционеры постоянно оглядывались на опыт «великой» предшественницы. Все ждали, одни с надеждой, другие с трепетом, что за революцией, «в свою очередь», грядут Термидор и Бонапарт. Даже большевистская верхушка, рассчитывая на успех

¹ В основу сценария положена пьеса Ж.Брисвиля. В 90-е годы, перекликающиеся у нас с Термидором, она шла в МХТ, где в главных ролях выступили Табаков и Джигарханян.

своего дела, порою видела его в более отдаленной перспективе, а пока готовила себе убежища на случай поражения.

И ведь нельзя сказать, что эти ожидания оказались ошибочными. Вся наша история до конца XX в. представляет собой большую загадочную картинку, внимательно всмотревшись в которую, можно опознать очертания и бонапартизма, и Термидора. Цель всматривания в данном случае — не игра, как это бывает с загадочными картинками, но извлечение эвристической ценности.

Есть несомненные аналогии между бонапартизмом и сталинизмом. Как и лично между Наполеоном и Сталиным. Обратимся к портрету французского императора, созданному Тэном, одним из самых интересных историков Французской революции (высоко оцененному в этом качестве Солженицыным). Корсиканец, не до конца офранцузенный, лишь на время и неглубоко захваченный революционной экзальтацией (примыкал к якобинцам, пока они были в силе), он, когда пришел его час, утихомирил взбаламученное море, приведя его в некоторое соответствие с историческим наследием. Это был тип «кондотьера XV века» (по некоторым сведениям, он и вправду был потомком флорентийского кондотьера), только очень высокого полета, попавшего в Новое время и очень по-своему им овладевшего — на тот срок, который был ему отпущен.

Сталин — горец, как и Наполеон; заметим, что в горах крепче держится память о прошлом. С юных лет впечатлен образом Кобы, героя одного грузинского романа, «благородного разбойника» патриархальных времен. Не до конца обрусел. Вероятно, не глубоко проникся идеологией большевизма (в отличие от деятелей типа Ленина и Троцкого, заидеологизированных «до мозга костей»). Во время уловив, что идея мировой революции — химера, он исподволь овладел ситуацией, уничтожив почти всех из оставшихся «старых большевиков», а из умерших своей смертью понаделав чучела. Выстроил империю из материалов, оставшихся от минувших веков, в сочетании с материалами новейшей выделки. Как и о Наполеоне, о нем можно сказать, что он был одновременно сыном революции и могильщиком ее.

Наполеон был груб (в отличие от последних королей, которые были изысканно вежливы с подданными), Сталин еще грубее. Конечно, есть между ними множество отличий. Вот одно из них, пусть и не самое главное: фигура Наполеона могла быть и была опозитизирована (дождавшись его смерти, его воспели все великие поэты Европы, не исключая России), а фигура Сталина нет (прижизненные угодники не в счет). По крайней мере, до сих пор ничего подобного, скажем, лермонтовскому «Воздушному кораблю» о нем не написано.

Термидор, если руководствоваться французским опытом, должен предшествовать бонапартизму, и действительно, некоторые его черты можно усмотреть у нас уже в 20-е годы (временное ослабление террора, свобода торговли, допущение «радостей жизни», в отличие от ригоризма революционных лет). Но более точное его воспроизведение пришлось, конечно, на 90-е. Страна упала с идеологических облаков, за которые еще худо-бедно держалась, и приземлилась самым жестким образом, притом без видимого желания подняться. Как и во Франции, у привилегированных (оставшихся таковыми с советских времен или ставших ими) на первый план вышла погоня за наживой и стремление к наслаждению жизнью. Там, как пишет Шоню, возник «новый правящий класс, сравнительно с дореволюционным более грубый, более жадный, синдикат воров, неразрывно связанный с новым порядком вещей» — и здесь произошло нечто похожее.

Самое печальное — это то, что «великая дисквалификация», как результат революции, постигла также и нашу страну. Время Сталина, во многом аналогичное наполеоновской эпохе, было временем разносторонней экспансии и усиления внешнего могущества, но успехи на различных «фронтах» (в кавычках и без) были достигнуты за счет огромного напряжения сил и порою чудовищных жертв. Это было расточение

исторических энергий, не возобновлявшихся на всем протяжении советского периода. Чрезмерно раздувшись, Россия затем резко съежилась, «усохла» и по многим признакам стала второстепенной страной (оставшиеся от прошлого богатырские доспехи, ныне «снятые со стены», лишь отчасти могут поправить положение).

Подсчитывая убытки, не следует предаваться меланхолии. Пушкин писал: «Девиз всякого русского есть чем хуже, тем лучше». Это можно понимать очень по-разному, но можно понимать и так, что коль скоро дела приняли дурной оборот, пора «собраться с духом» — задача, не терпящая отлагательства.

Назвав этот раздел моей статьи «Переключкой», я до сих пор говорил о том, какое воздействие оказала французская революция на ход русской истории, но нужно сказать и о другом: как ход русской истории откликнулся во Франции. У историков «якобинской» школы, как и вообще в левых кругах, Русская революция вызвала восторг: «дочь» повторяла черты «матери» (Французской революции), якобы подтверждая тем самым ее историческую неизбежность. Две революции «через горы времени» будто глядели друг на друга, ища «фамильного сходства». Когда С.Эйзенштейн снимал в «Октябре» штурм Зимнего дворца (которого в реальности не было), он держал в уме штурм Тюильри (который в реальности был). Но когда Жан Ренуар снимал штурм Тюильри в своем фильме «Марсельеза», то держал в уме штурм Зимнего дворца по Эйзенштейну. Большевики постоянно подчеркивали, чьими преемниками они себя считают. Правда, официальным праздником у нас стал не день взятия Бастилии, а день Парижской коммуны, 18 марта¹, более близкой по времени и чисто пролетарской по характеру. Но Коммуна была производной от «великой» революции и вожди там были помельче, не чета Марату, или Дантону, или Робеспьеру, которые становятся объектами почитания. Красноармейцы, уходящие на гражданскую войну, приносили клятву у памятника Робеспьеру, установленного в Москве в Александровском саду, или у гигантской «головы Дантона» (работы знаменитого Н.Андреева) на площади Революции в той же Москве. Их именами названы сотни улиц и переулков, набережных и площадей во многих городах России. С изменением политического климата увлечение французскими революционерами слабеет, но пережитки его еще долго остаются. В детские годы у меня была маленькая бескозырка с надписью на ленте «Марат» (такая была у многих других детей, но я своею особенно гордился, потому что мне ее подарила дочь Гюстава Лефрансе, одного из вождей Парижской коммуны) — не в честь Жана-Поля Марата, а в честь флагмана советского флота линкора «Марат», но линкор-то был назван в честь Жана-Поля (позднее ему вернули прежнее имя «Петропавловск»).

А в терроре, развязанном большевиками, французские левые видели подтверждение того, что радикальное обновление общества без него невозможно. Новая волна террора, начатая в 30-х годах Сталиным, поначалу вызвала у них некоторую озадаченность, но нашлись догадливые обозреватели, предположившие, что проживи Робеспьер дольше, ему пришлось бы продолжить дело усекновения глав и даже расширить его (не знаю, как Робеспьер, но Сен-Жюст, который и сегодня вызывает восторг у некоторых русских поэтов и особенно поэтесс, точно планировал подвести под нож еще пару миллионов французов). Но ошибались те французы, что принимали Сталина за реинкарнацию Робеспьера; впрочем, ошибка эта простительна, ибо наша загадочная картинка в 30-е годы становится предельно запутанной. На самом деле сталинский террор был разнонаправленным, но на основных своих направлениях — против «старых большевиков» и против крестьянства — он был контрреволюционным.

Но шло время, а обещанное «поющее завтра» в СССР так и не наступало; и непохоже было, что оно когда-либо наступит. Неудача, постигшая «дочь», отбрасывала

¹ В 20-е годы это был один из главных праздников: нерабочий день, с митингами и демонстрациями и т.п.

на «мать», так сказать, дополнительную тень. Публикация во Франции «Архипелага ГУЛАГ», а позднее еще и «вандейская речь» Солженицына (посетившего Вандею в 1993-м), как признают сами французы, ускорили переоценку ими своей «великой» революции.

Еще «шагает по планете»?

Ленин писал: «Весь XIX век прошел под знаком Французской революции. Он во всех концах мира только и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии»¹. Сегодня мы вправе сказать, что и XX век доделывал и начавшийся XXI доделывает начатое во Франции в те роковые годы. Мир и сегодня исполнен духом Французской революции, а точнее, ее духами (вспомним Бердяева: «Духи Русской революции») — они очень разные.

У нее есть «сестра» — Американская революция, тоже наложившая отпечаток на современный мир. Обе Атлантические революции тесно связаны, даже на личностном уровне. Лафайет, например, был участником войны за независимость в должности, ни много ни мало, начальника штаба американской армии. Джефферсон, автор изначального проекта «Декларации независимости», будучи послом в Париже, принимал непосредственное участие в написании «Декларации прав человека и гражданина» и даже пытался влиять, через того же Лафайета, на политический процесс. Здесь можно вспомнить и Франклина, ранее тоже бывшего послом в Париже, и многих других.

Еще важнее связи на идейном уровне. Американская революция совершалась не без некоторого влияния французской просветительской философии и, в свою очередь, послужила примером для французов. И американская «Декларация независимости», и французская «Декларация прав человека и гражданина» (дополненные позднее другими документами) исходили из того, что все люди сотворены равными и обладают «естественными и неотчуждаемыми правами». Обе они постулировали принцип «суверенности народа» и принцип разделения властей, гарантировали свободу слова, убеждений и т.д.

В обеих «Декларациях» были бесспорно позитивные моменты, но уже намечался перекосяк в сторону того, что в России позапрошлого века было названо «юридизмом». И что сегодня привело к «законодательной инфляции», как ее называют. «Правами человека», например, надо дорожить, но в плане межчеловеческих отношений еще важнее, каков сам человек, какова его психика. А это уже вопрос воспитания. Чрезмерная нагрузка на право искажает общую картину жизни, что было замечено не только в России, но и на Западе. Притом не только правыми, но и левыми. Среди последних, например, Жан-Поль Сартр, который писал в «Тошноте», что суть существования нельзя скрыть с помощью идеи права и что «из человека, одержимого правом, никакие заклинания не способны изгнать беса».

Конечно, когда правоохранительная система болеет, как это имеет место в России, тогда надо озаботиться тем, чтобы поставить ее на ноги, но это практический вопрос, а сейчас речь идет о мировоззрении.

В мировоззренческом плане «юридизм» — один из аспектов того, что можно назвать перевесом логического, в ущерб историческому. Историю должно верить логикой, но логика не должна подавлять собою историю. Перевес логического — особенность французского Просвещения и Французской революции. Американцы были в этом отношении осторожнее: они сохраняли в силе многие, еще английские по своему происхождению, традиции, в частности, не пренебрегали обычным правом,

¹ Ленин В.И. Соч. Т. 29. С. 342.

опирающимся на силу прецедента. А французские революционеры, демонстрируя пренебрежение «отцами», вознамерились построить с чистого листа общество, порвавшее все связи с прошлым. Идея «прекрасного нового мира» во всех его разновидностях родилась, быть может, раньше, но практические шаги к ее осуществлению были сделаны в Париже конца XVIII века.

Важнейшим отличием Французской революции от Американской стала ее антихристианская направленность, о которой возвестила уже первая редакция «Декларации прав человека и гражданина», текст которой был набран под знаком масонского Всевидающего глаза. Тогда как круг основателей заокеанской республики почти сплошь состоял из религиозных людей и был лишь слегка разбавлен деистами французской выделки. Объявив войну Богу, французские революционеры облегчили себе работу по ниспровержению земных авторитетов, успешно продолженную уже в наше время.

На этом «фронте» идейные революционеры нашли поддержку «в порывах буйной слепоты, // в презренном бешенстве народа...» (Пушкин. «Андрей Шенье»). Точнее, не народа, а городской гопоты, тогда уже размножившейся. Идейные сыграли здесь (как впоследствии и в России) роль «оводов, безумящих стада», но сами же были этими стадами увлечены и в значительной своей части затоптаны. Поставив целью создание «нового человека», они выпустили на волю древнего Хама, перед которым открывались широчайшие перспективы.

Живописцы, коим довелось быть современниками Американской революции, оставили изображение Континентального конгресса в момент, когда он принимает «Декларацию независимости». Это собрание степенных джентльменов (в большинстве плантаторов из Южных штатов), успевших хорошенько продумать решения, за которые они теперь голосуют. Сопоставьте с этой картиной Национальный Конвент — толчею крикунов, перебивающих друг друга и более всего озабоченных тем, чтобы снискать одобрение давящейся за балюстрадой черни.

Еще отличие. Французская революция с самого начала заявила о себе как мировая революция. Один из ее ведущих деятелей, жирондист Бриссо, еще до того, как соседние монархии объявили войну Франции, призывал «зажечь Европу с четырех концов». Зажечь удалось не только Европу; гаитянская революция, например, вспыхнула почти в то же время. Американцы тоже посчитали, что их опыт может иметь универсальное применение, но зажигать никого не собирались. Они обратились к остальному миру примерно с таким посланием: мы здесь воздвигли Город на холме, смотрите, завидуйте, если хотите, делайте, как мы, но без нашего участия. Лишь полвека спустя было сделано исключение для Латинской Америки: «доктрина Монро» оправдывала вмешательство американцев в дела «своего» континента; но и тогда эта доктрина подверглась критике со стороны тех, кто оставался верен заветам отцов-основателей.

Независимо от объявленных намерений, Французская революция успешнее находила подражателей, чем американская — хотя бы уже потому, что вес Франции в мире был несравненно большим, чем вес далекой малонаселенной республики за океаном. Сейчас ситуация обратная: две республики поменялись весовыми категориями. Но открывается парадокс: Соединенные Штаты, какими они стали, ведомы скорее духами Французской революции, чем своей собственной. Этот факт с грустью констатирует газета «The Washington Times» (№ от 8.10.2014): «Нас вдохновляют ныне не отцы-основатели, но Жорж Дантон, Жан-Поль Марат и Максимилиан де Робеспьер».

Французы всегда имели в глазах американцев репутацию безбожников. Сейчас слыть безбожником в США отнюдь не считается предосудительным, скорее напротив, предосудительным становится быть или хотя бы числиться христианином. До закрытия церквей, как при якобинцах, дело еще не дошло, но любые символы христианства под давлением «прогрессивных» кругов изгоняются из публичного пространства. Тем

самым выхолащивается юридическая конструкция общества, которая еще худо-бедно держится; удержится ли? Джон Адамс, один из отцов-основателей, писал: «Наша конституция составлена только для религиозных и нравственных людей, для всех остальных она непригодна»¹.

Но отцы-основатели уже не пользуются у американцев прежним авторитетом; другие авторитеты вошли в силу. За последние полвека страну будто подменили: блудный ветер принес из Европы миазмы перманентной революции, только на сей раз уже не политической, а культурной. Произошел разрыв с прошлым, эталон которого явила миру Французская революция.

Звонкий девиз Французской революции «Свобода, равенство, братство» перекрывает звучание более скромного девиза ее американской «сестры» — «Жизнь, свобода, собственность», но сам создает только путаницу в умах, ибо «свобода» и «равенство», как выяснилось с течением времени, находятся в трудных отношениях друг с другом, а понятие «братства» хиреет без привязки к заоблачным высям, которая становится все слабее. Действительно объединяющей силой, по крайней мере стилистически, становится панибратство. Плавное перетекающее в хамство. Одним из «ярких» выражений которого стала обценная речь, впервые выпущенная в публичное пространство на площадях революционного Парижа. О том, что это не «мелочь», писал тогда же заключенный в тюрьму Консьержери Андре Шенье (казненный за два дня до падения Робеспьера): «Бесстыдство речи может//Бесстыдство дела поддержать».

Американцы в этом смысле сохраняли невинность не только в годы своей революции, но и во все последующие времена, вплоть до 60-х годов XX века. Самыми крепкими выражениями, допустимыми на людях, у них считались «Damn!» и «Hell!» (то и другое примерно соответствует русскому «Черт возьми!»). Зато теперь именно американские фильмы разносят «площадную» брань по всему миру. Но историческими инициаторами этой дурнопахнущей «кампании» стали парижские санкюлоты, опровергнувшие мнение Буало, что французский — самый целомудренный из языков.

Радикально изменилась, сравнительно с прошлым (XIX и еще первой половиной XX века), и позиция Соединенных Штатов по отношению к остальному миру. Теперь они считают естественным для себя «наводить порядок», как они его понимают, во всех уголках земного шара. И это при том, что по многим признакам страна сама приходит в упадок, и, значит, для американцев как нельзя более своевременно звучит совет баснописца «на себя, кума, оборотиться».

Выше уже говорилось о том, что революция привела к от относительному упадку Франции. Историк Д.Паоли считает, что волна революций стала главной причиной «заката Европы», то есть евроамериканского мира в целом. По его словам, «революционные потрясения возвели мятеж (rebellion) в ранг инстинкта и породили мир, несущий в себе семена упадка, в котором мы сегодня живем». По поводу мятежа следует кое-что уточнить. В конституции равно США и Франции были внесены слова о том, что народ имеет «право на восстание». В этом, собственно, не было ничего нового, уже у Фомы Аквинского (авторитет №1 в католическом мире) сказано, что «человеческому множеству» нельзя отказать в *jus resistendi*, «праве сопротивляться» несправедливой власти. Но Фома же признал, что это право представляет собою удобную лазейку, куда может проникнуть дьявол; ибо далеко не во всех случаях легко бывает определить, когда следует восставать, а когда смиряться и терпеть. «Великая» революция «обновила» это право в том смысле, что сделала французов, так сказать, «легкими на подъем». Что было замечено Пушкиным: «Француз — дитя,/ Он вам шутя,/ Разрушит трон,/ Издаст закон».

Еще скользкий момент: как определить — действительно ли «множество» не желает мириться с несправедливой властью или это какая-то группа берет на себя

¹ Цит. по книге П.Бьюкенена «Смерть Запада»; режим доступа: www.rulit.me/books/smert-zapada-read-79618-53.html

смелость говорить от его имени, фактически заслоняя его собою? Популярный ныне в левых кругах Славой Жижек считает второй вариант, реализованный якобинцами, естественным и самозаконным. Что такое «якобинский дух?» — вопрошает Жижек. И отвечает: это уверенность, что в твоих руках «правда», что бы ни говорили и думали другие. «Робеспьер владел правдой; она очевидна; она очевидна и потому не нуждается в аргументации»¹. Желая его поддержать, Жижек прибегает к сравнению: дескать, подобным же образом рассуждают и христиане. Но у христиан (и это не единственное отличие) представление о правде «обкатано» в продолжение веков соборным мышлением, а якобинская «правда» — произвольная отсебятина.

Субъективную уверенность в своей правоте демонстрируют сегодня исламские экстремисты, в частности игиловцы: многие авторы, как на Западе, так и в мусульманском мире, усматривают здесь вмешательство «якобинского духа». Вот лишь некоторые примеры. Историк из США Джейми Деттмер пишет, что «борьба, которую ведет ИГИЛ на внешнем и внутреннем фронтах, уподобилась той, которую вел во Франции Максимилиан Робеспьер, посылавший на гильотину не только врагов, но и друзей, которых он счел врагами»². Сходным образом верхушка «халифата» решает, кто истинный мусульманин, а кто нет.

Арабский историк Абдулла Хамидаддин: «Мусульманский террорист — это якобинец, которому случилось быть мусульманином, а Багдади (самозванный "халиф". — Ю.К.) будет лучше понят, как Робеспьер в тюбане». Один исповедовал религию Просвещения, другой ислам, но оба посчитали, что невозможно выстроить царство добродетели, не прибегая к террору»³.

Итальянский журнал «*Stonache internazionali*» поместил карикатуру, на которой Робеспьер в своем безупречном жабо, склонившись к уху аль-Багдади, что-то ему нашептывает. Вероятно, свои любимые девизы: «добродетель» и «террор».

Канадская «*National Post*» в редакционной статье утверждает, что ИГИЛ следует «путем Робеспьера».

Английская «*The Guardian*» (в № от 9.09.2014): «Джихадисты ИГИЛа не из Средневековья вышли, они сформированы современной западной философией... и практикой террора, развязанного Робеспьером».

В подобных высказываниях западных комментаторов есть доля мазохизма, характерная для «прогрессивных» кругов на Западе: с их точки зрения именно европейская цивилизация является первоисточником всего плохого, что можно найти в Третьем мире. На самом деле мышление джихадистов движется в религиозном русле, чуждом атеистическому Западу (лично Робеспьер не был атеистом, он верил в посмертное существование душ, но его и некоторых его сотоварищей деизм был шагом к законченному безбожию). Тем не менее, хорошо известно, сколь сильно повлиял европейский опыт и, в частности, опыт «великой» революции на воображение мусульман; и если нельзя сказать, что исламский террор родился из духов Французской революции, то вполне можно допустить, что призрак Робеспьера сыграл здесь роль повитухи.

Но все чаще духи Французской революции наталкиваются в современном мире на препятствия и все чаще от них отступают. Как мы могли убедиться, это происходит и в самой Франции. Основной просчет, допущенный французскими революционерами (и повторенный их русскими последователями) был «завещан» им Веком Просвещения:

¹ <http://www.jacobinmag.com/2011/05/the-jacobin-spirit/>

² www.thedailybeast.com/articles/2015/02/06/isis-barbarians-face-their-own-internal-reign-of-terror.html

³ english.arabiya.net/en/views/news/middle-east/2015/07/11From-France-s-Robespierre-to-ISIS-Baghdadi.html

они думали, что политический проект способен создать «нового человека». Опыт показал, что, каков бы ни был политический проект, человек остается «ветхим», паче того, в настоящих условиях он разрушается (раньше других это уловили люди искусства — такие, к примеру, модернисты начала прошлого века, как Пикассо и Стравинский), и теперь, наверное, пришло время «собрать» его заново. О том, что он и в современном мире способен сохранять некоторую цельность, свидетельствует грозный ислам, поставивший антропологию впереди политики и этим уже перечеркивающий претензии Французской революции на универсализм.

Да и политический проект, реализованный во Франции, хотя он и содержит немало ценного, далеко не безупречен. В академических кругах Европы, в первую очередь Франции, которая всегда была средоточием идейной борьбы, обсуждаются различные, в чем-то альтернативные варианты демократии, такие как демократия «малых пространств» (классический афинский вариант), цензовый парламентаризм и некоторые другие. Во Франции растет число монархистов (рассматривающих монархию как форму демократии), еще в недавние времена близкое к нулю; в частности, в составе партии Национальный фронт существует монархическое крыло, возглавляемое вторым человеком в партии Марион Марешаль Ле Пен¹.

Закон маятника, действующий в истории, еще никто не отменял, но нельзя допустить, чтобы обратный ход его был слишком резким.

Возвращаясь к теме Русской революции, напомним, что глубокое и всестороннее осмысление ее мы находим в работах «веховцев» и их наследников в эмиграции. По их стопам пошел и Солженицын, создав грандиозную панораму «Красного колеса», представляющего собой не только роман, но и историческое исследование (часть романа, набранная петитом). Так что настоящим и грядущим исследователям (как научными, так и художественными средствами) Русской революции есть от чего отправляться и на что опираться. Но конечно, то, что думают о ее «матери» французы, может как-то скорректировать наши суждения о «дочери».

И не забудем главное: осмысление революции (их и нашей) решающим образом влияет на осмысление предлежащего пути. Революция в умах уже совершилась, писал Вольтер задолго до 1789 года. Похоже, что новая революция в умах назревает в наши дни.

¹ Отчасти монархическое движение обязано своим успехом харизматичности нынешнего главы Дома Бурбонов герцога Анжуйского (по счету легитимистов Людовика XX).

Андрей Русаков

Страна разных скоростей

Представим себе три типа обращения с общественной мыслью, различающиеся не по содержанию, а по стилю поведения — *ведения мысли*.

В одном случае ваш собеседник, представляя некий круг идей, с интересом всматривается в окружающих, в рассказы и доводы оппонентов, ему любопытно узнать что-то новое и неожиданное для себя; за его открытостью просвечивает внутренняя уверенность в неслучайности своих убеждений, укорененность взглядов в жизненном опыте; критику своих воззрений он склонен рассматривать как повод для их развития.

Оратор второго типа защищает заданную идейную позицию в силу обязанности, не особенно за нее переживая; вменяет по должности противоположную доктрину — столь же благодушно будет отстаивать ее.

А вот в третьем случае обстановка выглядит менее психически здоровой. Ваш собеседник от реплики к реплике «накачивает» себя верой в исключительную правоту своей позиции. Тональность его обращений может быть разной (яростной, иронично-язвительной, надменно-поучающей, доброжелательно-извиняющей), но единственная его задача — не дать в обиду те убеждения, в надежности которых сам он не очень-то уверен. Его позиция жизненна в том смысле, что давно слилась с его самосознанием, принята в привычной социальной среде, делает комфортными размышления человека о своем месте в мире. Но она остается бутафорской, поскольку за ней нет надежной правды личного опыта, а потому последствия столкновения удобной для человека системы взглядов с неудобной реальностью не совсем предсказуемы.

Вероятно, расцвет именно третьего стиля интеллектуальных бесед объясним исторически. В годы перестройки миллионы советских людей внезапно оказались перед необходимостью выбора мировоззрения — и большинство осуществило его на негативной основе: *буду придерживаться таких-то взглядов, потому что противоположные мне точно не по душе*. Воззрения выбирались разные, но популярность их оказывалась пропорциональна тому, насколько спокойнее человек мог спрятаться за «объясняющей силой» концепции от реального мира, от сложности совершавшихся вокруг событий; получить от своих новых воззрений индульгенцию на право неучастия во всем, кроме самообеспечения.

Прошла уникальная в истории волна «выбора веры»: «веры» принимались многими людьми не как своды определенных моральных правил, а как поводы гордо

Русаков Андрей Сергеевич — обозреватель издательского дома «Первое сентября», директор АНО «Агентство образовательного сотрудничества», автор книг «Эпоха великих открытий в школе девяностых годов» (СПб., 2005), «Уходящие перспективы. Школа после эпохи перемен» (М., 2000; 2-е изд. — СПб., 2014), «Школа перед эпохой перемен. Образование и образы будущего» (СПб., 2014). В «Дружбе народов» (№1 за 2016 г.) была опубликована его статья «Ответственность культуры и культурное многообразие», вызвавшая отклики авторов из России и стран СНГ.

и обоснованно отказаться от любых моральных императивов, равно как и от усилий к изменению жизни вокруг. Отсюда — неснимаемые шоры, потеря слуха, потеря обзора, сужение взгляда до прищура, а голоса до попыток направленного внушения: «Слушай, что я говорю тебе!»

Факт «плюралистической» множественности односторонних концептов за тридцать лет лишь сплел из них непробиваемый диковинный конгломерат, массовые джунгли слепоглухонемого переругивания; органической частью этих джунглей оказался и слой «экспертов-интеллектуалов», годами тянущих каждый свою ноту.

Такова необходимая преамбула к статье.

Теперь попробую кратко сформулировать свои тезисы.

Первый тезис. У того печального положения дел, в который плавно проваливается страна, большой список причин. Но в отсутствие даже гипотетического просвета во взглядах на будущее России ключевая проблема — не только реальные обстоятельства, но и паралич общественной мысли. И с ним можно пытаться справиться.

Второй тезис. Наша страна живет в общественных укладах различных типов — так дела будут обстоять и через двадцать, и через пятьдесят лет. Но монологические концепции выработали привычку к поиску тотальных решений: в единой логике для всей страны. Провозглашаемые цели и ориентиры подобных реформ в лучшем случае адекватны социальным слоям и сообществам одного уклада жизни и неадекватны всем остальным, разрушительны для них. На мой взгляд, уже не предвидится таких тотальных решений (кроме решений по отмене прежних тотальных глупостей), позитивные последствия которых для одних общественных слоев перевешивали бы негативные последствия для многих других и не вели бы страну в целом к дальнейшей деградации.

Третье утверждение. Как научиться вместе жить по-разному и при этом меняться к лучшему? — таков ключевой вопрос русского будущего. Он связан с переходом от традиций отчужденности и взаимной подозрительности к практикам доверия и взаимной поддержки между людьми, обладающими качественно разным жизненным опытом и мыслящими по-разному.

Четвертое утверждение. Именно успех в становлении практик и норм взаимоподдерживающего развития разных укладов жизни может определить место России в завтрашнем мире, ибо драма нарастания социальной сложности — общемировая проблема, и многие (если не все основные) конфликты общественной жизни развитых стран связаны именно с этим. Не нефть и не «духовность», не экономика, технология или геополитика, а значимые для всего мира общественные практики могут стать вкладом России в XXI век. Увы, не потому, что Россия более готова к ним, чем другие страны (во многих отношениях наоборот), но именно для российского общества эта задача становится условием и мирного развития, и самого национального выживания.

Глава I. Опыты жизни и культуры мышления

Весной 1918 года академик И.П.Павлов выступил в Петрограде с двумя публичными лекциями «Об уме вообще и русском в частности». Начинались они так: «Мотив моей лекции — выполнение одной великой заповеди, заветной классическим миром последующему человечеству... Заповедь эта очень коротка, она состоит из трех слов: "Познай самого себя". Если я, в теперешнем своем виде, никогда пению не учившийся, воображу, что обладаю приятным голосом и исключительным дарованием, и начну угощать моих близких ариями и романсами, — то это будет только забавно. Но если целый народ, в своей главной низшей массе недалеко отошедший от рабского состояния, а в интеллигентских слоях большей частью лишь заимствовавший чужую культуру, и притом не всегда удачно, народ,

в целом относительно мало давший своего самостоятельного и в общей культуре, и в науке, — если такой народ вообразит себя вождем человечества и начнет поставлять для других народов образцы новых культурных форм жизни, то мы стоим тогда перед прискорбными, роковыми событиями...»

Многое изменилось с тех пор; «низшая масса народа» от рабского состояния все-таки отошла значительно, российская научно-техническая мысль в XX веке проявила себя далеко не только подражательной, зато и амбиции «поставлять для других народов образцы новых культурных форм жизни» если и демонстрируют ныне, то откровенно бутафорски. Но презрение к здоровым оценкам «культурных форм российского будущего» сохранилось.

Их обсуждают, основываясь не на возможностях страны, а на личной приверженности одной из доктрин, прижившихся в стране за последние лет тридцать. Верность доктрине предполагает и веру в тотальность ее реализации; но, увы, слишком заметно, что каждая из них устремляется к абсурду при первых же шагах к своему воплощению.

...Вот вера в возрождение мировой державы, гордо противостоящей всему остальному человечеству: уже наглядно видно, что дальнейший прогресс на этом пути гарантирует изоляцию, техническую отсталость и суверенную демократию в стиле чучхе и Зимбабве; не величие «Четвертого Рима», а роль архаичного государства-недоразумения, всемирного объекта для анекдотических газетных заметок.

...Вот требование как можно более скорого установления европейских демократических норм: при том, что большая часть населения страны ни с каким гражданским обществом в своем опыте жизни не сталкивалась и куда более склонна поверить в разумное начальство, чем в собственное умение договариваться. В связи с желанием обойтись в ходе развития демократии без участия «отсталого» населения либеральные лозунги на наших глазах плавно трансформировались в полуфашистские политические практики.

...Вот вера в особый евразийский путь развития, с умильным преклонением даже не столько перед философами-евразийцами начала XX века, сколько перед Л.Н.Гумилевым. Один нюанс: буквально по всем указанным Львом Николаевичем симптомам наш «суперэтнос» находится в стадии агонии, «обскурации»¹. Если в полной мере доверять гумилевской симптоматике, то энтузиастам российского евразийства остается «надеть простыню и ползти на кладбище».

...Вот хлесткие фразы (со ссылками на австрийскую экономическую школу и цитатами из трехтомника Айн Рэнд) про крупный бизнес, который двинет вперед всю страну, стоит только дать ему развернуться, устранив препятствия со стороны властей, законов и общественного мнения; особенно мило звучал этот гимн свободной конкуренции в годы, когда именно чиновники определяли, какому какой крупности

¹ См., напр., Гумилев Л.Н. «Конец и вновь начало»: «Начинает господствовать императив "Будь таким, как все", т.е. не стремись ни к чему такому, чего нельзя было бы съесть или выпить. Всякий рост становится явлением одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость. В искусстве идет снижение стиля, в науке — оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция, к власти приходят циничные авантюристы, играющие на настроениях толпы... Столица высасывает все соки из провинций, средства идут на обустройство жизни "золотого миллиона". Все продажно, никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться, и для того чтобы властвовать, правитель должен применять тактику разбойничьего атамана... Здесь господствуют консорции, только принцип отбора негативный. Ценятся не способности, а их отсутствие, не образование, а невежество, не стойкость в мнениях, а беспринципность... При этом может сохраняться богатая культурная традиция, огромная территория и государственная структура, но потеря действенной энергии приводит систему в состояние этнической старости, а все общественные и политические структуры к разложению».

бизнес положен, а назначенные миллиардерами комсомольцы окружали себя не только трехметровыми заборами, но и армиями спецслужбистской охраны (имеющей обыкновение из охраны превращаться в караулы).

...Вот идеалы «государственничества», или «солидаристского» строя, организуемого по заветам 1920-х годов: защита «традиционных ценностей», державная «гармонизация» интересов рабочих и работодателей, милитаризация экономических приоритетов, оценка крупной собственности как лишь условно переданной государством в управление, «обратная связь» власти и общества через организованные самой властью структуры, движения, советы, профсоюзы и т.п. Эти нелучшей исторической памяти идеалы по преимуществу уже стали основой политической жизни, но с каждым годом выглядят все более убого, срабатывают все хуже, люди стараются из-под них ускользнуть, а для подпорок равновесия власти приходится искать какие-то инородные средства.

Список можно продолжать.

Взаимоисключающие литературные образы российского будущего, сформированные в начале и середине XX века и подхваченные в годы перестройки, реализовались в современной России комплексно и карикатурно.

Но виноваты в таком результате все же не сами по себе теории евразийского или европейского выбора, не Айн Рэнд и даже не Иван Ильин, а то, как с их взглядами обращались.

Ведь любую гуманитарную теорию можно использовать в качестве оружия или инструмента: как идеологическую дубинку, отбиваясь ею от инакомыслящих, — или как способ понимания жизни в каких-то аспектах, разработанный интеллектуальный ресурс, помогающий при выборе вариантов конструктивных действий.

Три новые привычки представляются мне необходимыми, чтобы размышления о национальном будущем смогли вырваться из заколдованных кругов:

а) использование гуманитарных теорий в качестве инструментов, а не идеологических знамен;

б) признание множественности стратегий развития для разных общественных укладов (а также поиск средств для согласования этих стратегий, дабы они не гасили, а поддерживали друг друга);

в) ориентация на долгосрочные перспективы, терпение и сдержанность: соблюдение правил человечности, милосердия и здравого смысла важнее «выигрыша в темпе» за счет очередных насильственных экспериментов (результат часто менее важен, чем цена, заплаченная за него; настоящий путь ведет дальше первоначальной цели, он значительнее нее).

В любом случае доброе и умное российское будущее — это возможный результат долгого пути, требующий согласованных усилий нескольких поколений, а не политическое решение «по моему хотению». Но само начало движения по такому пути и с подобными правилами уже оздоровит обстановку в стране.

* * *

Попробуем сопоставить уклады современной российской жизни (и формируемые ими типы мировосприятия), представители которых с трудом понимают друг друга. Применим для этой цели и собственные наблюдения за хорошо знакомыми практиками социальных и деловых отношений и «сетки классификаций» из нескольких социологических теорий. Конечно, получится лишь одна из версий взгляда на вещи, но постараемся сделать ее сколько-то подробной.

Выбирая характеристики, я воспользуюсь идеями разных книг — представляющих теории «стадий» исторического развития, теории перехода между разными состояниями общества, теории развития человеческого потенциала (в особенности пригодится наиболее богатая различениями модель «спиральной динамики», предложенная Клером

Грейвзом и развитая его последователями¹). При этом для нас будут важны не механизмы функционирования того или иного уклада жизни, а типология восприятия жизни, взгляды на мир. Как люди понимают свое место в нем? Какими видят законы, управляющие миром? Что считают допустимым для себя и должным для властей? Кто для них «свои», а кто «чужие»? Что считают определенным, а что сомнительным? На что склонны надеяться?

Вот наметившийся у меня рабочий перечень:

Мир своих: семейный («клановый») круг, пытающийся адаптироваться к непонятным обстоятельствам.

Мир силы и удачи: «мир-джунгли», авантюрный, героико-бандитский мир.

Мир-традиция: патриархальный мир вечных законов, прочных обычаев, устойчивых сословий.

Мир иерархий («патерналистский мир»): мир классификаций, табелей о рангах, верных сотрудников, «отцов отечества» и «настоящих хозяев».

Мир-порядок — индустриальный мир плана, расчета, технических регламентов и научных законов.

Мир-проект — мир бизнеса и договора, умной воли, цели и результата.

Мир-согласие — «зеленый», экологичный мир устойчивого развития; мир гармонизации интересов, сопричастности, взаимной поддержки.

Мир-калейдоскоп — сетевой, комбинаторный, вероятностный мир «третьей волны».

Попробуем взглянуть на вещи изнутри каждого уклада жизни, признать естественным за каждым из них страх перед «жизнью по-другому» и понять, за счет чего такой страх может преодолеваться.

В более полном варианте статьи (который можно прочитать на сайте журнала) я постарался повернуть эти уклады жизни разными гранями, чтобы читатель смог признать в каждом из них нечто знакомое из собственного опыта. Но надеюсь, что даже краткий набросок, представленный далее, позволит заметить, что привычные антитезы полярных позиций («своей и неправильной») потеснятся «многогранниками» противоречий между несколькими способами миропонимания. А многое из того, что именуют сегодня «межнациональными проблемами», на деле покажется следствием контрастов в социальных привычках, не так уж существенно этнически окрашенных.

Итак, пунктирный обзор предложенного перечня.

Мир семейной солидарности

Его девиз можно сформулировать коротко: *«Держись своих!»* Или чуть обстоятельнее: *«В загадочном мире, полном опасностей, — держись своих, не верь чужим!»* Главный закон понятен: прав наш человек или не прав — он наш. «Свои», «родственники» связаны общими преданиями и табу, круговой порукой, верностью заветам предков и общей судьбой.

Общее дело — адаптация, приспособление к непредсказуемому миру, в котором мы оказались; своего рода «собирачество» благ в жизненном лесу, где нет шансов не то что повлиять на его законы, но даже рационально их постигнуть.

Типичный вариант — мигранты. Их прибывает к тому или иному берегу, где есть надежда закрепиться и чего-то достичь. Для этого надо суметь интуитивно встроиться

¹ Теория Клэра Грейвза (см. о ней, напр.: Бек Д., Коуон К. Спиральная динамика. Управляя ценностями, лидерством и изменениями в XXI веке. М., 2010; Пекар В. Разноцветные миры. Популярное введение в спиральную динамику / Эл. публикация <http://www.pekar.in.ua/ColouredWorlds.htm>) наиболее близка и по постановке задачи; многие ее определения будут далее узнаваемо использоваться.

в какую-то случайную нишу и умиротворить таинственные силы, владеющие этим местом. Конечно, до больших богов далеко, но вот задобрить мелких местных божков, от которых непосредственно зависит твое выживание, — необходимо. В древности это были олицетворения рек, дождей и лесов, а в джунглях цивилизации — это лица местной бюрократии, государственных или криминальных силовиков, людей местечковой власти и богатства. Нельзя вполне понять, как устроена их жизнь, но можно попробовать кого-то из них ублажить, снискать благорасположение, приспособиться, стать для них чем-то полезным и сделать свое положение сколько-то устойчивым.

Если же удастся пустить корни, то любая захваченная кем-то административная ниша или предпринимательская позиция — это уже не личное, а семейное достояние.

Идеал — достижение первобытной гармонии: все в безопасности и сытости, таинственные власти ублажены, все чтят старших, держатся семейных правил и на свадьбах собираются за общим столом.

«Семейный мир» благодарен покровителям, социально беспомощен, культивирует лояльность к властям и осторожную доброжелательность к встречным.

Но часто крохотные вселенные «семейных миров» трещат по швам и грозят полным крушением под гневом властей и стихий. Тогда из них выходят герои и бандиты, одновременно бросающие вызов и бессилию, и «общепринятым нормам морали», и божкам, которым привыкли тащить подношения.

Мир крутых героев

Главный закон стал еще проще: *«Сила — право»*.

Впрочем, этот мир уже не первичен, у него возникла глубина, и этика для публичной презентации заимствуется из «семейного мира»: предками гордимся, своих не бросаем, за обиду родича отомстим, справедливость — как мы ее понимаем — восстановим. (Хотя на деле вся эта бравада реализуется в меру сил, по обстоятельствам.)

Мир — джунгли, но теперь мы уже не пристраиваемся и не выпрашиваем, а берем свое с боем. Жизнь «на всю катушку», здесь и сейчас, яркая и необычная, достойная войти в легенды.

От персонажей Гомера до революционных матросов, от викингов до гангстеров, от монгольских богатырей до современных диктаторов, от конквистадоров до «новых русских» — эстетика и энергетика варварства щедро наполняют мировую историю и культуру.

Великий поведенческий идеал варварского мира — «Видеть цель, не видеть препятствий, верить в себя» — движет множеством активных людей. Он особенно нежно любим Голливудом и российскими киностудиями. Глобализация сделала кино для подростков на варварские сюжеты всемирным мейнстримом, визуальным эсперанто; ведь оно подходит для всех обществ, независимо от меры развития.

Конечно, не всем быть главными действующими лицами; есть место и для второстепенных. Для них свой лозунг: *в охоте за лучшей участью — держись удачливых героев!* Сильные побеждают, более слабые им служат, а совсем слабовольные прячутся по щелям.

«Силовые» организации лидерского типа выглядят проще других и создаются при благоприятных условиях легче. Отношения циничны и просты. Авторитет лидера основан на его воле, подкрепленной деловыми успехами. От сотрудников ожидают подчинения и результатов. Сотрудники верны организации (терпя неизбежные унижения) постольку, поскольку шефу сопутствует удача и добыча. Если организация и растет, то все равно управляется неформально, в меру личного доверия (власть распределяется не иерархически, а кругами: от «ближнего круга» к менее доверенным лицам; борьба за «близость к телу» — основной предмет внутренних интриг).

Мир законов, сословий и традиций

Азартную войну всех против всех сметает волна удивительных перемен. К людям словно снисходит Благая весть: Создатель не бросил нас в дикий лес жалкими игрушками фортуны, Он положил в основу мира незыблемые законы, мудрые и милосердные. Все наши несчастья от того, что по глупости, греховности или неведению мы не замечали их и уклонялись к гибели.

Круги человеческой солидарности стремительно расширяются:

— мы — это Мир: мир-община уже не родственников, а соседей;

— и мы — это Мир: часть общего порядка Вселенной.

Чужак — не тот, кто явился издалека, а тот, кто чужд установленным правилам и угрожает им. Так на смену бесконечным варварским стычкам приходят мир-ненасилие и мир-добрососедство. (Правда, зачастую это лишь надежды на них, но подкрепленные убеждением в естественности именно такого порядка вещей.)

«Доверься законам, данным свыше!» — вроде бы так должно звучать главное правило бытия. Но в жизни все несколько тоньше. Законы даны давно, в священных книгах мало кто разбирается, кроме людей особой учености или духовной силы. Зато вечные законы уже встроены в правила нашей повседневности, зашифрованы в ритуалах, ими очерчен годовой круг трудов и праздников. Бытовая жизнь теперь пронизана символикой высшего порядка вещей. Поэтому подлинный девиз звучит скорее так: *«Доверься мудрости обычая!»*

Его дополняет характерная присказка: «Где родился — там и пригодился». Каждый человек приходит на свое место в мире; его забота — не поиск лучшей доли, а исполнение высших заповедей и своего предназначения на том месте, что уготовано ему от рождения.

Здесь проходит граница между «варварством» и «цивилизацией»; между миром эмоций, энергии и личного опыта — и миром Веры и Разума, утверждающих свой универсальный характер.

Роды и племена сливаются в народы; рождаются истоки глубинной («извечной») народной мудрости, формируется уникальный склад языка, настраивающего мышление. Ткань общественной жизни причудлива, мастерство хозяйственного выживания передается не в школах и не по инструкции, а как искусство — из рук в руки; в картине мира прочный здравый смысл, сметка и веселое хитроумие плавно переходят в живописные сказочные представления и готовность самим же над ними подтрунивать.

Понятия о народном самосознании, национальных традициях, народном характере в конечном итоге коренятся здесь, в общинном и патриархальном уровне мировосприятия и ведения дел.

Мир карьеры и субординации

Его девиз: *«Держись толковых хозяев!»*

Здесь-то нам все до боли знакомо. «Крепкие хозяйственники», энергичные руководители и баловни фортуны от потемкиных до лужковых; их верные свиты, оттирающие друг друга от должностей; пейзажи потемкинских деревень и испытывающие неустанную начальственную заботу «бюджетники»; приветствующие начальство актеры крепостных театров и нарядно одетые школьники, выстроенные в линейку; табели о рангах и табели с оценками.

Теперь то, где ты и кем родился, не обязательно определяет твоё будущее; в этом мире можно и нужно выбиваться из грязи в князи — и плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. «Социальные лифты» покатались вверх.

Человек, конечно, не хозяин своей судьбы, но в его воле — не прозевать

выпадающий случай, вскочить в счастливый вагон, лифт, на подножку кареты, встать в правильный строй и в нужную секунду сделать два шага вперед.

Здесь царит мир не столько хозяйствования, сколько завоевания и распределения; раздачи поместий, званий и ценных подарков, но многое упорядочивающий, соотносящий, связующий, умеющий «мобилизовать ресурсы» и обеспечить личностный рост.

Как варварский мир помнит об этике «верности своим», так мир иерархий рад представить себя (искренно или лицемерно) «гарантом стабильности», защитником морали и народных традиций, попечителем и благотворителем, кормильцем просвещения и благодетелем добропорядочных граждан.

При этом вера в вечные законы уже балансирует на чашах весов с рациональными науками и техническими навыками. Бога чтим, но и Вольтера почитываем. Прогнившие «феодальные лестницы» заменены свежеструганной регулярной администрацией. «Научное мышление» пока весьма специфично, от точных теоретических выкладок далеко. Эффективны не сложные умствования, а единообразие, субординация и согласованность маневра.

«Свои» — это теперь вассалы одного сюзерена и люди одной выучки. Чужаки — все остальные. (Здесь — «сотрудники», там — «терпицы»; мы — служивые, а те — шпаки-штафирки; мы — как-никак дипломированная интеллигенция, а они — темные массы и идиоты-чиновники; мы — государевы люди, дело знающие, а те — либеральные болтуны; мы — простые работяги, всех их прошелыг-дармоедов кормим и т.п.).

Каждая развитая иерархия — по-своему спецслужба. У каждой — свои чрезвычайные обстоятельства. Потому никаких всеобщих законов здесь не предполагается (кроме как для обывателей, да и то — невесть зачем). Реальные законы — это «понятия» (в каждой иерархии свои), высокие искусства умного нарушения уставов. Понимание того, что кому по чину положено, какие неформальные правила приличия той или иной формальной субординации сопутствуют, какие приказы надо немедленно исполнять, а какие и подождут, что хватать, а обо что и обожжешься.

Свои — те, кто умеет жить «по понятиям». Чужие — те, кто в наших понятиях путаются.

Здесь тщательно прорабатываются формы той бюрократии, той армии, той тюрьмы и той средней школы, которые будут завещаны индустриальному миру.

«Центр тяжести» общественно-деловой жизни современной России, по всей видимости, располагается именно в иерархических отношениях патерналистского мира. Это, увы, можно расценить как заметную деградацию с позднесоветских времен, где центр тяжести располагался все-таки на более сложном, «индустриальном» уровне. (Вот Белоруссия, например, смогла то советское положение дел сохранить и усовершенствовать.)

Мир-порядок, мир-индустрия, мир-механизм

Девиз индустриального мира: «Найди свое место и будь ответственным!» Или чуть подробнее: «Найди свое место в Большой Системе, где все заведено как должно».

На место умозрительных классификаций эпохи Просвещения пришли законы Ньютона и уравнения Максвелла, тщательные исследования и строго доказанные теории. Закон и Порядок — уже не замшелые предания и не трусливая самозащита властных иерархий. Это научный закон и выводимая из него технология. Правила, инструкции, стандарты, отчеты воплощают выводы «научного планирования». Все прошито бюрократией, но бумажные табели прежних иерархий претворены в порядок взаимодействия, скованный стальной логикой производства и точным хронометражем.

Теперь действительно все «заведено», отсчитывает и перещелкивает, семь раз отмеряет и миллион раз отрезает; органика сменилась механикой, логика распределения

решительно потеснена промышленными ритмами. Слаженность производственных функций, точность действия, минимализм обстановки на конкретном рабочем месте, степень выработанного автоматизма в исполнении обязанностей — основы глобального успеха предприятия. От сотрудников ожидается уже не простая верность начальству, а неукоснительное соблюдение правил. Рабочее место должно быть исчерпывающе описано в должностной инструкции (что подчеркивает мифологему «здесь незаменимых нет»); подобные описания специфичны для каждого типа рабочих мест, но в идеале якобы сцепляются в стройную общую систему.

Ключевые достоинства организации — стабильность, дисциплина и бесконфликтность. Скепсис по отношению к инициативам, высокие издержки, ориентация на процесс более чем на результат — все это не такая уж высокая плата за прочность положения.

Квалификация и ответственность — ключевые характеристики человека в «мире порядка». Соответственно, безграмотность и безответственность — два главных греха и любого сотрудника, и любого начальства индустриального мира. Потому нормальное отношение к власти здесь не априори умиленное или враждебное, а рациональное и градуированное: руководство всегда поругивают, но в разной степени: от добродушно-одобрительной иронии до жесткого презрения.

Отдельный человек впервые наглядно автономен, «свободен» — и впервые зримо поработан механическими силами. Мир становится универсальным, зато человек — дробным.

Происходит перетягивание человека между машинальным и собственно человеческим способами жизни: на призрачную свободу нерабочего времени всецело претендуют индустрия развлечений и стандартизированные формы досуга; зато и люди тянут за собой человеческие ценности, страсти и привязанности внутрь производства.

Индустриальный ритм, «засушивая» деятельность человека, порождает невиданную эмоциональную жажду. Массовое распространение высокой поэзии и прежде элитарного искусства становится противовесом механическому порядку вещей; музыка окрашивает камерные общественные пространства равно у богатых и бедных; развлекательный фейерверк впечатлений, эмоциональное утешение или трагическое возвышение душевных чувств навязывают высокие и низкие жанры киноискусства. Сама индустриальная революция идет рука об руку с причудливой эстетикой модерна (не зря же они обоюдно просвечивают за термином «модернизация»).

Мир-проект, мир-бизнес, мир-договор

Главный девиз: *«Договаривайся и достигай успеха!»* Главное слово — развитие.

Перед нами множество ресурсов и возможностей, чтобы сделать свою жизнь лучше и достичь процветания. «Успех» — ключевое понятие *мира-проекта*, самоцель для людей, борющихся за доказательство себе и другим тезиса «Я способен на многое!»

Эмоциональный напор и внимательный расчет, индивидуализм и командный дух, конкуренция и сотрудничество, эгоизм и самоотверженность, эгоцентризм и искусство понимания других, организованность и импульсивность, четкость публичной позиции и защита интимности домашней жизни — все это даже не противоречия, а целено сплавленные черты в характерах людей «проектного мира».

Здесь вступают в Большую Игру за лучшее будущее — притом в честную игру. Людей «мира-порядка» приучают, как *должно жить* по заведенным правилам; с людьми «мира-проекта» обсуждают, как *возможно действовать*, а также то, как правила возникают, устанавливаются и меняются.

Комичным выглядит здесь разделение «работы» и «свободной жизни для себя»: твой проект, твое предприятие, твой бизнес — это и есть твоя жизнь, ее квинтэссенция. И наоборот: ни одно дело не оживает, пока кто-то не вложит в него душу и не начнет

двигать его щедрой отдачей жизненных сил, увлекая других своим азартом. Каждому нужно войти в команду или собрать свою: большие проекты не делаются в одиночку. Команда строится на общем понимании задач: «собрать команду» означает найти единомышленников, готовых принять с тобой общие цели и общие риски.

Так перед нами открывается первый подлинный Мир Будущего. Его обитатели уже находятся в завтрашнем дне, поскольку живут предвосхищением событий, они втянуты в будущее намеченным и воплощаемым замыслом.

Даже ориентиры типичной семьи переворачиваются из прошлого в будущее: семья отрывается от старших поколений; теперь — это супруги и их дети, а также их непредсказуемо-изменчивые планы. Казалось бы, мир семейных ценностей должен быть сметен динамизмом и вольностью «проектных миров». Но в сравнении с планово-индустриальным образом жизни он существенно прочнее. Семья — тоже своего рода команда. Даже в расчетах экономистов как базовый субъект макроэкономики и социальных отношений рассматривается теперь не частный, оторванный от всего человек-рабочая-сила, а именно локальный семейный мир, «домохозяйство».

Домохозяйство, заботящееся о своем лучшем будущем, и предприятие как группа единомышленников, ведущих общее дело — таковы самые распространенные «атомы» во вселенной договорных отношений. Впрочем, формально именно отдельный автономный человек признается основным субъектом права и главным источником права как такового.

Царившие прежде *закон силы, закон обычая, закон «понятий», закон-инструкция* — все это уже юридически ничтожные вещи. Единственный настоящий закон — договор. Договор, заключенный между людьми или предприятиями, становится для них законом собственного изобретения. Но и любой акт правовой системы государства имеет своим основанием не предания веков, а некогда утвержденный «Общественный договор» — ясный, публичный, рациональный, заключенный между равноправными участниками и подлежащий пересмотру по установленной процедуре.

Собственно, только здесь впервые и утверждаются Право и Закон в том смысле, в котором их тщатся отображать в учебниках обществоведения.

Роль человека в бизнес-команде определяется не его должностью, а умениями, опытом и тянущимся за ним шлейфом успехов. Многие функции, которыми на предприятии «мира-порядка» занимаются специальные отделы, здесь распылены среди множества людей по всей организации. Под решение конкретных задач создаются проектные команды, включающие сотрудников различной специализации (работающих притом в нескольких командах одновременно); после решения задач состав команд меняется.

Наводящие вопросы вместо приказов, подсказки и корпоративные легенды вместо должностных инструкций, учет *компетентности* вместо *квалификации*; рабочий день слабо нормирован, чинопочитание отсутствует, границы между подразделениями размыты, распределение обязанностей — условно и переменчиво. Для людей из «карьерного» или «индустриального» миров работа в такой бизнес-команде — сущий ад.

Впрочем, есть и утешение: команда не может быть слишком крупной; в рамках даже очень большого предприятия автономных и эффективных бизнес-команд редко можно насчитать более двух десятков, а общее число их участников не превысит сотни-полсотни человек. Но ограниченная численность не мешает людям бизнеса эффективно манипулировать структурами другой природы: «парить» над цехами «индустриального мира» и бюрократическими конторами; сторговываться с патриархальными общинами, подключать экспертов из «мира-согласия», сговариваться с охранниками из «мира бандитов и героев» и т.п. (Впрочем, субординация может быть и обратной: большая корпорация окостеневает до чисто бюрократических форм управления, но, желая двигаться вперед, привлекает к себе активные группы предпринимателей или изобретателей, решающие ее проблемы развития.)

Нет бизнеса без поиска партнеров и умения с ними взаимовыгодно договариваться. Но даже явные конкуренты — отнюдь не враги, а тоже соратники, но иного рода: пусть они мешают нам зарабатывать деньги, но мы вместе создаем и развиваем социальную среду для самой возможности такого бизнеса, как наш. Так Илон Маск объявляет бесплатную раздачу патентов Tesla Motors, хотя патентный портфель — самая надежная собственность для высокотехнологической компании; общее развитие рынка электромобилей ценнее локальных преимуществ.

Перед нами образ жизни, настроенный на конкуренцию в той же мере, что и на сотрудничество. Происходит лишь намечавшийся на индустриальном уровне переход от стратегии «если кто-то выиграл, то кто-то проиграл» к логике «выигрыш-выигрыш». В мирах, ориентированных на прошлое и настоящее, приходится делить то, что есть; претендуя на хорошее место — надо кого-то с него согнать. Зато в мире, ориентированном на будущее, хороших мест может быть сколько угодно — только успевай прилагать умные усилия для их создания.

Мир-согласие

«Согласие важнее успеха, а самые главные вещи не имеют цены!» Таков девиз мира, для которого естественный закон — сопричастность.

Для него характерны внимание к потребностям и особенностям других людей, поиск комплексных решений вместо линейных и односторонних, «синтетический» стиль мышления, привычка радоваться радости других, равновесие интуитивного и логического, защита прав каждого и мира вокруг.

Идея демократии перестает быть частью проблематики большинство/меньшинство, а утверждается как принцип общественной защиты человеческого достоинства. Теперь это вопрос не о власти, а о нормах взаимодействия. Воспользуюсь афористичным высказыванием датского педагога, участника Сопротивления в военные годы и лидера движения высших народных школ: *«У нас есть всего два пути в поисках выхода из любого конфликта. Первый путь: можно драться за свою правоту, и это будет означать, что восторжествует право более сильного. Второй путь: спорящие стороны, разговаривая, пытаются осветить проблему со всех сторон и стремятся в ходе разговора достичь более правильного и глубокого понимания. Это — демократия. Диалог, взаимное понимание и уважение — вот сущность демократии....»*¹.

Мир-согласие вроде бы решает задачи, заявленные социализмом, — но его решения не механические, а гибкие, комплексные, вариативные. Происходит всестороннее «экологическое» переосмысление и переустройство индустриального мира:

- отношений производство/природа;
- социокультурных отношений внутри местных сообществ;
- «социальной экологии»: необходимого минимума общественной справедливости и взаимопонимания;
- при этом резко расширяется круг лиц, чувствующих свою ответственность за происходящее рядом.

Понятию экономики возвращается изначальный античный смысл: от науки о зарабатывании денег ее переосмысливают обратно как культуру обустройства «домашнего» пространства (пусть даже и в очень больших масштабах). «Мир-согласие» решает задачу перехода от общества-завода (подчиненного логике «производство-потребление») к обществу, «живущему в своем доме» и о своем доме заботящемуся.

¹ Халь Кок. Что такое демократия? / Пер. Л.Вайль. Копенгаген: Датский институт культуры, 1993.

Внешнему богатству и вычурности теперь предпочитают простоту и практичность «проектов будущего». Энергосберегающие и природоохранные технологии — наглядные приоритеты «зеленого мира»¹. Но важнее (хотя и незаметнее) технологии человеко-сберегающие, сохраняющие людей от выгорания и разобщенности. Складываются традиции разумной меры усилий в каждой работе: не ниже уровня грамотного отношения к делу и не выше порога невосстановимой растраты жизненных сил.

В 1920—1930 годы, когда проекты советских конструктивистов воспевали четкость индустриальных монолитов (зачастую имитируя недостающий железобетон кирпичами), а Ле Корбюзье возводил знаменитые «машины для жилья» и щеголял размашистым «брутализмом», финский функционализм при внешнем подобии технических средств намечал совсем иные перспективы. Получался «функционализм наоборот»: архитектура не ожидала от людей подчинения функциям помещений (а заодно — единообразия их вкусов и поведения), но напротив, структуры здания разворачивались к действующему человеку наиболее удобным и гармоничным для него способом.

Больница строится так, чтобы все в ней настраивало больного на оптимистический лад и чувство комфорта (отопление располагается наверху, мягкое искусственное освещение сочетается с яркими красками стен, днем все помещения раскрываются воздуху и солнцу); библиотека учитывает в композиции и оборудовании залов различные поводы и способы обращения к книгам читателя и библиотекаря; у муниципального здания много входов, привлекающих граждан к участию в разноформатных общественных собраниях; планирование завода соразмеряется с возникающим жилым поселком, его инфраструктурой, перспективными видами на лесные дороги и озерные берега, то есть с обеспечением гармоничного мироощущения тех, кто на этом заводе будет работать.

Архитектура Алвара Аалто разворачивает плоскости новых зданий прозрачными стеклянными фасадами к природному окружению, чтобы можно было ощущать себя одновременно и в помещении, и среди деревьев. Пластика волнообразных деревянных интерьеров уравнивает прямолинейность несущих каркасов, пропорции зданий оцениваются с точки зрения их соразмерности спокойному и просторному самоощущению людей, многообразию их жизненных стилей и предпочтений.

Так «зеленый мир» реформирует «мир-порядок» в качественно иной. Сохранив меру участия в производстве, работнику возвращали ощущение связности, многомерности, пластичности бытия; раздробленное индустриальной механикой сознание восстанавливало свою целостность. «Мир-согласие» добавляет рациональному миру органичности, сохраняя его достижения и опираясь на них: *искусственное воссоздание естественной среды* — одна из привычных для него задач.

Вновь актуальным оказывается наследие миров доиндустриальных; они переживают ренессанс. На новой инфраструктурной основе преображаются народные традиции, уклад сельского домохозяйства, взаимопомощь многопоколенной семьи, обычаи церковной общины, кустарные производства; они находят свои (когда заметные, когда невидимые глазу) трамплины из прошлого в будущее.

В фокусе внимания «мира-порядка» — *функционирование*, «мира-бизнеса» — *развитие*, «мира-согласия» — *становление*: поддержка того, чего еще нет, но что может сложиться при обеспечении нужных условий; что возникает в ходе взаимодействия тех сил, людей и явлений, которые пока отчуждены друг от друга.

¹ Зеленым цветом маркирован «мир-согласие» в концепции «Спиральной динамики» К.Грейвза и его последователей. Принятые там характеристики *оранжевого мира* близки в нашем описании «миру-проекту», *фиолетового мира* — «семейному», *желтого* — «комбинаторному». *Красный мир* в нашей трактовке распадается на «силовой» и «иерархический», *синий* — на «мир-традицию» и «мир-индустрию».

Собственно, их триада и создает полноценный индустриальный мир «второй волны».

Входной барьер в «мир-согласие» — самостоятельность и внутренняя дисциплина (здесь принято считать, что необходимые правила уже привычны каждому и нет нужды навязывать их извне). Заботы о личном материальном обеспечении представляются не проблемой, а рутиной, решаемой как-то само собой по ходу жизни. Служение достойной цели, гармония с собой и окружающими — более понятный здесь стимул для творческих усилий, чем азарт успеха или жажда приобретений.

В таких обстоятельствах «зеленому миру» легко рекрутировать своих приверженцев в «богатых» местах, где материальную нужду удовлетворить несложно, а от ряда избыточных потребностей (рудиментов «мира успеха») только полезно отказаться.

Организация «мира-согласия» погружена в атмосферу совместного поиска. Работа строится на взаимной симпатии и вере в личную ответственность, на доброжелательной снисходительности друг к другу и партнерам. Много совещаний и дискуссий для выработки лучшего решения. «Кустарный» подход, избыточное порой внимание к феноменам и особенностям, принцип «лучше меньше, да лучше», внимательное уточнение возможных последствий и перестраховка, чтобы не навредить.

С такими нормами деятельности не обеспечить массового производства, не выиграть борьбу за рынок, не «продать» фундаментальных решений через административный аппарат. Материальная продуктивность организаций «мира согласия» явно ниже тех, которые верны логике бизнеса. Так что в качестве почвы для их расцвета важны развитость индустриальных и коммерческих структур.

Характерно, что для иерархических миров организации из «мира согласия» — это компании странных фриков (да и как им поверишь: если они такие благонамеренные, то почему строем не ходят, а если такие умные — почему коммерцией не займутся?). В развитых же странах они признаются частью делового мира, равновеликой государственной и коммерческой. Организации «третьего сектора» действуют во всех сферах, сообщества экспертов во многом определяют и общественное мнение, и выбор решений, их проекты плотно переплетаются с заботами муниципальных властей, они резко ограничивают возможности одного типа бизнеса и открывают фантастические возможности для другого и т.д.

Конец истории?

Книга Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек» вышла в 1992 году; с тех пор ее упоминали бесчисленное множество раз — по преимуществу с презрительными улыбками и гневно-насмешливыми интонациями. События продолжают происходить, войны и экономические кризисы не прекращаются, политические структуры шатаются в большинстве стран; от вала информации о драматических новостях и неразрешимых проблемах некуда спрятаться.

Не буду воспроизводить и защищать конкретные тезисы Фукуямы, но попробую уловить суть его мысли. Ведь она явно не про то, что жизнь на планете замрет и происшествия прекратятся. Скорее связана она с тем, что в привычной нам идее исторического развития был некий замысел, который разрешился. Если же мы продолжаем мыслить о ходе истории в прежнем залоге, то лишь в силу инерции, которая обречена оставаться бесплодной.

Какая история может завершиться? Лишь та, у которой было начало.

Привычный нам образ исторического развития, устремленного в лучшее будущее — далеко не то, что само собой разумеется; это модель вполне «инновационная». Вот модели гораздо более «долгоигравшие»:

- естественная «родовая» история обращена исключительно к прошлому: там можно искать свои корни и подпитываться чувством морального долга, дабы не уронить в новом веке честь предков;
- мифологические предания намекают на печальный закон энтропии: эпохи сменяют друг друга от «золотого века» к нынешнему хаосу и измельчанию нравов;
- античная муза истории превращает сцены исторических событий в художественные феномены, артефакты для эстетического переживания; история — музей этих артефактов;
- для мудрого средневекового восприятия летопись человеческих дел — лишь иллюстрация метаистории, ее вечных притч, записанных в священных книгах. Архетипические события вновь и вновь проявляются в ткани современности, дабы еще раз послужить нам уроком. Если ты разобрался в содержании канонических книг, то события наших дней не удивят тебя ничем новым.

Все это *истории* совершенно другого качества, чем те, на которые настроены учебники. В учебниках прошлое «исторично» именно потому, что соотнесено с будущим, им обусловлено; оно пронизано процессами и причинными связями, выстроено линейно от менее совершенных обществ к более совершенным. Такой ракурс настраивался синхронно с бурным развитием науки и становлением индустриального мира; история и сама превращалась в науку, организуемую на основе теоретических концепций. История в целом (так привычно для нас и так парадоксально для людей других эпох) стала трактоваться как *история общественного развития*. Главный сюжет — движение человечества в поисках оптимального социального устройства. (И например, вопросы антропологического порядка сводятся к обсуждению того, как возможности человека определяются устройством общества, в котором он живет.)

Что если *эта история* завершилась? Вдруг на вопросы-требования к будущему, поставленные на заре индустриальных времен, за последующие двести лет решения были-таки подобраны?

Это изумляет — как заявление о том, что за удалявшийся по мере приближения горизонт кто-то проскочил. Но так ли невероятна суть дела? Нам ведь не кажется странным, что уже сто лет назад многие народы достигли такого уровня, что могут жить при всеобщей грамотности, вне угрозы голода, эпидемий чумы, массовой младенческой смертности и ежедневной борьбы за существование? Так ли удивительно, что за следующие сто лет кое-где уже получилось организовать общество, в котором нет бедности, бесправия, вопиющих несправедливостей, подавления деловой инициативы, государственного произвола и безропотного подчинения сильным?

Только никакой мистической глубины в оптимальном общественном устройстве не обнаруживалось. Не происходит в нем ни перерождения людей в коммунистических ангелов, ни всплеска развития всевозможных талантов, ни духовного слияния с мировым всеединством.

«Научно-теоретическая» история, возможно, завершается экспериментально установленным выводом: идеального общества идеальных людей не будет; зато нормальное общество, выполняющее минимум обязательных к нему требований с точки зрения обеспечения прав каждого человека, — вполне достижимо.

Попробуем перечислить (пропуская риторический пафос) те цели общественного устройства, к которым должно было стремиться человечество по мысли идеологов XVIII и XIX веков. Вот что набирается:

- Общество, где каждый человек будет пользоваться благами общественной жизни и защиты от преступников, но при этом будет защищен и от произвола властей.
- Общество, где побеждена нищета и сведена к минимуму бедность.
- Общество, где чувство общественной справедливости и право личной свободы неразрывно связаны, а не противоречат друг другу.
- Общество, перешедшее от разграбления природной и разрушения культурной среды к разумной заботе о них; где образу жизни людей в необходимой мере возвращена естественность и устранена из него чрезмерная фальшь.
- Наконец, это общество, где (в духе марксовой формулировки) «свободное развитие каждого признается условием свободного развития всех».

Есть подозрение, что перечисленные идеалы были сведены с пьедесталов и как рациональные общественные практики тихой сапой реализованы в нескольких не очень больших странах. Их достижение (и даже относительно последней выпендренной фразы) не сопровождалось ни чудесами и фейерверками, ни преобразованием людей в нечто нечеловечески прекрасное. Но все перечисленное выше общество оказалось способным осуществить — и это немало.

Мы хоть сегодня можем съездить в гости к соседям, в чьих странах граждане не испытывают сомнений в своей свободе, равноправии и правовой защищенности, где гуманные и доброжелательные отношения между людьми выглядят нормой, сотрудничество и состязательность деловых организаций дополняют друг друга, а общество в целом способно идти в ногу со временем, осваивать любые технические новшества и совершенствоваться, а не уродовать природную среду своего обитания.

Фукуяма называет финальное общество¹ «конца истории» либерально-демократическим, делая акцент на успехах «мира-развития». Я бы рискнул подкорректировать его выводы, полагая, что не менее значима и реализация принципов «мира согласия» (в этом плане «конец истории» можно полемически назвать, например, «эколого-социалистическим»). В схватке «советской» и «американской» идеологий победитель понятен; но вот в организации реальных моделей общественно-политического устройства, убедительных для всего человечества, куда определеннее Америки смотрятся Швеция, Новая Зеландия, Финляндия.

Можно сказать, что история завершилась там, где органично выросшее сочетание «мира-порядка», «мира-развития» и «мира-согласия» стало прочным итогом общественного развития индустриальной эпохи. Хотя достичь его смогли лишь несколько стран на планете.

На опыте таких стран стали наглядны и ограниченность влияния общества на человека, и пределы позитивного социального действия, и качественные различия культурного и социального контекстов жизни.

Сущностные человеческие проблемы — вечные. Даже наилучшим образом организованное общество не делает людей ангелами. Да, многие альтруистично участвуют в волонтерских движениях, но чаще эпизодично, без чрезмерной самоотверженности. Лиц, стремящихся к образованию и настроенных на постоянное саморазвитие, оказывается весьма много, но вряд ли большинство. Да, стало принято вести спортивный образ жизни, но никаких физических сверхспособностей (столь любимых фантастами) не намечается. Не исчезают преступления и самоубийства

¹ Под углом зрения не «конца истории», а качественного перехода между двумя базовыми социальными моделями, нобелевский лауреат Дуглас Норт трактует схожий рубеж как переход от «естественного государства» к так называемым «порядкам открытого доступа». (См., напр., Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. *Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества*. М., 2011).

(первые, правда, случаются существенно реже, а вот вторые — ничуть). Не выглядит идеальным наилучшее общественное устройство и в плане социальных функций.

Как бы ни была разумно спланирована система здравоохранения, в ней будут опытные и умелые врачи — и врачи так себе, но защищенные полученным дипломом. Как бы грамотно и гибко ни продумывали школьную систему, одни учителя будут увлеченно, заботливо и ответственно возиться с детьми, а другие равнодушно отрабатывать свое рабочее время; одни школьные коллективы обеспечат учебную жизнь высокой интенсивности, насыщенную бодростью, успехами и взаимной радостью, а другие будут спокойно тянуть лямку. Сколь бы ни была пронизана общественным влиянием политическая сфера, большинство политиков будет беспокоиться о своем благополучии больше, чем о благополучии страны (но вот рамки допустимого и немислимого для них будут совсем иные, чем в обществах архаичных). Формирование масштабной инфраструктуры библиотек, художественных событий и выставок, музеев, национальных парков и т.п. значительно повышает средний уровень эстетической культуры, резко меняет к лучшему внешний облик и образ жизни многих уголков страны, но никак не влияет на факт появления выдающихся талантов.

Футурологов должно бы разочаровать и то, что единообразное общественное устройство даже не стирает культурных различий; в чем-то ослабляет их, но не в меньшей мере и усиливает. Достаточно присмотреться к тому, насколько при теснейших взаимосвязях скандинавских стран разнятся в них национальные характеры: семейственный, спокойно-оптимистичный, сдержанно-жизнерадостный характер финнов; самоуверенный и авантюристичный норвежский; индивидуалистичный, рефлексивный, полный интеллектуального драматизма шведский.

В триаде *личность — культура — социальное устройство* общество способно взять на себя очень весомую, но только свою роль.

Конец и вновь начало

Итак, добрые и сильные стороны человека легче укрепляются при общественной поддержке, но она отнюдь не отменяет и не упраздняет всей противоречивой глубины человеческого существа и очень умеренно сдвигает индивидуальные возможности.

Напрашиваются такие тезисы о «конце истории»:

- Оптимальное гражданско-правовое устройство в рамках конкретной страны может быть воплощено — и модель его универсальна. Ее можно изучать как рациональную учебную дисциплину.
- Такая общественная организация преобразует характер национальных культур, но скорее подчеркивает различия между ними, нежели стирает.
- Возможности общества ограничены, они не исчерпывают содержание человеческого бытия и определяют его лишь отчасти.
- В наше время можно исследовать уже не умозрительно, а на опыте, где кончается социальное и начинается собственно человеческое.

Примерно таким резюме можно было бы и завершить... если бы удалось и далее удерживать процессы социального развития в рамках национальных государств, если бы к «финишу» создания оптимального общественного устройства пришли не считанные проценты населения планеты, а гораздо большая его часть, если бы рывок, совершенный в 1980—1990-е годы десятками наций к открытой экономике, правовому государству и/или демократическим общественным отношениям резко не затормозился бы в следующем десятилетии. Но главное: если бы за финишем как бы «завершившейся» истории нас не ждал новый ее дизайн — глобализация, компьютерная революция, новые способы мировосприятия и слепящие противоречия национального развития.

Этот дизайн уже не подчинить иллюзиям линейной, причинно-следственной, научно-объясняемой истории — она-то все же закончилась. В пространстве глобальных сообществ и коммуникаций экономика, политика, технические новации, всплески социальных перемен если и подвержены логике, то квантовой, вероятностной.

В социальном измерении словно заискрилась известная пародия на классическое двустушие Александра Поупа: *«Был этот мир глубокой тьмой окутан./ Да будет свет! И вот явился Ньютон./ ...Но сатана недолго ждал реванша./ Пришёл Эйнштейн — и стало всё, как раньше»*¹.

Люди впервые вступили в такую эпоху, где изменения — непрерывны, а неопределенность — обычное состояние.

Мир-калейдоскоп, «мир сетей», вероятностный мир

Из других подходящих именовании: *комбинаторный мир, мир-хай-тек, мир «третьей волны»*. Его девиз: *Самореализуйся!*

Если подробнее: *«Самореализуйся и конструируй свою судьбу, выбирая "свое" в глобальном калейдоскопе ценностей, связей и феноменов»*.

Главный закон — верность избранному пути и стремление к компетентности. Теперь торжествует тот тип человеческой солидарности, который прежде был доступен разве что в научных кругах: «свои» — это участники сетевого сообщества, не ограниченного пространственными и политическими границами.

Привычные обстоятельства: независимость, ценность индивидуальности, специальные знания, ценимые в особой среде, любовь к непредсказуемости завтрашнего дня.

Парадоксальные особенности «сетевого мира» воскрешают способы мышления архаичных миров. Для его жителей вновь актуальны:

- инстинктивные действия в обстановке непредсказуемых угроз — как в «мире-выживании»;
- опора на доверенный круг «своих» — как в мире «семейно-адаптивном»;
- ставка на личный опыт, авантюрные решения и вера в удачу — как в «мире силы».

При этом завершается подготовленный «миром-согласием» переход от «ренты силы», «ренты статуса» и «ренты денег» к «ренте делового авторитета». Тот, кто способен на большие дела в «сетевой вселенной», всегда найдет в меру потребности и деньги, и поддержку остепененных лиц.

Мир «третьей волны» распахнут настежь и придает дополнительное измерение всем прочим укладам жизни и мировоззрениям. Он одаряет их мощными, непонятно устроенными, очень привлекательными и непредсказуемыми в последствиях применения инструментами. Каждое из государств и сообществ развивается в своем «коридоре возможностей», но в то же время находится под открытым небом другого измерения, откуда то и дело слетают белые и «черные лебеди»² событий, порожденных сетевым миром.

Последствия усилий в вероятностном мире всецело зависят от резонансов, которые в разные моменты времени то стократно умножают эффекты и результаты, то гасят их почти до нуля.

¹ Перевод с англ. С.Маршака.

² «Черный лебедь» — термин, предложенный экономистом Нассимом Талебом для труднопрогнозируемых и редких событий, влекущих значительные последствия. См., напр., Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М., 2015.

У творцов «сетевого мира» ярко выражена ответственность перед самим собой за избранный путь и перед референтным сообществом за верность своему слову и амплуа. Но почти вовсе нет готовности отвечать за косвенные последствия своих действий: их все равно не предугадать. Обнародование нудноватой переписки американских дипломатов, организованное квартирующим в Швеции австралийцем, зажигает волнения в Тунисе и пожар восстаний в половине арабского мира. Подобные эффекты несколько не были целью публикатора, но раз это случилось — значит, так и правильно.

Преобразуется характер естественных наук: если прежде открытия совершались на «кончике иглы» подробного знания о конкретной области исследований, то теперь выигрывает в гонке изобретений тот, кто найдет нужную комбинацию гипотез одновременно из химии, физики, биологии, математики.

Преобразуется сфера гуманитарного мышления и социального действия. Принято было опасаться, что восторжествуют пресловутые «политтехнологии» и механизмы продуманного управления массовым сознанием, но с этим-то как раз отлично справляются специалисты, правительства и корпорации «второй волны». «Сетевой мир» продуцирует не технологии контроля над поведением, а нечто противоположное: он создает платформы для массовой кооперации творческих интересов. Под кустарные, индивидуально окрашенные проекты, заботы и интересы «зеленого мира» теперь подведены средства эффективной коммуникации и массового резонанса. Никакой академической энциклопедии уже не вступить в конкуренцию с Википедией, а государственной и коммерческой пропаганде не выиграть игру в глобальное доминирование у хаотического обмена мнениями в социальных сетях.

...Концепция «трех волн» социально-технологического развития выглядит сегодня тривиальной¹; но удивительной она смотрелась в 1960-е годы, когда компания IBM заказала Элвину Тоффлеру исследование о долгосрочных социальных и организационных последствиях внедрения компьютеров.

Тоффлер одним из первых начал внимательно вглядываться в черты побеждающих «сверхиндустриальных» общественных отношений. Многие из них вызывали у него нескрываемую симпатию:

- падение ценности безропотного исполнения и резкий рост заинтересованности в тех, кто способен к критическому суждению;
- ослабление иерархической системы и отступление бюрократии;
- ключевая роль временных рабочих коллективов, формируемых под меняющиеся конкретные задачи;
- возрождение малых динамичных групп в самой сердцевине крупных корпораций;
- преданность своей профессии, вытесняющая былую преданность фирме и должности;
- индивидуализированное и мелкосерийное производство «на заказ»;
- «общество сделай сам»² как эффективный противовес «обществу потребления».

¹ По определению Тоффлера, *первая волна* — результат аграрной революции, которая сменила культуру охотников и собирателей. *Вторая волна* — создание индустриальной цивилизации. *Третья волна* — «сверхиндустриальное» общество, в котором признается огромное разнообразие субкультур и стилей жизни.

² Тоффлер даже предложил веселый неологизм «prosumer» («протребитель») для обозначения тех индивидов и групп, кто создает товары, услуги и опыт для собственного пользования или удовольствия, а не для продажи или обмена; одновременно производят и сами потребляют продукт: «Протребительская экономика огромна... протребление встряхнет рынки, изменит ролевую структуру общества и изменит наши представления о богатстве».

Противодействие сил «второй» и «третьей» волн и задает, согласно Тоффлеру, динамику современной цивилизации, помогает объяснить наиболее важные тенденции развития.

В России еще недавно принято было рассуждать о постиндустриальном обществе едва ли не как о новом светлом будущем. Но книги Тоффлера¹ показывают цену того ускорения перемен, которое выталкивает технологические общества в сверхиндустриальный мир.

Главная из них — тот стресс и дезориентация, которые вызывают у людей слишком большие перемены за слишком короткое время. Все прочие негативные тенденции (от техногенных катастроф до всплесков насилия и намечающихся тоталитарных режимов нового типа) для Тоффлера оказываются всего лишь следствиями этой фундаментальной угрозы.

Тоффлер определил «шок будущего» как страдание, возникающее от перегрузок, которые физически испытывают адаптивные системы человеческого организма, а психологически — системы, отвечающие за принятие решений. Из «бочки дегтя» от Элвина Тоффлера:

- новая система отношений сменяет прежнюю фрагментарно и непредсказуемо, надо ожидать «разрыва связей и слепящих противоречий»;
- людям придется адаптироваться не к какой-то одной новой культурной реальности, а к головокружительному хороводу сменяющих друг друга культур;
- будущее будет разворачиваться как быстротечная последовательность причудливых происшествий, сенсационных открытий, невероятных конфликтов и резких противоречий, к которым ты не готов;
- нас неизбежно ждет «шок будущего» (*«перевозбужденная психика, бомбардировка сознания, информационная перегрузка, стресс решений, "мир обезумел", смена образа жизни и болезнь «чужой в чужой стране»...* — таковы названия глав в разделе «Пределы адаптации» в книге «Шок будущего»).

В советском обществе еще и в восьмидесятые годы мало кому приходило в голову, что способность общества и отдельных людей справляться с переменами имеет не меньшее значение, чем содержание этих перемен.

Зато в 1990-е миллионы жителей постсоветских стран ощутили на себе тот самый шок от безудержного ускорения перемен. Они были выброшены на предел приспособляемости к мельканию альтернатив, на грань здоровой реакции на непрерывное нервное раздражение, на границы своей способности делать ответственный и осмысленный выбор в хаосе тысяч предложений и соблазнов. Люди все время чувствуют себя затравленными и безнадежно хотят уменьшить количество проблем, которые нужно решать. Книга «Шок будущего» оказалась написанной словно не об Америке семидесятых, а о нас вчерашних.

Главные последствия «шока будущего» — ошеломляющая утрата чувства реальности и почти наркотическое бегство во власть «снисходительного к себе отчаяния». Общество, пораженное «шоком будущего», впадает в глубокую апатию и неизбежно утрачивает рациональность. При этом в качестве наиболее простого способа борьбы с растущей сложностью выбора и всеобщего сверхвозбуждения всегда будет предложен тот или иной культ насилия.

Ключевой вывод Тоффлера: *«Решающие различия будут между обществом, в котором технологическое развитие осознанно смиряют и направляют, чтобы смягчить*

¹ См., напр.: Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2008 (американское издание Future Shock — 1970); Тоффлер Э. Третья волна. М., 2010; Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2004; Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. М., 2007.

потрясение от будущего, и обществом, в котором массу простых людей лишают возможности принимать осознанные решения». Первый тип общества предполагает масштабное участие граждан в выработке общественных стратегий; во втором случае общество становится заложником правления крошечной технологической и управленческой элиты, и его благополучие всегда будет висеть на волоске.

Такой тезис выносит приговор бесчисленным иллюзиям о вожаемой «меритократии», достоинствах «власти лучших», судьбоносности «отбора элит» и т.п.

Впрочем, Тоффлер оставался оптимистом. Он настаивал на возможности сопротивления хаосу и был убежден, что шок будущего можно предотвратить. Правда, это потребует не только личных усилий, но и решительных социальных и политических действий (некоторые из его предложений мы вскользь упомянем в третьей главе).

* * *

Завершая этот обзор, подчеркну его сугубо прикладной характер.

Более того, мне кажется несущественным именно такое типологическое различие. Важно само признание того, что число характерных укладов жизни и мировоззрений, которых придерживаются и в рамках которых действуют наши соотечественники, — не два, не три, не четыре, а существенно больше. Что каждый из них со своим набором ценностей и моделей поведения не случаен, что ни один не заслуживает презрения и не обладает правом на исключительное доминирование, что взаимное непонимание между сколько-то отдаленными социальными мирами — объективная закономерность.

Успешное развитие нашего общества возможно не в случае победы «самых правильных и прогрессивных» над всеми остальными, а в случае преодоления отчужденности между людьми разных укладов жизни и тенденций разложения внутри каждого из укладов. Переходя же к сюжету следующей главы, лишней раз подчеркну и то, что социальное и типологическое не отменяет индивидуального; социальное устройство «срабатывает» к лучшему именно постольку, поскольку поддерживает свободную, ответственную и жизнелюбивую позицию человека.

Глава II. Диагонали и вертикали

Порой используют такого рода метафоры, говоря о координатах человеческой жизни. «Горизонталь» — пространство обыденных дел, где люди смотрят вокруг и под ноги, вовлечены в круговорот повседневного бытового общения. «Вертикаль» — те ценности, возвышенный взгляд на которые распрямляет человека, заставляет вспомнить о своем особом предназначении, отрывает от тривиальных забот ради морального долга и творческих усилий.

Перемены в обществе часто отождествляют с движением по одной из этих линий.

В одном случае личностное развитие признают производным от развития социального, а более передовой строй как бы громоздится на более отсталый, заменяя прежний порядок вещей более прогрессивным (и загораживая собой «вид на небо» для «уходящих» формаций). Все внимание обращено на смену более отсталых порядков прогрессивными и на то, как помочь людям адаптироваться к ним (далее, мол, общество само сделает людей лучше). Во втором случае общественные изменения расценивают лишь как смену антуража, малозначимую для духовного измерения человеческого бытия¹. Обсуждается то, как обеспечить защиту личности от порабощения

¹ К тому же сами попытки «ускорить» смену общественных формаций весьма часто оборачиваются разрушительными и деструктивными последствиями; заплаченная цена социальных перемен с нравственной точки зрения выглядит намного дороже приобретений.

ее социальными механизмами, не суть важно, «устаревшими» или «инновационными». Человек может и должен быть выше социальных обусловленностей, и только свободные усилия «статистически неправильных» людей меняют мир к лучшему.

Но я бы предложил использовать третью метафору: «диагональ».

Трудно признать равнозначными те модели мировосприятия, которые мы перебирали в первой главе: они заметно разнятся по внутренней сложности и по уровню задач, с которыми представители того или иного мировоззрения способны справляться. Но перед нами и не пирамида уровней личностного роста, где люди из более «сложного» мира заведомо лучше людей мира более «отсталого» и всецело превосходят их достоинствами.

Вполне справедлива известная мысль (приведу ее в формулировке Мераба Мамардашвили): «Никакой прогресс цивилизации, науки, техники не имеет отношения к узнаванию себя в качестве человеческого существа». Обычным людям «более простых» миров в сравнении с людьми «более сложных» существенно труднее развить творческие устремления или укрепить нравственную стойкость своей личности — зато и результаты их усилий могут быть оттого лишь значительнее.

Таким образом, оценивая обстоятельства жизни и перспективы какого-либо большого сообщества людей, оправдано использовать минимум три типа представлений:

- 1) «горизонтальные»: об общественных укладах, которые определяют образ жизни большинства людей и формируют привычное для них восприятие реальности;
- 2) «вертикальные»: о способности конкретных людей в данном сообществе преодолевать социальную инертность, совершать творческие и нравственные усилия;
- 3) «диагональные»: о способах взаимодействия разных общественных укладов и перспективах общественных сдвигов от одного уклада к другому.

Заметим и то, что в рамках каждого жизненного уклада система отношений может или поворачиваться к поддержке лучших качеств в человеке, или же быть настроенной на их подавление. Потому кроме перечисленных выше напрашивается и четвертая оценка, а именно того, на что может рассчитывать человек, совершающий непривычные для себя усилия в стремлении изменить жизнь вокруг к лучшему: ожидает ли его противостояние с окружением или общественное содействие.

Зло происходит само собой, а для добра всегда требуется усилие — такая истина хорошо известна (со времен евангельской формулы «Царство Божие усилием берется»). Связанные с этим обстоятельства хорошо известны, в частности, всем, кто участвовал в сколько-нибудь реальных реформах в школьном деле. Многие из них сходятся на примерно таких статистических оценках: обычно находится десятая часть «героических» педагогов, которые будут менять свою деятельность к лучшему для детей почти всегда, когда понимают, как это сделать; примерно с такой же частью связываться явно не стоит (и лучше бы их к детям вовсе не подпускать); но большинство учителей склонны участвовать в новом деле в зависимости от того, ждут ли их понимание и поддержка или же они ощутят пренебрежение, насмешки и угрозы.

Внимание к подобным условиям, формирование необходимых для позитивного хода событий общественных структур, практик, привычек — такой путь влияния на развитие общественной ситуации и можно назвать «диагональной стратегией».

...Как-то Кант высмеивал фразу одного из своих рецензентов: «Это сочинение есть система трансцендентального или высшего идеализма», — и заявлял: — *«Поистине не высший. Высокие башни и подобные им метафизические высокие мужи, около коих обыкновенно бывает много ветра, — не про меня. Мое место — плодотворная глубина опыта».*

По линии «вертикали» возвышенное, вероятно, и срабатывает только как *глубинное*: воссоздаваемое из глубины личного опыта.

«Высокие слова» обозначают явления, которые в «объективном» виде встретить

невозможно. Безоглядная любовь, идеальная справедливость, равноправное сотрудничество, бескорыстное милосердие, полная искренность, неуклонная верность правде... В каждом конкретном случае сторонний наблюдатель всегда при желании обнаружит нечто замутняющее, ослабляющее наше впечатление от идеального, позволяющее усомниться в его полноценности.

Но высокие слова обретают полнокровность символа и перестают быть просто абстракциями, когда «заземляются» в уникальных обыденных ситуациях нашего личного опыта. Они срабатывают тогда, когда отзывается *память чувств* о тех событиях, в которых возвышенные ценности стали для нас чем-то лично значимым, случившимся. А *чувство памяти* об их подлинности позволяет людям в меру сил и дальше держаться достойных стремлений.

Из таких нитей сплетается ткань плодотворных общественных отношений и культурных привычек. На укрепление и обогащение ее рисунка можно влиять предсказуемо и плодотворно, в отличие от попыток прямого воздействия на социальные законы или на конкретных людей. Изменение условий, обстоятельств, возможностей в рамках сложившихся отношений, создание поддерживающих социальных структур и сообществ — с этим связана логика «диагональных» решений.

Для общественно-культурной ткани разрушителен разрыв «вертикали» и «горизонтالي», воцарение сугубо прагматических или сугубо идеалистических установок, взятых по отдельности.

Я бы отождествил обсуждаемую метафору движения «по диагонали» с социокультурным подходом. Его решения связаны со стыковками «идеального» и ежедневного, инновационного и привычного, актуализацией тех самых ресурсов *памяти чувств*, сложившихся в данном месте, в опыте местных сообществ. Почти всегда при этом энергия конструктивных действий возникает за счет напряжения между «вертикалью» творческих или моральных требований к людям и «горизонталью» общественного контекста их жизни.

В ответе подобных категорий как-то тихо налаживается организация вроде бы естественного, нормального — а при этом прекрасного и высокого — «быто-бытия» человеческих отношений. Порой результаты выглядят возвышенно, порой — более чем приземленно. Но почти всегда по ходу дела вырабатываются надежные противоядия к экзальтации и цинизму утопий, укрепляются привычки свободного размышления, диалога, взаимодействия.

Каков механизм «диагонального развития»? Пожалуй, грубая схема такова:

- личное или коллективное человеческое усилие (*вертикаль*) —
- становление нового действующего проекта/структуры/сообщества/организации (*диагональ*) —
- новая локальная социальная норма (*горизонталь*) —
- новые возможности для личных усилий.

Глава III. Гипотезы для «страны разных скоростей»

Образ будущего и стратегии «разных скоростей»

Образ будущего — не столько план работы, сколько вдохновение для нее. Он раскрывается в способности вызывать доверие, запускать между людьми цепные реакции взаимопонимания без лишних слов, легко договариваться при неожиданных проблемах и брать на себя непредвиденную нагрузку.

Постсоветская Россия оказалась слишком расколотой для сколько-то общих

представлений о будущем. Их подмена образами из прошлого стала удобной психологической самозащитой. Старательное упрощение взглядов на мир, игнорирование большинства чьих-либо проблем, кроме своих собственных, заимствование советских или прибалтийских шаблонов социального поведения — все это выглядело нормой в прошедшие десятилетия. Основной массив общественных отношений и по устройству своему откатывался назад: от «индустриальных» форм организации к иерархическим, а в последние годы — и вовсе к примитивным силовым.

Но прятаться от перемен будет все труднее. На миллионы людей в ближайшие годы снова падет необходимость принимать много судьбоносных решений в очень короткие сроки. Насколько молодые поколения окажутся успешнее в этом, чем их родители?

Новые реалистичные образы будущего — обязательное условие того, чтобы начать движение не к краю пропасти, а в сторону от нее. Дело совсем не в том, чтобы насочинять новых идеологий и «национальных идей». Важно другое: находить в реалиях жизни, в опыте людей те основы нормального мироустройства и миропонимания, которые выглядят жизнеспособными, могут сочетаться друг с другом, вырабатывать актуальную для многих систему ценностей и правил поведения. Понятно, что здоровые фрагменты общественного устройства оказываются сегодня только локальными, разрозненными. Но искать, создавать, намечать их — самое время.

Из текста статьи читатель уже мог представить те черты облика нашей страны, которые, как я убежден, возможны и необходимы для оптимистичного взгляда на ее послезавтрашний день. Перечислю главные из них:

- 1) страна, в которой разные сообщества и территории могут развиваться по-разному, в разном темпе и даже направлении.
- 2) страна, где между людьми разных мировоззрений с опытом различных жизненных укладов налажены способы взаимодействия, взаимной симпатии и поддержки.
- 3) страна, где людям привычно соучастие в общих делах, а их инициативные усилия поддерживаются.
- 4) страна, где доверие и интерес к жизни преобладают над страхами.
- 5) страна, чье место в мире определяется значимостью освоенных в ней методов общественного взаимопонимания в сложных ситуациях.
- 6) страна, где принято оценивать условия жизни и общественные отношения *детскими глазами*: с точки зрения восприятия их как образовательной среды для растущих поколений.

Решусь утверждать, что даже в сегодняшней России найдутся такие места, где подобные ориентиры (выглядящие почти фантастическими на фоне текущих новостей) не покажутся чем-то далеким.

Я убежден в их реалистичности и из своего опыта работы педагогическим журналистом. Признание множественности стратегий развития для разных укладов школьной жизни, терпеливое отношение к разным типам и масштабам методических решений, освоение искусства связующей работы между ними, готовность поддержать созревающие сдвиги к лучшему, умение создать необходимые для этого нормативную базу и культуру управления — такое в сфере образования мне приходилось наблюдать по крайней мере в нескольких российских регионах¹, быть свидетелем естественности и чрезвычайной эффективности такого положения дел.

¹ Во всяком случае, в Красноярском крае в 1990-е годы, в Якутии — в последние пятнадцать лет.

Достичь этого непросто, такой уровень общественных отношений складывается в результате увлеченного труда талантливых людей — но это возможно в России, так жить получается.

Оговорюсь, что веду речь именно о ценностях общественных, а не обо всем на свете, об ориентирах как бы «среднего слоя» национального бытия — между духовной жизнью страны и ее жизнью семейной, бытовой, производственной. У духовной жизни свои горизонты, у бытовой — свои традиции, у производственной — свои правила. Как они не сводимы к формам общественного взаимодействия и не вытекают из них напрямую, так и наоборот.

Оговорюсь и относительно политической наивности дальнейших сюжетов и гипотез. Конечно, они глубоко не адекватны политической обстановке. Конечно, исполнение обобщенной политической формулы: «Хватит врать и воевать» — очевидная предпосылка для каких бы то ни было поворотов к лучшему в стране. Случится ли вразумление нынешнего политического класса и вернется ли к нему минимальное чувство ответственности и здравого смысла, пройдет ли страна через полосу кризиса и хаоса — обо всем этом бесполезно гадать; но с какого-то момента представления о национальном будущем окажутся необходимы при выборе направлений для любого последовательного движения и станут важнее даже для краткосрочных намерений, нежели для реакции на текущий хаос происшествий. С какого-то момента тематика нашего разговора будет ощущаться не умозрительной, а предельно практичной.

«Макроуровень»: сужение сферы формального права, реальная федерация, разделение «земищины» и «казенищины»

Если вы согласитесь с мыслью, что разным сообществам и территориям страны естественно развиваться по-разному, в разном темпе и даже направлении (и признаете важность того, чтобы многие люди сознательно соучаствовали в таком развитии), то придется допустить, что и законы — как неформальные, так и формальные — стране необходимы весьма различные.

Пестрота неформальных законов для нас привычна, а вот официальных — удивительна; российское законодательство на фоне прочих федеративных государств унифицировано в уникальной мере.

Вот первая сторона дела: сузить сферу формального права, расширить возможности гибких неформальных традиций и личной ответственности. Во многом это совпадает с известным принципом дерегуляции — все, в чем люди способны разобраться без вмешательства бюрократии, должно решаться без нее.

Хорошим примером того, как это получается, служит хозяйственная деятельность православной церкви в последние тридцать лет: фондам по восстановлению церквей как-то принято было помогать, деятельным батюшкам симпатизировать, а контроль за расходованием средств считался делом внутрицерковным. В результате пропорция между руинами и восстановленными храмами в стране все-таки качественно изменилась. Если бы помощь, например, школам, техникумам и детским садам рассматривалась столь же естественной и не нуждающейся во внешних контролерах, то среди волнующих общество проблем образования сюжеты материальные занимали бы сегодня весьма скромное место.

Вторая сторона дела: на территории страны нужны разные системы законодательства. Признание России федерацией показывает путь к этому: превращение федеративных отношений из вывески в реальность и придание именно законотворческой стороне основного значения в укреплении самостоятельности регионов.

Что представляет из себя субъектность «субъектов федерации» (да и самоуправление «муниципальных образований»), каков предмет типовой региональной и муниципальной политики? Расписывание бюджета (обычно дотационного и в основном

предопределенного), хитрые операции с распределением земельных участков, поддержка крупного инвестиционного бизнеса, заходящего извне (или сопротивление ему), разнообразные отчеты «в центр» по запрашиваемым параметрам и критериям. А также устройство праздничных шоу и перерезание ленточек на торжественно открываемой детской площадке.

В подобных узкоспециальных играх действительно трудно найти место для соучастия граждан. А вот в обсуждении того, каким СанПиНам¹ быть в регионе и быть ли им вообще, как организуется управление школами, какие ограничения на производство должны накладывать правила природопользования, как должна действовать система профессионального образования, делать ли ставку на развитие библиотек или спорткомплексов, быть ли налоговой шкале ровной или прогрессивной, раздавать ли пахотную землю бесплатно своим крестьянам или продавать ее с аукционов банкам и корпорациям, развивать ли особую муниципальную полицию и какие полномочия ей вручить, какие вообще полномочия должны быть у муниципалитетов, содержать ли десятки тысяч контролеров всего и вся или достаточно дюжины, что проверять, а в чем доверять, к чему обязывать проектировщиков при строительстве новых микрорайонов и какие строительные нормативы адекватны месту и времени — эти и подобные им темы напрямую затрагивают деловую и домашнюю жизнь большинства людей; они могут быть предметом общественного обсуждения и участия тысяч граждан как в создании законов, так и в контроле за соблюдением принятых правил.

Когда на все эти вопросы от Чукотки до Ингушетии дают единый ответ, зависящий от прихоти небольших групп влияния в Москве, это обеспечивает отчуждение людей и от общественной жизни, и от государства, и от хозяйственных инициатив. Им остаются адаптация к прихотям московских колонизаторов (или меценатов, что реже) и выстраивание «теневой» системы неформальной экономики. Когда региональным законам позволено колебаться лишь чуть влево или чуть вправо от генеральной линии, все понимают, что здесь не то место, куда есть смысл прилагать усилия.

Вот главный вектор потенциальных перемен региональной политики: широкое участие людей в выработке законов и особых норм местной жизни, а не участие в эпизодических шоу по выбору местных предводителей-губернаторов. Не раз в пять лет, а постоянно, не только листочком, брошенным в урну, но и участием в формировании мнения близких сообществ, которые постоянно включены в процедуры принятия решений на разных уровнях. Необходимо получить в свои руки не призрачную каплю власти над верховной властью, а существенную часть влияния на действующие законы собственной жизни.

Впрочем, сама административная карта страны словно иронизирует над проектами рассредоточения правового регулирования. На ней видна дюжина потенциально самодостаточных в социально-экономическом плане краев и республик, а прочие нарезаны по принципу административного удобства для контроля и распределения. Из живущих с протянутой рукой получают плохие законодатели...

- Способность к хозяйственной самостоятельности;
- удобство жизни по местным законам и нормативам;
- существенное взаимное усиление составляющих регион областей для перспектив общего развития —

такими видятся три понятных критерия для реальной субъектности российского субъекта федерации.

Оставим за кадром тему национальных республик (наиболее значимые из которых как раз вполне состоялись «территориально»); но что может представлять собой перемена границ русских регионов на основе подобных критериев?

¹ Санитарные правила и нормы.

...Однажды редакция газеты для учителей географии подготовила любопытную карту Центральной России, где выделила исторические города, утратившие городской статус. Вокруг Москвы на расстоянии 300—400 километров резко очертился пунктирный круг: Ардатов, Васильсурск, Пронск, Кадом, Сапожок, Кромь, Одоев, Чернь, Красный, Демянск... Своего рода граница ареала, из которого мегаполис на протяжении столетия вытягивал людей. Не такова ли опорная линия для естественных границ действительно полноценного субъекта федерации, в который Москва вдохнула бы обратно вытянутую прежде энергию?

«Перепады давления» между Москвой, Подмосковьем и окружающими областями могут быть выровнены в условиях единого инфраструктурного и нормативного планирования, московские пенсии не отличались бы от ивановских, но зато и Москве стало бы гораздо проще возвращать активных людей с их деятельным отношением в опустевшие области; одни территории перестали бы задыхаться от перенаселенности, другие от безлюдья. При этом единство правового и бюджетного пространства Центральной России настолько же оправдано, насколько оправдано и качественное отличие его законодательной базы в сравнении с Уралом, Доном, Татарстаном, Башкортостаном, Северной Россией и т.д. (Иногда, впрочем, может быть оправдан и шаг к разьединению: например, далеко не очевидно удобство единых правовых норм для Кубани и Причерноморья.)

Не будем увлекаться географическими фантазиями; становление подлинно самостоятельных русских регионов, способных образовать реальную федерацию, — дело исторических перемен, на которые многое повлияет сильнее, чем наши рассуждения. Но сам сюжет подобных перемен вряд ли обойдет нас стороной.

Справедлив вопрос: что же, импровизированные местные законодатели будут создавать заведомо лучшие правовые нормы, чем собранные со всей страны специалисты? Нет. Но результат уже в среднесрочной перспективе будет намного удачнее: не в силу талантов региональных юристов, а из-за того, что в стране заработают конкурентные подходы к решению общезначимых проблем. В течение нескольких лет наглядно проявятся удачные и провальные решения, покажут себя удовлетворенность, безразличие или возмущение людей. Обмен опытом правового регулирования станет динамичным, плодотворным и интересным для многих процессом. Так российское законодательство могло бы интенсивно развиваться естественным путем — через проверку адекватности обстоятельствам, заимствование удачных решений и быстрый отказ от провальных¹.

Наконец, третья сторона. Со времен царя Ивана Васильевича в стране заведено отделение дел спокойных, здравых, человеческих от деятельности (как бы это сказать помягче...) «великодержавной». Опричнина не раз приводила страну на грань краха, земщина когда спасала (как после Смутного времени), когда резко облагораживала облик страны (как в пореформенной России XIX века, в усилиях научной и провинциальной интеллигенции в 1920-е годы, в творческих и деловых инициативах перестроечной эпохи).

От великодержавности, опричнины и казенщины нам вряд ли суждено избавиться; слишком привычно у нас «такие погоды и власти стоят». Придать человечность имперской политике столь же малореально (как, впрочем, не густо демократии и гуманности найдется в функционировании любой великодержавной государственности). А вот отграничить ее, убедить не лезть в «земские» дела, удовлетворяться своей «десятиной» — задача реалистичная. Если с таким разделением справляется государственная структура не только у американцев, но у индусов и бразильцев, то неужели мы так безнадежны?

¹ «Ухудшающий отбор работает везде, где потребитель не в состоянии оценить качество продукта» — таков известный экономический закон. Сравнение своих правовых норм с юридической продукцией соседей — прекрасный метод оценки качества.

Договорившись о главном, далее можно пытаться искать в «казенщине» какой-то конструктивный для страны смысл. Да, политика и правящая верхушка «великодержавных» государств формируются в большей мере на основе преемственности, чем выборности, — и это может быть полезным фактором устойчивости в большой динамической системе. Сам «карьерный мир» великодержавных иерархий привлекателен для многих; иногда он способствует интенсивному профессиональному развитию и формированию элитных сообществ с особыми компетентностями; для них масштаб имеет значение. Общегосударственные программы часто эффективны для решения задач, имеющих простые, но затратные решения. Если бы еще удалось потеснить силовые карьерные сферы научными и технологическими (последовательно подавляемыми ныне) — то с миром великодержавных иерархий стране получалось бы не без пользы уживаться. Но бюрократическая (да еще и погромно-силовая) рамка с ее утопическими и репрессивными нормами должна перестать тотально охватывать страну и свернуться к размерам адекватной ей «казенной десятины».

«Микроуровень»: антишоковое устройство общества

При любых порядках, при любых «стратегиях разных скоростей» стране все равно суждено жить в мировой атмосфере стремительных перемен. Психическое здоровье людей и моральное здоровье общества будут определяться личными способностями справляться с вызовами постоянных встреч с непредсказуемым, незнакомым, инакомыслящим, инакодействующим; с новшествами, выдвигающими странные требования и предложения.

Общество, которое учится выдерживать лавину потрясений, должно быть пронизано образовательными структурами, которые создаются и заполняются не столько профессионалами, сколько помогающими друг другу людьми. Здесь есть к чему присматриваться и о чем размышлять; но я позволю себе не быть оригинальным в такой теме. Удовлетворюсь несколькими идеями-иллюстрациями из уже упоминавшейся книги Элвина Тоффлера¹.

«Анклавы прошлого и анклавы будущего» — так обобщенно характеризует Тоффлер необходимые структуры по адаптации людей к современной динамике жизни.

Он обсуждает возможность «анклавов», действующих по принципу «работай-учись-и-играй»: своего рода музеев будущего, обучающих людей справляться с универсальными вызовами новых социальных технологий и со своими собственными личными «завтра». Вот несколько проектных ходов:

«...Астронавтов, летчиков и других специалистов часто тренируют, помещая в тщательно смоделированную ситуацию и среду, в которой им в будущем реально придется работать. Нет причины, почему тот же принцип нельзя было бы расширить. Перед переводом работника на предприятие, находящееся в другом месте, ему и его семье нужно показать подробные фильмы об округе, где они будут жить, школе, куда будут ходить их дети, магазинах, где они будут делать покупки, может быть, даже об учителях, продавцах и соседях, с которыми они встретятся. Мы можем снизить их тревогу по поводу неизвестности и заранее подготовить их к решению многих проблем, с которыми они, по всей вероятности, столкнутся.

...Для людей, которые проходят в одно и то же время через схожие жизненные изменения, можно создавать временные «ситуативные группы».

¹ Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002.

*...Можно поддерживать добровольных консультантов, вооруженных собственным недавним опытом и работающих как волонтеры или за минимальную плату.
...Можно создавать «дома на полпути» — некие буферные зоны, где человек мог бы начать осваивать новый образ жизни, не порывая резко с предыдущим».*

Не в меньшей степени варианты решений Тоффлер ищет и в «анклавах прошлого»: *«Ни одно общество, мчащееся навстречу грядущим бурным десятилетиям, не сможет обойтись без специализированных центров, в которых темп перемен искусственно сдерживается. Это такие особые территории или заповедники прошлого, в которых реорганизация, новизна и выбор намеренно ограничиваются. Такие возникающие сообщества не следует высмеивать; их нужно субсидировать как форму психического и социального страхования. Во времена чрезвычайно быстрых перемен более широкое общество, весьма вероятно, может совершить непоправимую, катастрофическую ошибку. Распространяя анклавы прошлого, мы увеличиваем шансы, что будет тот, кто в случае массового бедствия соберет осколки. Чем динамичнее общество, тем нужнее субобщества, перед которыми ставится специальная задача оставаться в стороне от новаций».*

Вечно ругаемые инерция и «ретроградство» системы образования могут быть в чем-то повернуты таким образом, чтобы сделаться ее преимуществом. Любая самая обычная школа может послужить в какой-то мере «анклавом торможения перемен», берущим ребят под свою защиту от нервного истощения, которым бывает поражена немалая часть взрослого населения. И прямо наоборот: школьные (а впрочем, и библиотечные, музейные, производственные, офисные и многие иные) пространства могут выполнять роль тех самых тренировочных центров «работай-учись-и-играй» по правилам завтрашнего дня.

Так могут складываться простейшие элементы «антишоковой» системы образования, растворенной в обществе и ориентированной на взрослых не меньше чем на детей, на складывающиеся группы — в той же степени, как на одиночек, на семьи — равно как и на предприятия.

Множество таких структур и проектов представлено в современном мире; возникают они и в России¹.

Итак, вот общая модель гибкой адаптации людей к темпам ускоряющейся жизни: система взаимодействия *анклавов прошлого* и *анклавов будущего*. Ключевое слово — взаимодействие; те самые «диагональные» связки между разными укладами жизни и стилями мышления. При этом личные стратегии (позволяющие каждому регулировать нагрузку перемен относительно самого себя), стратегии образовательные, стратегии общественные также должны переплетаться, опираться друг на друга.

«Средний уровень»: «кризисный менеджмент» в общественном пространстве

Система поисковых отрядов «Лиза Алерт» по розыску пропавших детей; волонтерские команды по тушению лесных пожаров; «Город без наркотиков»; некоммерческие организации, помогающие сиротам и выпускникам детских домов; «Живой город», «Архнадзор» и прочие движения по защите историко-культурной среды городов — все они решительно и самоотверженно берут на себя те функции, которые как бы должны выполнять государственные структуры. По мере того как казенные учреждения продолжают все хуже справляться со своими обязанностями,

¹ Наглядным примером могут послужить расцветшие в последние годы детские города профессий «КидБург», «Мастерславль», «Кидзания», где ребятам предложены и мастерские по овладению разными умениями, и обживание модели «взрослого» города с его социальной структурой и деловой жизнью.

роль таких волонтерских структур будет часто становиться решающей; иногда — даже с точки зрения выживания людей.

При почти гарантированном кризисе системы управления в России и не исключенном ее полном коллапсе определяющую роль в степени катастрофичности/конструктивности хода дел как в конкретных местностях и регионах, так и в стране в целом сыграют следующие обстоятельства:

- будут ли способны какие-либо организованные группы брать на себя ответственность за развитие событий;
- будут ли они учитывать наиболее острые проблемы и ключевые интересы разных социальных слоев;
- смогут ли они договариваться с необходимыми партнерами и вырабатывать совместные здравые решения?

Наличие в стране десятков команд и сообществ, состоящих из ответственных и зачастую самоотверженных людей, создавших успешные прецеденты масштабных социальных действий, позволяет надеяться, что у позитивного решения главных вопросов будет шанс. Слаба среда взаимодействия таких сообществ, ничтожно их политико-экономическое влияние, мал опыт решения многоаспектных, комплексных вопросов. И все же результативные и систематические организаторские действия в кризисных обстоятельствах окажутся возможными скорее не в логике бизнеса, не в категориях политической борьбы или администрирования, а по правилам и нормам общественной деятельности. Люди политики и бизнеса часто будут необходимыми соучастниками позитивного развития событий, но модератором взаимодействия с большей вероятностью будут становиться люди общественных инициатив.

Возможно ли создание специальной среды для культивирования их лидерских умений? Как ни странно, аналогичный опыт в стране был. Можно вспомнить центры НТТМ («научно-технического творчества молодежи») в годы перестройки, создававшиеся как «инкубаторы» будущих предпринимателей. В этих центрах активные люди:

- учились ведению бизнеса в СССР — где никакого бизнеса тогда не было и рассказать о том, «как надо его вести», никто не мог;
- налаживали деловое взаимопонимание и приобретали необходимые связи;
- переводили заявленный в центрах НТТМ формат «предприимчивого изобретательства» в формат «изобретательного предпринимательства»;
- создавали среду, притягивающую актуальные бизнес-идеи, которые могли подхватываться участниками сообщества.

Просуществовали центры НТТМ недолго, но образовательный эффект остался весьма заметен; оттуда вышло немало известных предпринимателей. Напрашивается жанр аналогичных центров, где внимание было бы сфокусировано не на правилах бизнес-мышления, а на логике социального действия.

Еще один аспект. Лидерам общественных инициатив потребуется усиление инструментами анализа и проектирования территориального развития. Причем нужны будут не рецепты решений, а опыт разработки адекватных подходов к социальным, культурным и экономическим проблемам. (А на фоне торжествующего сегодня шаблона безнадежно-негативных оценок российского общества даже непредвзятая исследовательская установка относительно его ресурсов и возможностей в каждом конкретном месте выступает нетривиальной задачей.)

Этим сближается сюжет лидерства в общественных инициативах с тем, что принято именовать социокультурным подходом. Его особенность в ориентации на тесную связь между задачами комплексного развития территорий и процессами,

происходящими в сфере социальных коммуникаций, ценностями и традициями местного сообщества, опытом людей; он нацелен на поиск мест стыковки инновационных проектов и особенностей привычного уклада жизни, типовых решений и конкретных человеческих возможностей.

На таком фоне и может намечаться формирование новой «смысловой среды» для обсуждения культурных и деловых оснований развития российского общества, образов его позитивного будущего.

Уровень оценки: фильтр детского взгляда

«Все мы под Богом ходим», — вспоминает время от времени верующий человек; и для него образ благополучной страны определяется не показателями богатства, не боевой славой и не мерой технического прогресса, а тем, насколько достойной выглядит жизнь людей его родины в глазах Всевышнего.

Увы, по критериям «божественного взгляда» нам согласия не достичь; каждый к ним относится уж очень по-своему. Невелики шансы и на диалог-согласие старших поколений: каждый слишком сресса со своей оценкой «образов прошлого», и оценки эти бывают полярны. «Деревья прошлого» мало кому не закрывают «лес будущего» (да и небесный свод), так что вряд ли сегодняшним российским гражданам суждено признать общие цели и ценности.

Но есть еще один, довольно надежный способ выбора критериев: ощутить происходящее детским взглядом и чувством, оценить окружающую среду как образовательную, формирующую детскую личность. О том, чему явно не место в детской жизни, смогут договориться почти все, вне зависимости от идеологических предпочтений.

Как-то сразу понятно, что *страна-свалка, страна-руина, страна-озлобленность, страна-истерика* — это то, что явно не должно быть «питательной средой» для маленьких россиян.

Если так, то «природные» окрестности больших городов должны как-то избавиться от толстого слоя мусора, их покрывающего. Если так, то о деградировавших поселках надо беспокоиться не только в части обеспечения заработком их обитателей, но и того, как избавить их жизнь от обстановки разрухи. Если так, то дворовые площади современных многоэтажек надо отнимать у стоянок автомашин и отдавать деревьям и жителям. Если так, то телевидению потребуется возвращать благопристойность. Это отнюдь не сложно: при развесистой демагогии о диалектике творческих свобод, все понимают, что такое плохо. Такой факт наглядно подчеркивает, например, отличие телеканала «Культура» от прочих. Когда захотели сделать какой-то канал нравственно безвредным — это легко получилось. Если же влияние остального телевидения на общество остается во всех смыслах развращающим, то это показатель не «сложности современного мира», а низменных расчетов власть имущих. Для того чтобы любой телеканал выглядел для детей не вреднее «Культуры», не требуется ничего, кроме политической воли.

Но интернет?.. А вот это, действительно, из разряда сложностей современного мира. Только есть разница между водкой в магазине (которую можно покупать и не покупать, выбирать ее или другие товары) — и водкой, льющейся из крана, проведенного каждому на кухню. Про магазин можно дискутировать, а краны пора законопачивать.

Еще одна важнейшая тема: хватит запугивать детей, хватит всей средой публичного пространства формировать из них трусов и невротиков.

Плакатами и радиовоплями об угрозах терактов заполнены стены вокзалов и транспортный эфир даже в тех регионах, где отродясь не видели ни одного террориста. Правда, в тех же областях тысячи людей ежегодно гибнут в пьяных семейных драках, в автокатастрофах, в подростковых стычках — отчасти подпитанных той невротизацией,

что нагнетается навязчивой «борьбой» с мифическими ужасами, далекими от местной действительности.

«Я хороший, мир хороший, все друг другу помогают!» — примерно под таким девизом должен входить маленький ребенок в большую жизнь, чтобы стать психически здоровым, активным и социально адекватным человеком. Для психологов это едва ли не аксиома. Очистить звуковое и зрительное пространство страны от нагнетания угроз, образов зла, шизофренических истерик, ожидания неминуемых бед — важнейший фактор педагогической гигиены.

Когда взрослые люди начнут размышлять о пространстве своей жизни как о таком, где детское измерение должно преобладать, тогда о многом им станет договариваться гораздо легче. В таких обстоятельствах и в самих себе люди быстро замечают добрые изменения. Здесь я бы воспользовался цитатой из книги Т.В.Бабушкиной, замечательного отечественного педагога, не так давно ушедшего от нас: «Взрослый, душевно живущий рядом с ребенком, обладает даром вернувшегося времени. Он как бы возвращается сквозь время назад и имеет счастливую (подчас трудную) возможность снова пережить или дополнить его. Человек, думающий о судьбах Детства, может прокладывать свое собственное время через всеобщие уроки и уравнивающие обстоятельства; он умудряется сохранять личностно-значимое, то, что особенно ценит, — и может пытаться привнести свои ценности в современную ситуацию, чуть меняя ее к лучшему»¹.

* * *

Таким получился лирический итог статьи. Дополню его еще и юридическим.

Конституция Российской Федерации начинается с преамбулы. В ней указаны те основания и обстоятельства, которые послужили поводом к созданию Конституции и предопределяют ее содержание². В преамбуле заявлены три позиции, которые призвана утвердить российская Конституция:

- права и свободы человека,
- гражданский мир и согласие,
- незыблемость демократической основы суверенной государственности России.

Так что прочитанная вами статья — не более чем обсуждение того, как двигаться в сторону тех ценностей, что указаны в качестве базовых для всех российских законов.

¹ Бабушкина Т.В. Что хранится в карманах детства. СПб., 2013.

² Вот текст преамбулы отечественной Конституции: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации».

Керен Климовски

Заметки фестивального путешественника

Попытка анти-травелога

С тех пор как мы с мужем создали свой театр, мы бываем на театральных фестивалях в настолько необычных местах, что захотелось вести путевой дневник... Хотя — в чем смысл таких заметок в наши дни? Это раньше можно было удивить рассказами об экзотическом быте и нраве туземцев в духе Афанасия Никитина. А сейчас... есть энциклопедии, журналы, телевизор, интернет, где любую информацию находишь за две минуты. Впечатления от увиденного — просто предлог поговорить о своем: любая замеченная мелочь, незначительная деталь выдают то, что волнует на самом деле, а все остальное — лишь повод для беседы (или монолога). И речь не только о путешествиях. Все настолько названо, угадано и изучено, что напрямую говорить ни о чем невозможно...

Косово

Наверно, это самое необычное место в Европе. И очень красивое. Городок Пейю окружают высокие горы, кое-где на вершинах остались ледники, везде водопады, ручьи, туман. За полтора часа мы доехали до границы с Черногорией (и повернули обратно, пообедав в придорожной харчевне) — здесь все близко. В июне уже цветет липа, и ею пропитан весь горный воздух.

Люди здесь гостеприимные, веселые, но атмосфера тяжелая. В очень похожей по духу Македонии гораздо радостнее, хотя Македония беднее — самая бедная европейская страна. Но македонцы — свободные, а в Косово... Слишком много стран не признают это государство, и доставшаяся тяжелой ценой независимость не принесла счастья. Выехать куда-либо непросто, а часто — невозможно. Жители Косово живут заложниками в собственной стране...

Висит в воздухе какая-то безысходность. Не случайно все пять коротких моноспектаклей учениц третьего курса театрального университета — невероятно жестокие: о насилии над женщиной, убийстве женщины, самоубийстве, о тяжелой женской доле — эти 20-летние девушки не видят здесь будущего...

Фестиваль — самый бедный из всех, на которых бывали, но, пожалуй, один из самых душевных. Здесь еще действуют другие законы отношений между людьми, и поэтому Ментор Зигберей — организатор фестиваля, — не получив денег от государства (или получив копейки) поселил нас у друзей, кормил у друзей (каждый раз в другом месте — очень щедро, очень вкусно: запеченные кабачки с брынзой, греческий салат,

сыры, домашнее вино...) Ментор родом из этого городка, здесь все — его друзья, поэтому фестиваль в Пейе, а не в столице.

Один из друзей Ментора — Дживи — бесплатно возит гостей фестиваля. Лет пятидесяти, приземистый, коренастый, смуглый, с трехдневной щетиной и неизменной улыбкой на смуглом лице. Мне все время хочется назвать его грузинским именем Гиви... Объясняемся мы преимущественно жестами, но прекрасно понимаем друг друга. Выйдя из аэропорта и увидев красную шкоду-развалюху, настолько маленькую, что сзади дверей нет и пролезать на заднее сиденье надо через передние, мы с Илюшей напряглись. С Илюшиным тромбоном, электроникой, да еще сумкой с летними платьями, мы просто не поместимся. Но Дживи, увидев наши лица, сделал характерный жест рукой: не волнуйтесь, все будет хорошо! И начал колдовать: что-то сдвигал, раздвигал... В итоге вместились. Хотя ехать мне пришлось с тромбоном между ног...

От столицы до Пейи всего 50 километров, можно было бы спокойно добраться за час. А мы едем почти два. Такие тут дороги. «Хуже, чем в Роуд Айленде!» — говорю Илюше. (Мой любимый американский штат известен отвратительными дорогами.) Но здесь, в Косово, кое-где просто нет асфальта. А там, где есть, — сплошные ухабы и ямы. Разметок на дорогах нет, разделительной полосы — тоже... После двухчасовой тряски я, уставшая и злая, ничего хорошего уже не жду. И вдруг Дживи подает мне руку, когда выхожу из машины. Для меня это настолько непривычно и неожиданно, что смущает, кажется лишним. Но потом понимаю, что это — искренне, не как часть этикета, а скорее как своеобразное извинение за «тяжелые боевые условия». На третий день начинает звать меня «принчипесса» (это потому, что у меня красивое платье, уговариваю себя, чтобы не подумать: это потому, что избалована...) Расплывается в улыбке и говорит «принчипесса», и я каждый раз вспоминаю фильм «Жизнь прекрасна» и невольно улыбаюсь. Впрочем, Илюшу Дживи зовет «маэстро». Он говорит с нами по-албански, и через пару дней мы даже начинаем его понимать...

Режим фестиваля щадящий: есть время побродить по городку — по небольшому рынку, по центральной площади, где каждый вечер разъезжают на машинках дети, постоять на мосту над почти высохшей мелководной речушкой, посидеть в кафе (их здесь всего три). Перед каждым спектаклем пьем крепкий кофе, который здесь варят на песке (как арабы). По-сербски местные албанцы говорят — при необходимости. Так мы с Илюшей и общаемся со многими, кто английского не знает: по-польски, с вкраплением десяти сербских слов, а нам отвечают по-сербски. Хотя предпочитают по-албански.

На закрытии выступает министр культуры и спорта (если я правильно поняла), толкает речь. К сожалению, фестиваль неудачно совпал с Рамаданом: многие рестораны открываются после 8, и едят здесь в 9—10 вечера, поэтому на спектаклях полупустые залы: после голодного дня, выбирая между едой и «прекрасным», многие предпочитают первое (их можно понять). Но в целом ислам здесь своеобразный: вино, пиво, водка текут рекой. Женщин в парандже или хиджабе — очень мало...

Война уже не ощущается здесь, но каждый мужчина старше тридцати пяти прекрасно ее помнит. Полгода спустя Ментор, известный в Косово актер и режиссер — веселый, разбитной, щедрый и многодетный — наотрез откажется привозить на наш фестиваль в Мальме (пока только планируемый) спектакль о войне. Нина Мазур из Ганновера — ответственная за монофестивали от ИТІ, ЮНЕСКО, создавшая больше 60 фестивалей во всем мире, говорит, понижая голос, что все первые спектакли Ментора — о войне — жестокие, яростные, полные отчаяния: «Их было очень тяжело смотреть». А теперь Ментор не хочет, категорически. Наверное, не может больше играть на пределе, боится. Ведь иногда, ковыряя, занозу вытаскиваешь, а иногда — только загоняешь глубже. А Ментору есть что вспомнить. Нина рассказывала, что во время войны Ментор бежал — с женой и маленькими детьми. Автобус остановили сербские солдаты, всех выгнали и повели на расстрел. «Как же так, —

крикнул Ментор, — я учился у вас, у сербов, меня ценят в Сербии как актера, только сегодня я получил письмо от своего учителя — знаменитого сербского режиссера. Неужели вы хотите убить меня и мою семью? Я не верю!» Сербский солдат рассмеялся, когда Ментор назвал ему имя — даже он его знал. «Что общего имеет наш великий художник с такой тварью, как ты? Ты лжешь!» Ментор достал письмо из кармана и протянул солдату. Тот внимательно его прочитал. Еще раз взглянул на Ментора: «Бери свою суку и своих выроdkов и уходи, быстро!» И они убежали, даже вещи не взяли. Бежали и слышали залпы — расстреливали автобус... А я думаю: взял ли Ментор письмо, понимая, что оно может его защитить? Или просто случайность: запихнул машинально в карман? И не состоит ли все в жизни из таких вот случайностей?..

Приехали на фестиваль в основном из балканских стран, из западной Европы — только мы. Пожилой турок (на самом деле курд из Турции), игравший «Последнюю ленту Краппа», показывает монету, утверждает, что ей почти 2000 лет. Монета бронзовая, стертая, ни рисунка, ни букв не разобрать...

А еще я узнаю, что по-хорватски актер — глумец. То есть тот, кто глумится...

В Косово невероятно красиво, чисто, вкусная свежая еда (то, что называется *organic*, хотя здесь не мыслят этими понятиями) — золотая жила для туризма. Но туризмом никто не занимается. Иностранцев крайне мало: мы — те, кто приехал на фестиваль, — чуть ли не единственные. Еще в гостинице, которая напоминает скорее музей забытых вещей (сельский стиль, старая антикварная мебель, швейная машина), знакомимся с эксцентричной немецкой теткой. Встреча очень забавная: в три часа ночи выхожу из комнаты в фойе, где немецкая тетка громко болтает и смеется с хозяином гостиницы, и вежливо, но довольно свирепо прошу: «Потише!» Утром немка видит, что я ищу кого-то, кто объяснит, как включать горячую воду. Она спускается этажом ниже, в бар-ресторан, где Илюша пьет пиво с хозяином гостиницы, и сообщает последнему: «The bitch from 101 wants hot water!» На что Илюша с угрозой в голосе говорит ей, что «the bitch from 101» — его жена, так что поаккуратней. Немка громко смеется (она совсем беззлобная, просто резкая), идет наверх сообщить, что я просто забыла нажать на кнопку подогрева. Когда я спускаюсь вниз после душа, встречает меня, как лучшую подругу (забыв, что я — «bitch»), садится за соседний столик во время завтрака (который с каждым днем все меньше и скуднее) и за полчаса рассказывает свою биографию. Ей 54, хотя выглядит старше: глубокие морщины, слишком загорелая кожа, ярко зеленые тени. («Разве она не девушка по вызову?» — удивляется Нина.) Из Штутгарта. Дети (их трое) выросли, и она начала путешествовать на машине по Европе. Сама. На бензоколонке познакомилась с немолодым немцем, инженером, который работает здесь, в Косово, и переехала сюда. Правда, сейчас с ним поскандалила — поэтому в гостинице, улетает в Германию на пару недель, но уверена, что вернется. Влюблена в эту страну — даже в особое «балканское время» (то есть когда говорят «в восемь», а имеют в виду «между девятью и десятью»), говорит, что надоело жить в Германии, где все «квадратные» (показывает руками) и очень любят правила. Смеется — залиvisto, как молодая девушка. Она совершенно счастлива, даже сейчас, после ссоры со своим мужиком.

Дживи до сих пор часто пишет нам на фейсбуке: загоняет текст на албанском в гугл-переводчик и копирует «перевод» — по-шведски или по-английски. Получается бред сивой кобылы, но общий смысл ясен — он всегда один и тот же: «привет мой друг лучше, я желаю вам лучше следующие мо princezes Elias свою семью, но и весь dshiroj для вас...»

Кыргызстан

Первое впечатление: следы советского в сочетании с исламом. От советского: широкие бульвары, сталинская массивная архитектура, площадь Победы с внушительным монументом, памятники (в том числе гигантский памятник Ленину в Чуйской долине). А когда после завтрака, очумевшие от разницы во времени, засыпаем, через пару часов нас будит муэдзин, который слышен и на девятом этаже гостиницы (типично советской). Ислам здесь, конечно, своеобразный, с местной спецификой. Например, по каноническим исламским законам хоронят в тот же день — до заката. А в Киргизии — через три дня. Как дань тому времени, относительно недавнему, когда народ кочевал, и перед тем как проводить человека в последний путь, надо было успеть собрать всех родственников.

Все говорят по-русски, это — второй язык. Помимо важности «Евразийского союза» — экономических связей с Россией, русский еще и неизбежность: огромная часть профессиональной литературы на киргизский пока не переведена. Думаю: станет ли киргизский когда-нибудь таким языком, на который будет переводиться все необходимое? Вроде казахского. У них, в соседней стране, дела обстоят лучше. Правда и там без русского не обходятся... Из того, что я поняла от наших киргизских театральных друзей — из обрывков фраз, диалогов между собой, — жители южного региона Ош русского не знают, зато владеют узбекским. Между севером и югом — почти вражда. Не открытая, скорее отчуждение, «холодная война». На уровне: «Представляешь, у нее невестка из ошских — бедная!» Все нюансы и тонкости этого раскола я не поняла, да и не вникала, но думаю, что в первую очередь он связан с тягой к разным культурам — азиатской (мусульманской) и российской. И здесь, в этой дружелюбной, гостеприимной (хоть и очень бедной) стране — тоже раскол. Как и во всем остальном мире. Бежать некуда... Со временем (а прошло 22 года с тех пор, как я впервые узнала про это на уроке Торы во втором классе) я все больше понимаю смысл наказания за строительство «вавилонской башни». Хотя для меня языки в своей разности и разнообразии — это бесконечная радость и роскошь. Но каждый язык — не просто набор слов, а система мышления, восприятия мира (потому и интересно их изучать), а если бы один на всех, жить и думать было бы гораздо скучнее, но и делить было бы нечего...

Жара. В Швеции уже осень, а здесь 33 градуса... В сентябре — великолепие лета: свежие дыни, арбузы, клубника, малина, ежевика. А рядом, на том же прилавке, — осенние сливы, яблоки, облепиха. И виноград. Самых разных сортов, цветов, величины. Больше всего знаменитого сладчайшего кишмиша. Альвидас, литовский режиссер, перед вылетом закупает два килограмма винограда — друзьям: «В Литве никто уже лет 10 не ел настоящий виноград!», — сокрушается Альвидас, гурман и жизнелюб. А еще на рынке — овощи, сыры, мед, какие-то восточные сладости, одежда, техника — все на свете! Здесь, на рынке Аламедины (есть еще и Ошский, но туда мы не доехали), краски ярче, чем в городе. Многие женщины, особенно пожилые, носят национальную одежду. Глаз не могу оторвать от старушки в длинном сине-зеленом платье, сиреневых гетрах и сиреневой накидке, в сером платке, обмотанном вокруг головы, — чуть ли не иду за ней следом... Некоторые женщины — в пестрых хиджабах. Но таких немного. «У нас, в Швеции, женщин в хиджабах гораздо больше!» — отмечает Илюша.

Рыночный буфет-забегаловка с неработающим вентилятором, входом из *пластмассовой (полиэтиленовой?)* занавески и мухами, которые трудятся на две ставки. В меню — шашлык и манты, пиво и вино на разлив. Крепкий черный чай с чабрецом — здесь его подают в пиалах. В пластмассовой бутылке из-под минеральной воды — уксус, в нем плавают красный перец и укроп. Мы присели отдохнуть,

нагруженные сетками. Как будто сцена из какого-то фильма пятидесятилетней давности — не надо никакого бутафора.

Илюша ведет себя несносно: раздраженно комментирует мои покупки («Мы это не донесем — превратится в варенье! Куда столько? Мы не съедим!»), язвит, всячески демонстрирует, что на рынок идти не хотел и что я его затащила туда чуть ли не силой. Наконец, я обижаюсь и прекращаю с ним разговаривать. Илюша спохватывается, меняет тон. Но уже поздно: я дуюсь и демонстративно его игнорирую. В полной тишине мы проходим мимо тележки с мороженым. Сверху на дощечке выведено красными буквами: *бальмуздак*. То есть бальмуздак — это по-киргизски «мороженое». «Прости меня, — находится Илюша, — я вел себя, как полный бальмуздак...» И я, конечно же, не могу сдержать смех и прощаю, а слово входит в семейный обиход. За всю поездку это единственное киргизское слово, которое мы запомнили.

Организатор фестиваля — шестидесятилетняя красавица Айгуль (именно красавица — бывают такие женщины: очень яркие, независимо от возраста, которых даже полнота нисколько не портит), бывшая Цыцыгма (хотя бывает ли имя бывшим?) и бывшая балерина, бурятка, воспитанная русской мачехой, не знающая своего родного языка, бросившая балет ради любимого мужа — знаменитого киргизского актера Арсена Умураллиева, который снимался у очень известных режиссеров, в том числе у Тарковского, Чухрая. Айгуль — художественный руководитель театра, который они создали с мужем больше двадцати лет назад. Играют только на киргизском. Айгуль назвал ее муж — дал ей новое имя — высшая степень приручения. Ей во всем помогает старшая дочь — Аалама — зам. директора, координатор программ в театре. Спокойная, ровная, доброжелательная. Арсен (его все звали Арсен байке, что означает «брат») ушел рано — и семидесяти не было, с тех пор прошло уже больше десяти лет, а в программке фестиваля о нем написано, как о живом. Я даже сначала подумала, что он в отъезде, а потом поняла: просто для них — не только для жены и дочери, но для всего театра — так и есть: Арсен — живой.

Когда в первый вечер мы приходим в театр за час до спектакля, там и другие гости — немцы. Джулия — продюсер из Берлина, лет шестидесяти, вся в веснушках, с белыми волосами. По-английски говорит плохо, поэтому общается с ней в основном Илюша, с радостью вспоминающий немецкий. Но Джулия и не жаждет общения. Извиняется за то, что слишком асоциальна. Я спрашиваю, полушутя, как это качество сочетается с ее профессией, а она отвечает, даже не улыбнувшись: «Где еще, кроме как в мире театра, это возможно — быть такой странной, и чтобы тебя принимали?» Джулия планирует грандиозный проект с киргизским театром: спектакль, где киргизские инвалиды будут играть наравне с профессиональными актерами. Хочет вывезти спектакль в Берлин. Ее коллега-режиссер, наоборот, очень разговорчивая, тараторит без умолку на все темы, настойчиво советует нам покататься на горных лошадях. (Горные лошади — как горные велосипеды? С дополнительным рычагом для скоростей?) А самый интересный в их компании — безрукий фотограф. Вместо рук у него несуразные куцые пингвины лапки с легким намеком на пальцы. Но этими «лапками» он очень ловко и лихо держит фотоаппарат и прекрасно фотографирует. У него рыжая борода с еле заметной сединой, напоминает он гнома в очках. Фотограф веселый и любопытный, и немного застенчивый, неуверенный в своем английском. Предлагает устроить нам маленькую фотосессию, записывает адрес, чтобы потом прислать фото, а я все думаю: как он ухитрится держать ручку?.. И мысленно приказываю себе, видя, как просто и мужественно держится этот человек, постоянно преодолевая довольно тяжелую инвалидность: больше не ныть, никогда, никогда больше не ныть по мелочным, пустяковым поводам. И знаю, что приказ не выполняю...

В ресторанах, куда нас водят, закармливают: бешбармак, лагман, манты и другие блюда из баранины — все названия не упомянуть. Лепешки и жареный хлеб, похожий на пончик, только не сладкий. Свежие овощи и зелень, рулеты с брынзой, колбасы из

баранины и конины, густая сметана, в которой стоит ложка (такую нигде никогда не ела), десятки разных чаев, из них один — с медом и мятой — как марокканский. И всегда на столах фрукты — кишмиш, бананы, яблоки. Здесь все экологически чистое, и не за бешеные деньги, а потому что другое не выращивают. И стада пасутся на лугах круглый год. «Поэтому такое вкусное мясо!» — хвалятся киргизы. После шведских крохотных порций, привычки не есть после шести вечера и т.д. приходится расстегивать пуговицу на брюках — маленькая хитрость, которую переняла от одной знакомой израильтянки, тоже Керен, только родом из Аргентины, с которой была знакома в наши 16 лет.

Несмотря на то, что завтра — наш спектакль, мы до двух ночи тусуемся с Вячеславом и улетающим Володей — наконец-то посмотрели «Новеченто» наших московских друзей: спектакль по культовой пьесе итальянского писателя и драматурга Алессандро Баррико. Удивительно то, что я видела уже несколько «Новеченто», и все — очень удачные и разные. Может, люди, которые выбирают этот материал, особенные? То есть, те люди, для которых важна эта история, просто не могут плохо ее рассказать? ... Привычно ставлю будильник на 8 утра, забыв, что часы в телефоне на киргизское время не перешли. Илюша чудом просыпается в 9:45, за 15 минут до того, как надо выходить из гостиницы, и успевает проворчать, что, мол вот, говорил же, что будильник нет смысла ставить, что он все равно проснется... Еще никогда я так быстро не собиралась! Вместо завтрака беру с собой фрукты и шоколад и не упускаю возможности с укором сказать Илюше: «Вот видишь! А ты говорил, что нам фрукты не нужны!»

После спектакля, за ужином, травим анекдоты, театральные байки — мой любимый жанр, поэтому «травим» — это громко сказано, на самом деле я не участвую, только слушаю... Всего не упомянуть и не записать — это надо было бы сидеть с диктофоном, но тогда не интересно. Интересно только то, за что цепляется память. Запоминается ярче всего зарисовка Гали из Одессы. Она переиначивает известный анекдот о разнице между инсталляцией и перформансом (если насрал (нагадил, наделал) на коврик под дверью — это инсталляция. Если насрал, позвонил в дверь и убежал — это перформанс). «А когда рассказываю этот анекдот студентам, — говорит Галя, — то всегда добавляю: а если насрал, позвонил и дожидаясь, пока откроют, чтобы выяснить отношения, — это уже театр.»

В ресторане девичник. Шесть-семь совсем молоденьких девушек, наряженных и накрашенных, болтают, смеются, фотографируются. На одной из фотографий невеста кокетливо чуть приоткрывает ножку... А мне через пару часов сделают замечание, когда по привычке сяду на подлокотник кресла, — здесь так не принято.

В лобби гостиницы сидим и болтаем с Галей и Виталиком (их спектакль пропустили, приехав позже всех, но сразу подружился). Подходит парень — говорит, что из Казахстана. Но явно не казах. Сильно нетрезвый. Долго и упорно пытается говорить с нами на ломаном английском, хотя мы и отвечаем по-русски. Наконец врывается и начинает уговаривать Илюшу и Виталика пойти с ним в бар — выпить. Хочется сказать: тебе больше не надо, но вместо этого спрашиваю: а что ты тут делаешь? Оказывается, он приехал в Бишкек на свадьбу друга.

— А почему свалил?

— А! Надоело!

— Почему?

— *(выдержав паузу)* Понтов у нас много, а стоим мы дешево.

Эта фраза тоже надолго врежется в память и будет повторяться в нашей семье на разные лады.

А Бекпулат, казахский режиссер, рассказал мне за ужином, взгрустнув и вспомнив былые годы (это пока у остальных — сплошные байки и анекдоты), о том, как учился режиссуре. Предается ностальгии. Причем главная доминанта — чисто эстетическая.

Питер, то есть Ленинград. Семидесятые годы. Город — прекрасен и величествен. В университете его окружают старики, пережившие блокаду. Все держится с особым достоинством. «Даже вахтерша сидела с прямой осанкой, вот так сложив руки», — демонстрирует Бекпулат, и глаза его блестят. «А педагог наш так красиво курил, так красиво — аккуратно, четко, одним движением ногтя стряхивал пепел с папиросы. Сейчас даже курят как-то некрасиво, вульгарно», — грустно завершает Бекпулат свой рассказ.

У всех ностальгия, хотя по чему — непонятно. И даже не по молодости, потому что у молодых тоже ностальгия. У тех, кто хоть чуть-чуть думает. Вроде, все у нас есть, а чего-то не хватает. А может, так всегда было. Может, в этом весь смысл: в нехватке чего-то, в пустоте, которую стремимся заполнить?..

Экскурсия на четверых: мы с Илюшей и Галя с Виталиком. (Москвичи и литовцы были в горах два дня назад.) Проводник — Дания, совсем молоденький, из местной турфирмы. С гордостью рассказывает про свою страну, много знает. Ала-Арча — так называются ущелье и парк. Высота — 1200 метров над уровнем моря. Невероятные горы — наверху, вокруг, вдаль — повсюду. Туман. А на склонах — отчетливые красные и желтые пятна деревьев — то густые, то редкие. Медленно карабкаемся вверх — подъем довольно крутой. Мы с Галей устаем, время от времени останавливаемся на привалы. Мне страшно стыдно, поскольку я моложе всех, причем значительно. «Надо срочно записаться в бассейн и на йогу!», — даю себе обещание, которое повторяю уже лет 5 — безрезультатно... Дикий шиповник, можжевельник. Галя зажигает веточку можжевельника — похоже на благовония, которые я подростком покупала на блошином рынке в Яффо. Илюша говорит, что вообще-то этот самый можжевельник растет и в нашем саду. Даааа? А я и не замечала. В этом я вся. С такой наблюдательностью только в писатели лезть... «Ооо, это же *слонбэр!*» — радостно восклицает Илюша, срывая крупную синюю ягоду. «Какой еще слон?» — удивляется Виталик. «Такая шведская ягода, вроде голубики...» — поясняет Илюша и собирается откусить. «В форме змеи, блин! А ну брось немедленно, это — волчья ягода!!!» «Да ладно... Волчья ведь красная...» К счастью, Дания подтверждает, что волчья, Илюша бросает ягоду на землю, удивленно расширяя и без того большие глаза. В этом весь Илюша...

На большом камне сидят немецкие туристы из Гамбурга: им под восемьдесят, а может и за. Женщина говорит: «Мы никуда не спешим, куда дойдем — туда дойдем». Оказывается, у пожилой пары друзья в Шивике — там, где мы с Илюшей и Йосей пару недель назад собирали яблоки — в последний день лета. Маленький мир, совсем небольшой шарик, а мы его так нещадно пинаем... Тут же проходят мимо израильтяне в спортивной одежде и рюкзаками за спиной — парень и девушка. Вспоминаю, что в аэропорту встретили израильскую семью с тремя маленькими девочками: они собирались две недели путешествовать с палаткой по горам — отчаянные люди. Сегодня вечером — еврейский Новый год. Илюша играет на шофаре — прямо в горах. Сначала то, что положено, потом — *атикву* — израильский гимн. Где-то над нами, ближе к вершине горы, сейчас, наверно, изумились и порадовались израильские туристы...

Звоню маме. Она родилась и выросла в Алма-Ате, всю жизнь рассказывала мне об этих краях, как о самом райском Эдеме. Поэтому для меня эта поездка особенная — ведь Алма-Ата всего три часа езды отсюда, места очень похожие. Но сейчас мама ведет себя, как персонаж анекдота: что бы я ни поведала про Киргизию, мама перебивает и выкрикивает: «А в Казахстане — еще лучше!»

— Сам город — ничего особенного...

— Ну, конечно! Не сравнить с Алма-Атой! Там совсем другая архитектура! И Казахстан гораздо богаче — там полезные ископаемые...

— ...но природа здесь невероятная — одни горы чего стоят — такая красота!

— В Казахстане еще красивей!! С Алатау ничто не сравнится!

- ...так вкусно все...
- В Казахстане вкусней!
- ...и люди такие гостеприимные, дружелюбные...
- В Казахстане еще гостеприимней! И дружелюбней!!!
-

И не поспоришь ведь. Для нее — это явно так. И даже не в сравнении, а априори.

После литовского спектакля по Дарио Фо — чудесного и смешного даже без всякого перевода — закрытие. Актеры киргизского театра показывают две сценки без слов. Они темпераментные, органичные. Особенно женщины. А еще открытые и любопытные, трогательные — задают кучу вопросов, фотографируются с нами, как будто мы — голливудские звезды.

Живут все довольно бедно. И актеры, конечно, тоже. На одну зарплату не проживешь — они крохотные. Подрабатывать съемками, как в Москве, например, возможности практически нет. Как-то крутятся. Хотя как — непонятно. Директор театра мимоходом упоминает, что целых два года работал вообще без зарплаты. Высаживал поле картошки, копал, продавал... Но все веселые, жизнерадостные, никто не жалуется. Аалама говорит, что здесь это не принято... «Внутреннее достоинство» — так определяет это Илюша. И отношения у людей совсем другие: деньги в них не фигурируют. «Получается, что тем, кто вдали от западной цивилизации, не так уж и плохо, — говорю я Илюше. — В каком-то смысле, может, и лучше, чем нам».

Поездка на Иссык-Куль. Три часа езды в одну сторону. В дороге удается разговориться и подружиться с литовским режиссером Альвидасом, который чем-то — интонациями, комплекцией, юмором — напоминает мне моего любимого Браунского профессора Левицкого, отсюда симпатия: очень люблю таких ироничных, но добрых чудаков, особенно немолодых, тех, кто уже был на краю и немножко за, и понимает, что в этой жизни важно, а что — нет. (Уже позже узнаю о том, что у Альвидаса в пятьдесят был инфаркт, а совсем недавно он перенес тяжелую онкологию...) Даже прощаю ему фразу: «Моя бабушка говорила, что все зло — от Америки, и я с ней согласен». (Самая большая претензия Альвидаса к американцам — глобализация и «Макдональдс», что, впрочем, весьма справедливо.) «Макдональдс» — определенно зло, — говорю, — а Америку я очень люблю». Да он и не спорит. Рассказывает про своего хорька — «хориха», как он говорит. И про поездки и путешествия. Они с Витасом — техником и верным спутником Альвидаса («Шерлок Холмс и Ватсон», — мелькает у меня в голове) объездили чуть ли не весь мир — заядлые путешественники. И все им интересно, как детям! Витас, правда, полная противоположность любящего поговорить Альвидаса: высокий, лет пятидесяти, суровый, особенно в своих солнечных очках, молчаливый — даже не как швед, а как финн! Вначале думала, что он плохо знает русский, но это не так — он знает даже редкие названия растений и камней... За всю поездку Витас сказал, может, фраз пять, но каждый раз — в точку. И все покатывались со смеху. Все-таки удивительный дар у Нины Мазур, нашей «фестивальной мамы», как ее все называют, отбирать людей... Да и про саму Нину можно написать целый роман, и говорит она так, что едва контролируешь желание за ней записывать. (Какой-то голос внутри твердит: «Слушай и впитывай, не пиши, а живи, и что запомнится — то запомнится».)

Горы — другие, чем возле Бишкека. Камень и глина. Без растительности. А где-то здесь, в Чуйской долине, рядом с кукурузой, растет конопля, о которой слагают легенды... Само озеро в охристо-каменистых горах — огромное, синее, соленое, настолько похожее на море, что невольно называю его морем. И не только я... Температура — градусов восемнадцать, но кажется холодней из-за ветра. Я не рискую, а Илюша окунается и сразу выходит. Кто-то купается у мостков. Окунаю ноги в озеро, потом в песок: крупный, карамельного цвета, нагретый солнцем. Пьем напиток из

творого, раскрошенного и перемешанного с водой. Получается что-то вроде айрана, но сильнее, крепче. Заедаем лепешкой, которую испекла жена директора театра. Вдруг — порыв ветра, и все улетает: пакеты, пластмассовые стаканчики... Внезапный, резкий, сильный ветер. Марат, актер театра русской драмы (точное название: Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова. — *Прим.ред.*), говорит, что в киргизском языке у разных ветров разные имена. Страна, где важны ветры. Язык, в котором для обозначения ветра несколько слов... но я так и не успеваю спросить, записать... и книгу киргизских сказок тоже не успеваю купить, все у меня по касательной, как у очень порывистого ветра.

По очереди катаемся на трехлетней коричневой кобыле со звездой на лбу. Киргизская горная порода очень выносливая. Вечером — очередной банкет. Все продолжают пить очищенную (экологическую) киргизскую водку (а начинали еще в автобусе — к моему возмущению: для девочки, выросшей в Израиле, любой, кто способен пить водку в 12 дня, — алкоголик!). Опять байки. На этот раз звезда — Марат. Он рассказывает байки и анекдоты весь день — с того момента, как сели в микроавтобус. Такое чувство, что у него неиссякаемый запас. Мы с Илюшей реагируем одинаково: начинаем подстрекать Марата сделать сольный спектакль в жанре стендапа.

Мы с Илюшей страшно уставшие. Добром это никогда не кончается. Правда, такие безобразные ссоры случаются все реже, и мы все быстрее от них отходим, но сейчас опять момент крайней невменяемости. Я снимаю с пальца кольцо и трагическим тоном сообщаю, что на этот раз между нами все кончено навсегда. Илюша, хлопнув дверью, уходит. А мне все-таки хватает ума не бежать за ним в полудетской пижаме по коридору, а просто порыдаться и уснуть. Зато я наконец высыпаюсь... И просыпаю все: завтрак, поход на теплые источники, прогулку по озеру на теплоходе. Около полудня выхожу на пляж — все там. Илюша, бросаясь навстречу, взхлеб рассказывает о том, как встречал на озере рассвет, видел куропаток, табун лошадей... Даже, говорит, жалел о том, что тебя тут не было. Может, и стоило побежать за ним в пижаме, накинув куртку? Табун и сейчас здесь — у воды. Гнедые и черные кони, и жеребята, и среди них одна белая кобылица — на фоне Иссык-Куля, бескрайнего как море. Дикие, что ли? Ни седла, ни уздечки. Свободные. Даже если и есть хозяева, все равно свободные...

После обеда выезжаем. За час перед тем, как мы остановились купить чистый, экологический мед Чуйской долины, придумываем новый проект. А все благодаря тому, что Илюша наш злобно-веселый диалог-примирение после ссоры начинает записывать на камеру. Получается довольно забавно: я говорю Илюше, что он должен еще раз сделать мне предложение, и мы сходу начинаем разыгрывать эту сценку. И так появляется идея: вариант нашего спектакля «Саундтрек моей жизни» — о странствующем артисте. Только теперь будем снимать нашу совместную безумную жизнь — все эти поездки, и странный быт, и работу над спектаклями — ведь многие спрашивают, интересуются... И даже наши ссоры и примирения тоже снимать, в режиме *лайв*, как часть этой жизни... «Да уж, — фыркаю, — чтобы всем было ясно: идеала нет...»

Уже на подъезде к Бишкеку замечаю в небе стаю коршунов — птиц двести, наверное... Хотя именно коршуны — одиночки, они не сбиваются в стаи. Высоко, далеко. «Термик поймали», — говорит Илюша с завистью. Как известно, каждый о своем, а Илюша тоскует о полетах... Мне становится грустно. Может, потому что совсем скоро надо будет прощаться с людьми, ставшими почти родными. А может, потому что только в теории знаешь, что когда плохо — то «все пройдет», а когда хорошо — о «все пройдет» думать не стоит. Но получается ровно наоборот.

Монголия

Первое, что видим, когда приземляемся, в лучах рассвета: коричневые пятна степи и горы с белыми подтеками снега. «Как горячий шоколад, по которому растеклись сливки,» — думаю я и сразу ужасаюсь собственной пошлости. Но ведь это такой типичный ход человеческой мысли — одомашнивать все новое и пугающее путем сравнения со знакомым и привычным.

Въезжаем в Улан-Батор — плотно застроенную долину, окруженную степью и горами. Следов советской архитектуры почти нет — с тех пор, как в Монголии пал коммунистический режим и сменилась власть, от прошлого избавлялись решительно и стремительно. Сохранилось несколько зданий тридцатых и сороковых годов (например, здание театра, где проходит фестиваль), но их мало. Если не считать парутройку буддийских храмов (недействующих, отданных под музеи), Улан-Батор выглядит современно: его небоскребы вписались бы в *даунтаун* любого американского города. Один, в самом центре, похож на парус — по нему удобней всего ориентироваться. Хотя где Монголия и где море...

Город перенаселен. Был рассчитан на полмиллиона жителей, а сейчас в нем миллион шестьсот. Население всей Монголии — три миллиона. Значит, больше половины живет в столице. Постоянные пробки. Очень много машин. «Раньше каждый монгол имел коня. Теперь каждый просто обязан иметь машину», — поясняет Байра — бывший ветеринар, переводчик с русского и немецкого, красивая женщина с короткой стрижкой, в кашемировом свитере и черных брюках. Она наш добровольный гид и сопровождающий (на самом деле, не наш, а Нины Мазур, но всем остальным тоже перепадает). Нашего официального переводчика, предоставленного фестивалем, Байра незаметно и элегантно выжила. Нарядную флегматичную женщину с накрашенным вялым лицом почти до слез доводили длинные «лекции» и объяснительные монологи Байры, и еще больше — наше безраздельное внимание к этим монологам. Байру несколько раз просили не «выступать», не занимать чужое место и вообще вести себя сдержанней. Байра обворожительно улыбалась, говорила «конечно» и опять принималась за старое. Через два дня нервы официального переводчика сдали, она обиделась и ушла, фигурально «хлопнув дверью», но о ней никто даже и не вспомнил...

Байра — княжна по отцу. Очень этим гордится. И ведет себя как аристократка: прямая осанка, плавные движения, лишённые суеты, безупречные манеры, спокойная, ровная приветливость, далекая от фамильярности. При этом какой-то веселый задор. «Чертики в глазах» — так я это называю. Иногда она похожа на озорного мальчишку, оставаясь при этом княжной... Перехватывает мой любопытный взгляд и вдруг говорит: «А по линии мамы в роду были разбойники!» И смеется.

В традиционном монгольском чае с маслом и соленым молоком — жирные разводы. Это еще хуже, чем обычное подогретое молоко с «пенкой» из московского раннего детства. Пить это я не в состоянии. Только делаю вид, что прихлебываю из чашки, чтобы никто не обиделся. Потом приносят суп с лапшой, овощами и грибами. Не успеваю обрадоваться, как замечаю плавающие в супе куски баранины — опять жир. Отодвигаю тарелку, стараясь, чтобы никто не заметил. (Все мои мысли и чувства до сих пор отражаются на моем лице, как и десять, пятнадцать лет назад, — в этом смысле ничего не изменилось...) С монгольской кухней не задалось, думаю — вот и хорошо: не только похудею, но и ощущения будут ярче (я уже давно заметила, что чувство легкого голода обостряет восприятие реальности). Но за ужином понимаю, что не все так просто: барбекю по-монгольски — это когда сам выбираешь мясо (или тофу, или темпе), овощи, соус, бросаешь на огромную жаровню — круглую черную плиту — и смотришь, как повар готовит, лихо переворачивая ассорти двумя гигантскими ножами.

Танец человека с едой. Оголодавшая за день, сразу забываю о режиме «частичный пост» и накладываю двойную порцию: черт с ними, с ощущениями!

Самый лучший вид на город — с 25-го этажа гостиницы. Особенно на ночной город. На этом же этаже бар. К разочарованию Илюши именно этот день (первый понедельник каждого месяца) объявлен безалкогольным: продавать любой алкоголь строго запрещено. Правда, разочарование длится не долго: у Илюши припасена фляжка с виски. Потом, во время похода на рынок, понимаем, что борьба с алкоголем возникла не на пустом месте: среди белого дня (хотя это не точно: день, скорее, серый, свинцовый) много пьяных, в том числе и женщин. Опухшие, заплывшие жиром (как правило, монголки изящные), нечесанные, в свитерах из верблюжьей шерсти и трениках, они сидят с отрешенными лицами на деревянных ящиках и хлещут водку из пластмассовых бутылок. Зрелище не для слабонервных. Как кадр из апокалиптического футуристического фильма про зомби...

На рынке продаются вещи из кожи, кашемира, шерсти верблюдов и овец. Правда, кашемир лучше покупать в магазинах. В Монголии четыре дизайнерские фирмы занимаются исключительно кашемиром, есть специальные магазины, где продают только кашемир: натуральный, крашеный, зимний, летний — любой. Байра нахваливает качество кашемира, который не мнется и не снашивается десятилетиями — если за ним следить — и тут же подробно рассказывает о том, как надо сушить кашемир после стирки. «Смотрите, — предостерегает Байра — тот, кто хоть однажды надел кашемир, ничего другого носить уже не сможет!»

Повсюду — и на рынке, и в магазинах — продаются табакерки из драгоценных и полудрагоценных камней, из серебра и золота — некоторые стоят несколько десятков тысяч евро, но есть и более скромные — «всего» за несколько сотен. Нина Мазур рассказывает, что при знакомстве принято угощать друг друга табаком, заодно ненавязчиво демонстрируя роскошь своей табакерки. Именно табакерка обозначает статус монгольского мужчины — ими хвастаются, как на западе машинами и часами.

Еще на рынке разный антиквариат: камни, украшения, подсвечники, ножи и шпаги, монеты, причудливые музыкальные инструменты. Илюша «одалживает» с одного из прилавков варган и начинает играть. Вскоре к нему присоединяется хозяйка — молодая девушка в куртке-ветровке, и они играют дуэтом. Если эти странные, ни на что не похожие звуки можно назвать «игрой». Все люди вокруг замирают — слушают. Что-то есть завораживающее в этих звуках, в этой гипнотической музыке, которую и музыкой назвать сложно, но именно она дробит степное, пустынное время на минуты и секунды, и опять соединяет их, эта музыка сама как время, как степь, как часть тяжелого, густого от смога воздуха. Похожее ощущение возникло на открытии фестиваля, когда парень, играющий на народном инструменте, напоминающем двуструнную виолончель, вдруг запел, Илюша сказал: «Горловое пение», и я подумала что Илюша делает нечто похожее на тромбоне : «берет аккорды» — одновременно играет и поет. Потом на закрытии опять услышу горловое пение, но звуки идут даже не из горла, а откуда-то из глубины, как будто певец — чрево вещатель. В этих звуках и животные, и птицы, и завывающий ветер, и пересыпающийся песок, и застывший воздух, и что-то еще... наверное, время: особое пустынное время. Если бы у степи был голос, он был бы таким.

У многих монголов и монголок на украшениях и одежде — свастики. И на рынке они тоже продаются — разных размеров, из разных материалов. «Буддийские дела», — говорит Илюша, пожимая плечами. Но немцу Вилли, нашему знакомому актеру и режиссеру, от этого не легче. Вечером, сидя в баре, Вилли показывает Илюше фотографию, на которой они с Баясгалан — хозяйкой фестиваля, красивой сорокалетней актрисой — запечатлены в народных монгольских костюмах. На рукавах шелкового халата Вилли вышиты крупные свастики — не ошибиться и не перепутать: это именно они. «Ну как показывать эту фотографию в Германии, — сокрушается Вилли, — меня неправильно поймут...» А монголам и в голову не приходят те ассоциации, которые

сразу возникают у европейцев. Совсем другой мир. Мы привыкли к тому, что происходящее с нами — самое важное, но, оказывается, есть и параллельные вселенные, и то, что важно для нас, для других — пустой звук, и ничего тут не поделаешь...

Письменность здесь русская. Хотя прежних связей с Россией давно нет. Из молодых по-русски не говорит никто. Правда, и английский не знают. Если со старшим поколением можно объясниться по-русски, то с молодыми, студентами (а именно они приходят в театр на спектакли и, конечно же, не понимают ни слова) — только через переводчика. Большими буквами на афише написано слово «х.» — по-монгольски это означает «привет». Все сразу оживляются, как пятиклассники, обыгрывают: «передать ему привет», «он с приветом», и так далее... А я неосторожно спрашиваю у Байры: письменность русская, потому что своей у монголов не было? Байра фыркает и презрительно отрезает: «Письменность у нас была еще в IX веке! Еще до Чингисхана! Еще в те времена, когда европейцы ходили вшивые и мылись раз в год!» И начинается подробный рассказ. У монголов было даже три письменности: китайская, маньчжурская и монгольская. В конце 20-х годов Сталин все уничтожил: расстрелял буддийских священников (ответственных за обучение грамоте) и заставил население перейти на кириллицу. Так резко, с ходу, появилось одно полностью безграмотное поколение — те, кто перейти не успел, не смог. Сейчас монгольская письменность возвращается, она уже почти наравне с русской. Вдохнув и на секунду опустив глаза, Байра признается: «Я ее не знаю, нашу письменность». И добавляет с горечью: «Для таких, как я, и сохраняют пока кириллицу. Ждут, наверно, пока наше поколение вымрет, и тогда полностью перейдут на монгольскую». И сразу гордо вскидывает голову: «И правильно!»

Сталин расстрелял всех чингисхитов — прямых потомков Чингисхана (то есть монгольскую аристократию). И заставил убрать из метрик отчества. Разрубил связь между поколениями... До двадцатых годов все монголы знали свой род как минимум на 7 поколений назад — поименно. Так утверждает Байра. А потом отчества не стало, главных хранителей традиций — тоже, и память как отрезало. Она перекечевала в закрытые архивы — хранилась там за семью печатями, пылилась. (Все «эфемерные» понятия на самом деле совсем не эфемерны, а частично существуют в материальном мире. А память — в особенности.) Вспоминаю самую нелюбимую израильскими учениками (и мной), самую скучную и нудную главу Торы — ту, в которой идет перечисление всех потомков Ноя — до Авраама: кто у кого родился («...и породил Ной Шема»), и кто сколько лет прожил. Женщины не упоминаются, и даже верится в то, что на этот раз обошлось без них. Сейчас я убеждена: эта глава — одна из самых важных, потому что говорит о необходимости памяти. Может, даже специально такое нудное, длинное перечисление: скучно — не скучно, нравится — не нравится — надо помнить. Потому что отобрать у народа память — самый верный способ его контролировать. Евреи это поняли: урок усвоен. Возможно только благодаря тому, что носимся со своей памятью, как с писаной торбой (а наша память и есть «писаная торба» — буквально!) — евреи сохранились как народ. Монголы тоже это понимают. Теперь, когда архивы открыли, люди ходят туда толпами: пытаются восстановить потерянные родословные, связи...

Следующий монолог Байры резко портит настроение. Тот неловкий момент, когда узнаешь, что человек, ответственный за все эти преступления (то есть тот, кто исполнял приказы Сталина в Монголии), — еврей. Байра, конечно, не педалирует тему национальности, но кем еще может быть человек по фамилии Блюмкин? Разумеется, я знаю о том, что среди пламенных героев революции, а также среди чекистов, было много «наших», но... б..., неужели и в Монголии?! А к нам в Азии так хорошо относились, думаю с тоской. Но тут Байра завершает свой рассказ, описав, как монголы не вытерпели и учинили над Блюмкиным самосуд. Однажды его нашли у рынка — в его роскошной белой машине. С множественными пулевыми ранениями...

Байра так кроважно-красочно описывает эту сцену, что я вижу Блюмкина как наяву — в элегантном черном костюме двадцатых годов, полулежащего на заднем сиденье (водитель испугался и сбежал, а может, и участвовал — кто знает), с рукой, небрежно просунутой в окно (хотя сигарета давно выпала из пальцев), запрокинутой головой, застывшим взглядом холодных глаз и изрешеченным пулями телом, засохшей кровью на белоснежной, накрахмаленной рубашке... Заслуженное возмездие — типичный катарсис. С облегчением вздыхаю и забываю о злосчастном Блюмкине, успев только подумать, что фамилия — знакомая. Но мало ли еврейских фамилий, которые на слуху... Правда, эта — какая-то особенно смешная, и «блюм» по-шведски — цветок, а «блюмколь» — цветная капуста, поэтому полностью изжить Блюмкина из памяти не удастся... Наконец я сдаюсь, залезаю в википедию и обнаруживаю, что это *тот самый* Блюмкин. Не просто чекист, а разведчик, не только террорист, но и авантюрист, и вообще — возможный прототип Штирлица. Дожил до 29 лет, но выглядит на все сорок. Залысины над открытым лбом, взгляд человека, который уже все видел. Глаза чуть на выкате, как будто подведенные тушью, еврейские пухлые губы. Крупные, прямые черты лица. Родился в Одессе, учился в школе, которой руководил Менделе Мойхер-Сфорим — замечательный еврейский писатель, писавший на идиш... И началось — по нарастающей: электромонтер, матрос, анархист, эсер, террорист. В середине гражданской войны внезапно переходит на сторону большевиков и вступает в чека. Личный покровитель — Троцкий. Службе в Монголии предшествует участие в иранском перевороте и создание иранской коммунистической партии, подавление восстания нижнего Поволжья, издание книги о Дзержинском, работа в Закавказье, дружба с Есениным, Мариенгофом, Маяковским. Жадно читаю, особенно про сценки из жизни поэтов — оказывается, и Гумилев, и Мандельштам, и Ходасевич упоминали Блюмкина в воспоминаниях. С нетерпением жду монгольского эпизода и описания «казни». И вдруг: «В 1927 году отозван в Москву в связи с трением с монгольским руководством...» Как это?! Читаю еще раз: фраза та же... А потом — про Константинополь и Палестину, где по заданию ОГПУ Блюмкин организовал сеть резидентов, параллельно приторговывая свитками Торы, насильственно изъятыми из библиотек. И только спустя два года — донос любовницы о связи с высланным Троцким, побег со стрельбой и пальбой по улицам Москвы — чем не Бонд? Только конец другой: суд, расстрел. Сразу возникают две мысли. Первая: он мой ровесник (потому что тридцать мне будет только через несколько недель): как же много он успел за свои 29 лет! (То есть, конечно, мразь и преступник — это выносится за скобки — но меня-то сейчас переклинило оттого, что «мне-уже-почти-тридцать-а-я-ничего-не-сделала», поэтому первое, что приходит в голову: «Как же много он успел!») Вторая мысль: а как же романтический рассказ Байры про месть монголов и красивую белую машину, заляпанную кровью? Она так убедительно говорила, не возникало никаких сомнений в том, что это — исторический факт. И вдруг доходит: это просто идеальный сценарий. Для монголов. То, что должно было случиться. Фантазии возмездия — они сильнее и ярче, чем любая самая невероятная сексуальная фантазия. Они так этого хотели, что поверили. Если в фантазию верит целый народ, она сбывается — по крайней мере в памяти, в том самом месте пересечения, где народный эпос неотделим от истории.

За городом сверкает на солнце стальная сорокаметровая статуя Чингисхана верхом на коне. Согласно легенде именно в этом месте Чингисхан нашел золотую плетень — предзнаменование того, что он станет великим правителем. В «гриву» коня можно забраться и оттуда озирая окрестности: степи, голые горы с желтыми кустами и одинокими тонкими деревьями — такими чахлыми, что и деревьями их не назовешь. На фоне темно-коричневых гор и песков белеют юрты. То одинокие, а то — целый выводок (издалека юрты кажутся большими, несуразными белыми птицами). Байра рассказывает, что при рождении каждый монгол получает в подарок от государства один гектар земли: может построить дом, а может засеять поле.

— Но почему многие до сих пор живут в юртах? — интересуюсь я, — квартиры настолько дорогие? Люди такие бедные?

— Бедный — понятие относительное, — усмехается Байра. — Хочешь знать, что такое бедный монгол в понятии монгола? Не тот, кто не каждый день ест мясо. Здесь таких нет. Не тот, у кого нет квартиры. Чем юрта не жилье? И зимой тепло, и летом прохладно. Бедный монгол — это тот, у кого нет десяти овец, хороших, породистых лошадей, тот, кто не может вставить в уши жены золотые серьги с драгоценным камнем...

И Байра хохочет.

У подножья ступенек, ведущих к статуе, столпился народ — в основном монголы, туристов здесь очень мало. На земле, подогнув ноги, лежит двугорбый верблюд. А чуть поодаль, на деревянных столбиках, привязанные к жердочке за лапу, сидят и клюют носом, точнее клювом, сонные, разморенные на солнце гриф, орел и сова. При желании и за небольшую плату с ними можно сфотографироваться. Несмотря на жалость к бедным птицам, не выдерживаю: никогда раньше не видела живого грифа — он огромный, в два раза больше орла. Время от времени порывается улететь, машет крыльями, да цепь не пускает. Неохотно, но покорно переходит из рук хозяина ко мне. Перед этим хозяин грифа надевает мне на руку толстую кожаную рукавицу — когти у грифа не подточенные и весьма устрашающие. Весит гриф около двадцати килограммов, и моя рука падает вниз. Поддерживаю ее левой, но все равно не могу удержать равновесие, и хозяин приходит мне на помощь. Шурюсь на ярком солнце и странно изгибаюсь в бок, пытаюсь отстранить от грифа лицо: видеть так близко его огромный и острый клюв все же страшно. Мелькает мысль: хорошо, что я хоть в очках. Вспоминаю, что как раз недавно с двухлетним сыном «проходили грифа» в книжке «найди и покажи», в разделе «в горах», только там он свободно летал в небе над скалами. Пытаюсь улыбаться, не шуриться, смотреть в камеру, помнить о том, что небо сегодня — ярко синее с белыми разводами, как будто только что пролетели самолеты. А рядом кто-то из нашей группы фотографируется с орлом, и печально моргает из-под тяжелых, мохнатых век двугорбый верблюд.

Под конец поездки — подарок: день в горах. Точнее полдня. Юрты, где можно отдохнуть, степь да степь кругом, сурки и суетливые лемминги, и сами горы — песчано-глиняные, голые... Невысокие. На вершину можно забраться за час, чуть меньше. Дима, актер из Молдовы, так и делает, и наверху скидывает футболку — загорает. Ему 21, он — самый молодой из нас (а ведь я привыкла всегда быть самой молодой — пора отвыкать!) Потом Дима прибегает назад, очумевший от счастья. Но за степным покоем не обязательно далеко ходить. Достаточно подняться сто метров по склону — за юрты, лечь на землю, на жухлую октябрьскую траву и смотреть на небо, и на бескрайние желтые горы, и слушать тишину. Через десять минут проясняется замутненное ненужными мыслями сознание. Через двадцать — начинаешь четко понимать, что все желания — суетны, а переживания — суетливы. А если полежать час, возникнет желание навсегда порвать с «цивилизацией». Поэтому я встаю. Альвидас и Витас, наши литовские друзья, гуляют по холмам и исследуют растительность. Витас находит засохший эдельвейс — тот самый, который воспет немецкими поэтами (и не только). Альвидас дарит мне цветок, а я потом показываю его Байре. «Это остатки, — говорит Байра — вот если бы вы приехали пару месяцев назад...» С апреля по август степь цветет. И ромашки, и тюльпаны, и маки, и цветы, названия которых не знаю... По глазам Байры понимаю, что это невероятно красиво, когда цветет степь, и сразу возвращается одна из изгнанных суетливых мыслей: вернусь ли когда-нибудь? Увижу ли?..

В Монголии три традиционных национальных вида спорта: стрельба из лука, езда на лошадях и соколиная охота. Нам предлагают два из них, правда в туристическом, облегченном варианте. Первое — стрельба из лука на расстоянии 50 метров. В плоскую мишень из кожи. Я, конечно, ни разу не попадаю, но радуюсь тому, что стрела хотя

бы долетает до цели. У Илюши все еще сложнее: он — левша. Правда переученный. Но из лука может только левой. Поэтому получается, что когда тетива отдает назад, она бьет по левой руке, и когда, отстреляв весь колчан, Илюша закатывает рукав и показывает руку, я чуть не падаю в обморок: на внутренней стороне — вокруг локтя — огромное лиловое пятно...

Монгольские лошади — низкорослые, крепкие, лохматые. На этих лохматых монголы завоевали полмира. Молодые монголы — почти мальчишки — держат поводья, но идти шагом им надоедает: увидев, что мы уже уверенно держимся в седле, они переводят лошадей на легкую рысцу, почти галоп, и только мой умоляющий вопль: «Стоп! Плиз!» — заставляет их сбавить темп. Я тяжело дышу, судорожно вцепившись бедрами в седло, и знаю — останутся синяки. Илюша скачет рядом, гладит меня по руке. А мальчишки смеются. Не только надо мной, но над нами всеми, ведь даже те, кто не вопят, чуть только ускоряется шаг, выглядят на лошади как прыгающие мешки с картошкой (как выразилась Байра). Конечно, любому монголу, привыкшему лихо держаться в седле с трех-четырех лет, смешно смотреть на нас. Мы для них — неполноценные, поэтому и посмеиваются не зло, а снисходительно. Тут не то, что нет преклонения перед иностранцами и особого к ним отношения, а наоборот — еле прикрытое презрение, и даже когда речь идет о сервисе, к своим относятся гораздо лучше, как будто показывают, что и в туризме не очень-то заинтересованы: мол, это вам надо, а нам — по барабану. Другого такого гордого народа я не встречала. Покачиваясь на лошади, вспоминаю вчерашний эпизод в ресторане: подруга Баясгалан, красивая, ухоженная женщина лет сорока, в красном пальто, с элегантно каре и бриллиантовыми серьгами, заговаривает со мной на прекрасном английском. Оказывается, она уже двадцать лет замужем за американцем. Сыну — семнадцать, а живут они на два дома. Наивно спрашиваю: — А у вас разве нет американского гражданства? (Подразумевается: неужели за двадцать лет брака с американцем вам не дали гражданства?)

На ее лице брезгливое изумление, аккуратно выщипанные брови ползут вверх:

— Нет, а зачем оно мне?!

— Ну... если ездить туда-сюда... это удобно... — мямлю я.

Брови ползут еще выше, в глазах почти гнев:

— Я его не хочу!

На обед баранина, запеченная на камнях. Перед едой эти раскаленные и жирные камни надо покатаť в руках: считается, что это хорошо для пищеварения. Один из таких камней, по настоянию Илюши, мы моем и берем с собой, несмотря на мое ворчание («зачем нам этот булыжник?!») Правда, баранину мы не едим, хотя с интересом наблюдаем за процессом приготовления. В стране, где мясо — основная еда, нам с Илюшей специально готовят вегетарианские блюда — как, наверное, мы всех задолбали! Во время еды Байра толкает очередную лекцию: на этот раз про курдючный жир — «он полезен!» — и поэтому баранье мясо можно есть каждый день, и это ничуть не опасно для сосудов... Кто-то задает каверзный вопрос: какова средняя продолжительность жизни в Монголии? Оказывается, чуть больше шестидесяти... Но Байру не запутать и не запугать каверзными вопросами. «Никакого отношения к баранине это не имеет,» — отрезает она, предоставляя нам самим искать варианты «правильного ответа»...

Байру не запутать и не запугать, но обидеть — легко. На закрытии фестиваля, под горловое пение и душевно-пьяные признания в любви, Нергуй — младшая сестра Баясгалан — выпивает лишнего. Молодая, тоненькая, яркая, в обтягивающем красном платье с вырезом, она очень дружелюбна и непосредственна. О чем-то воркует с Байрой, дотрагивается до ее черного кашемирового свитера, и Байра молниеносно отодвигается, но ее лицо остается непроницаемым. Зато десять минут спустя, когда идем к машине по морозному ночному городу, Байра не выдерживает и возмущенно восклицает: «Молодежь совсем не соблюдает приличий! Вы знаете, что она мне

сказала, эта девица?» На лице Байры румянец — она тоже прилично выпила, но осанка — та же, манера держать голову — та же. «Она сказала: тетенька, какая вы миленькая. Я ей ответила: какая я тебе тетенька? Мне пятьдесят два года!» (Неужели правда?! Я думала — максимум сорок!) «А она: вы хорошо сохранились». Я не знаю, что сказать, как успокоить негодующую Байру. «Вы правда очень молодо выглядите... — бормочу — я бы ни за что не догадалась...» Но Байра меня не слушает — она кипит, клокочет. И задело ее совсем другое: фамильярность, нарушение дистанции — она этого не переваривает. Через пять минут, в микроавтобусе, она забудет про этот инцидент и вдохновенно расскажет про соколиную охоту, но сейчас — сверкает глазами, и повторяет на разные лады: «Какая наглость! "Миленькая!" Со мной так нельзя, я — княжна!!»

Последний день — свободный. Его мы проводим в музее — с Альвидасом и Витасом. Буддийские статуэтки, маски, куклы, роспись и вышивка по шелку, в том числе и золотом, бирюзой, кораллом... Само здание музея, когда-то действующий буддистский храм, довольно странно смотрится среди небоскребов, но в Монголии все такое: старинное соседствует с современным. В музейном магазинчике рассматриваем сувениры из войлока, кожи, шелка, гадальные кости и всякую всячину. В Монголии много антиквариата, особенно украшений, камней: серебро, бирюза, нефрит. Серебряное колечко с лазуритом стоит 10 долларов, и я покупаю его не задумываясь. А заодно узнаю, что коралл на моем браслете — не настоящий (и поэтому такой дешевый). Альвидас и Витас, оказывается, большие специалисты по драгоценным камням и лет пятнадцать охотятся за ними по всему миру: в каждой стране выискивают, что можно купить получше и подешевле. Витас, как всегда, говорит очень мало, почти не говорит, зато рассказы Альвидаса — как будто из сказок тысячи и одной ночи, и я, довольно равнодушная к побрякушкам, начинаю мечтать о зеленом гранате с волшебным названием цаворит, который, как убеждает Альвидас, замечательно пойдет к моим рыжеватым волосам и бледной коже.

На воротах дворца Богдасхана — монгольская письменность, та самая. Похожа на санскрит, но пишется сверху вниз, как китайские иероглифы. Дворец закрыт — выходной. Разочарованные, мы отправляемся пешком в город. Прогулка не из приятных. Шагаем, кашляя от смога — такого плотного, что его почти можно пощупать. Здесь топят углем, а Улан-Батор находится в низине. Дыму некуда подняться, и он висит над городом. Правда, Байра отрицает наличие смога. «Преувеличение: не так уж его и много, не такой уж он густой!» — заявила она, а потом упрямой и весело прибавила: «Нет у нас проблем с экологией, нет!»

Вокруг детской площадки посажены одинокие деревья — тощие, заморенные, нелепые и никчемные, как бедные родственники. Витас утверждает, что в степи деревья в принципе не могут расти. Но я опять вспоминаю Байру, которая по-своему объясняет отсутствие деревьев. «Монголы не любят копать в земле!» — заявила она пару дней назад. А потом прибавила: «Монгол не будет портить вид степи, заслонять ее, нарушать бесконечность, бескрайность... Поэтому так мало эмигрантов. Мы не можем жить без этих просторов. Вот и мне предлагали уехать в Германию, но там малюсенькие участки, и все за заборами. Как в тюрьме. Нет, монгол так не может. Мы не можем жить за забором!»

В день отлета идет мокрый снег с дождем, почти метель. За ночь резко похолодало. В шесть часов утра еще крошечная тьма, из окна машины по дороге в аэропорт монгольские просторы не разглядеть. Белеют под светом немногочисленных фонарей грязноватые комья снега, замерзают стекла машины, потеют стекла моих очков, и в этот момент представить себе рассвет почти так же невозможно, как поверить в существование бескрайней степи или в то, что это путешествие действительно было, а не приснилось...

Писатель и читатель в мире, потерявшем будущее

Литературные итоги 2016 года

В этом номере — размышления Алисы ГАНИЕВОЙ, Александра ЕВСЮКОВА, Евгения ЕРМОЛИНА, Елены ЗЕЙФЕРТ, Алёны КАРИМОВОЙ, Павла КРЮЧКОВА, Елены САФРОНОВОЙ, Давида ФЕЛЬДМАНА, Вики ЧЕМБАРЦЕВОЙ.

Мы предложили участникам заочного «круглого стола» три вопроса для обсуждения:

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Алиса Ганиева, прозаик (г.Москва)

«Общество ищет образцы и модели существования и саморепрезентации»

1. После прочтения семидесяти романов, допущенных к конкурсу «Русского Букера», мне, как и моим коллегам по жюри, было нетрудно заметить: романы этого года крутятся вокруг одних и тех же тем. Это история — личная, семейная, этническая, территориальная, — память, самоидентификация, ретроспекция, собирание вывихнутых суставов времени... Так что формулировка главной тенденции всплыла сама собой еще на летнем нашем заседании: «происхождение современности для нынешнего романиста интереснее самой современности». Так и есть, писатели с разным успехом пытаются нащупать, откуда есть пошла русская земля, еврейский народ, постсоветский человек, российская демократия, сталинизм, либерализм, интеллигенция, государство, бюрократия, национальный менталитет и т.д. Эти темы развиваются и у Сергея Лебедева в «Людах августа», и у Сергея Кузнецова в «Калейдоскопе», и у Сухбата Афлатуни в «Поклонении волхвов», и у Бориса Минаева в «Мягкой ткани», и у Александра Мелихова в «И нет им воздаяния», и у Людмилы Улицкой в «Лестнице Якова», и у Петра Алешковского в «Крепости», и, конечно, у профессионального

историка Леонида Юзефовича в «Зимней дороге», и у нескольких десятков других авторов, которых невозможно здесь всех перечислить.

Тенденция много говорит о состоянии нашего общества. Общества, которое обернулось вспять и ищет образцы и модели существования и саморепрезентации — в отработанных копиях прошлого. И при этом настоящего почти не замечает. Как будто рецепты для «сегодня» можно отыскать лишь во «вчера» — в истории ссыльных народов, лагерных опытах, революционных метаниях. Романы, вырастая из семейных фотоальбомов, тяготеют к эпичности, а их композиция — к коллажу, мемуарам, дневникам, эпистоле. И, надо сказать, не только романы. Взять хотя бы рассказы Антона Секисова, выходившие в том числе в «Дружбе народов» и собранные в сборнике «Через лес», — они тоже строятся на историях из жизни, на эпизодах памяти. Это почти болезненное обращение к памяти, наверное, говорит о нежелании, страхе, а иногда неумении окунуться в то, что происходит за окном, в нашем собственном трагикомическом времени.

2. Признаюсь, мало. Это пара рукописных вещей прозаика Ованеса Азнауряна из Армении, роман «Травля» Саши Филипенко из Белоруссии (впрочем, он, кажется, уже переехал из Минска в Москву). Пыталась читать стихи из сборника «Тамплиери» Сергея Жадана и, даже не зная украинского, подпала под их обаяние. Больше, увы, никого не вспомню.

3. Литературным критиком меня давно не назовешь, ни в какой экспертный совет по новинкам в жанрах нонфикшн я в этом году не входила, так что читала только для удовольствия. И чаще — совсем не новинки, а старые бестселлеры («Эгоистичный ген» биолога Ричарда Докинза, «Бог не велик» интеллектуала Кристофера Хитченса, автобиографии Марка Твена и Чарльза Дарвина, «Черный лебедь» экономиста Нассима Талеба, книгу Венди Каминер о подъеме иррациональности и опасностях набожности и пр.). Либо — что-то ярко прозвучавшее вроде политологической эссеистики Михаила Зыгаря («Вся королевская рать») или научпопа Аси Казанцевой («В Интернете кто-то не прав»). Перечитывала «Число неизреченного» — упоительно написанное вступление и комментарии Олега Лекманова и Михаила Свердлова к стихам Николая Олейникова. Сборник эссе Андрея Аствацатурова об американских писателях — «И не только Сэлинджер». Собираюсь приняться за «Промельк Беллы» Мессерера — только-только вышедшие мемуары об Ахмадулиной с уникальными иллюстрациями из семейного архива.

Александр Евсюков, прозаик (г. Москва)

«Настоящая проза работает медленнее, зато ныряет глубже»

1. Мой читательский год прошел без глобальных прорывов. Мне пока не встретились свежие произведения (особенно крупной формы), которые должны были бы непременно попасть в первый ряд большой русской литературы. Но интересных писателей достаточно много.

Например, недавно я открыл для себя замечательные рассказы моего сверстника Юрия Лунина.

Современная «северная проза» представляется мне очень значимым явлением:

это и Дмитрий Новиков, который как будто укрощает мощную стихию точным и ярким стилем; и Александр Бушковский, предельно лаконично и сконцентрированно вводящий нас в самую суть жизненных драм; и Владимир Софиенко, органично превнесший в северный быт воспоминания о родном Казахстане, а в реализм — элементы фантастики; и Александр Киров, автор, который сквозь настоящие боль и жестокость пронесит читателю свет; и Сергей Пупышев, все более мастерски работающий с сюжетами из своей богатейшей биографии; и Яна Жемойтелите, чьи героини и героини, оказываясь в разных эпохах, находятся в поиске искренности и любви.

Отдельно отмечу прозу, кровно связанную с событиями войны на Донбассе, постепенный переход от публицистики к более глубокому художественному постижению событий. Например, совсем недавно вышел сборник Бориса Евсеева «Казненный колокол».

Что касается жанровых векторов, то я вижу сочетание двух встречных взаимодополняющих тенденций: постепенное, трудное, но неизбежное возвращение рассказа на книжный рынок и написание больших романов с широким охватом или с серьезной претензией на такой охват. Также порадовал факт вручения основной премии «Ясная Поляна» двум повестям, а не роману, как многими ожидалось.

Главный отрицательный вектор — продолжение сокращения тиражей и повышение цен на бумажные книги. Такая «оптимизация» никак не способствует росту интереса к чтению литературы.

2. Здесь круг чтения во многом обусловлен личным общением. Отмечу Вику Чембарцеву из Молдавии с новыми главами книги «Армения. Письма с ковчега»; Илью Одегова из Казахстана с книгой «Тимур и его лето» и публикациями в толстых журналах; Артема Ляховича из Украины с повестью «Черти лысые», совсем недавно принесшей автору лауреатство на «Книгуру»; а также стихи Ивана Волосюка из Донбасса.

3. Мне сложно уверенно говорить о тенденциях: во-первых, не вполне четко очерчены границы этого «жанра», во-вторых, серьезные тенденции если уж проявляются, то обычно на продолжительное время.

Очевидно одно — читатели больше доверяют документальным или близким к документальности историям, чувствуют в них опору по сравнению с некачественным вымыслом. При этом только полнокровные художественные произведения способны по-настоящему объяснить, приблизить к пониманию мира вокруг и внутри нас. Кроме того, не стоит забывать — настоящая художественная проза почти всегда работает медленнее, зато всегда ныряет глубже.

Теперь о самых интересных и необычных книгах данного жанра. Проект «Народная книга» издательства АСТ, собравший по несколько десятков авторов «из народа» под обложкой каждого тома — это вроде бы не совсем литература, но, безусловно, хорошая встряска для нее. Опыт Дмитрия Данилова «Есть вещи поважнее футбола» поначалу кажется банальным и раздражающим, а потом вдруг завораживает и уже не отпускает. И конечно, победитель почти всех возможных премий — документальный роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога».

Евгений Ермолин, литературный критик (гг. Ярославль, Москва)

Жить сегодня

1. *Тренды.* Возможно, самая тревожная тенденция литпроцесса-2016 — коммуникативный коллапс. Прогрессирующая утрата литературой своего читателя.

Дело даже не в неутешительной статистике. Дело в том, что созданное литератором не вызывает сильного отклика, в лучшем случае — живет каким-то бликом, эфемерным резонансом в окололитературной среде. Не сшибают перья критики и публицисты, не закипают общественные дискуссии... Тихо.

Я не склонен винить в этом исключительно обывателя с его отшибленной реактивностью. Мне кажется, что часто и сам писатель совсем не сориентирован на отклик. Нет, он, конечно, не против; он согласен с тем, чтобы его издавали, покупали, читали. Он ждет знаков внимания. Но при этом не особенно стремится быть интересным кому-то, кроме себя самого. Не пытается иметь значение.

Мы говорили о постмодернизме, о новом реализме, а получаем часто оригинальный геттоизм, патологически гипертрофированную неоклассику, скорее всего эскейпистскую в своих истоках. Литератор, оторвавшись от злобы момента, освободившись от тяготения среды, завис в разряженной кастальской атмосфере, где он никому ничего не должен. Но и ему никто. И ничего. Литература становится специфической субкультурой с явно выраженной границей, определяемой некоторым уровнем того, что называется профессионализмом. Литература профи для профи. Литература людей, хорошо знающих правила, имеющих навык и сноровку.

Неудивительно, что и критика часто вырождается сегодня в поиск стилистических оплошностей, словесных ляпов; это — в тренде у такого специализированного геттоизированного сообщества, каким становится литературная среда.

Поэтому за отчетный период написано немало хороших текстов, которые за редким исключением вполне самодостаточны. Они, по сути, не нуждаются в свежем читателе. Они созданы «для вечности» или для узкого круга — экспертно-журнального, издательского, конкурсено-жюриного...

Самый популярный, бросается в глаза, способ такой аутичности — ретроспективизм. У нас, по-моему, ненормальное засилье ретроспективно-исторической прозы. Потеряв будущее, общество кинулось в прошлое, писатель не исключение. Он хочет писать о прошлом, а современность брать только в самых общих выражениях.

Писатель прикован к прошлому, как каторжник к галере. Оно не обманет. Там для литератора есть и смысл, и значительность, а в современности — где они? Даже если это значительность, купленная страданием, она существенна; или потому она и существенна, что куплена страданием. Но количество уроков, извлекаемых из прошлого, не поражает, не говоря уж об их эффективности.

Как-то от этого немного грустно. Хотя вы можете сказать, что я преувеличиваю. Ведь бывают исключения. Поиск новых форматов, новых возможностей письма продолжается даже в исторической прозе. Взять хоть впечатлившую меня заявку Алексея Иванова, манифестально представляющую его новый роман-пеплум «Тобол» (<https://snob.ru/magazine/entry/113997>). Сам роман еще в процессе, хочу дождаться второй части, чтоб говорить о нем определенной.

Кстати: вероятно, дополнительный элемент резонансности (в пределах

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

интеллигентского сознания, представленного так, чтобы актуальный читатель узнавал в герое себя) принес успех Петру Алешковскому с его «Крепостью».

С другой стороны, есть читатель у переводной прозы и эссеистики. Но это читатель с подвохом. Он эмигрирует в переводы, в инокультурные миры, чтобы не жить здесь и теперь. Франзен или Янагихара для него — это иные сферы существования, которые едва ли коммуницируют с его непосредственным актуальным жизненным опытом — в итоге почти никем почти никак не описанным.

На таком фоне без альтернативы лучшая для меня проза момента — это моя флента в фейсбуке. Это самый несомненный способ жить сегодня. Вы даже не догадываетесь, какие там шедевральные сюжеты, какая в итоге фантастическая, перманентно обновляющаяся полифония! Моя флента фейсбука-2016 не беднее, чем год и два назад. Возможно, даже богаче. В этой фленте немало и профессиональных писателей, известных прозаиков и поэтов, эссеистов, критиков, просто умных людей, эксцентриков и провокаторов. Их голоса не сливаются в хор, не звучат в унисон. Но вместе они создают среду, в которой нескучно, которая дает жизни существенную прибавку смысла.

Нюанс в том, что эту фленту знаю только я. Да, вот так устроена актуальная словесность в ее наиболее адекватном реальному читательскому спросу предложению.

Читатель-блогер сам формирует свою фленту, сам создает для себя тот литературный ландшафт, в котором живет.

2. *Заграница.* Как-то так получилось, что сильнее всего меня тонизировал в 2016 году киевлянин Александр Кабанов — постоянным присутствием во фленте и качеством поэтических импульсов, нетривиально апеллирующих к насущному опыту. Я попробовал, наконец, в минувшем году, работая над своей книжкой «Мультиверс», свести свои впечатления о стихах Кабанова воедино. И, если не возражаете, воспользуюсь поводом, чтобы предложить здесь результат.

Кабанов — поэт смыслового избытка и образной яркости. Его много. Это щедрый богач, бесцельно рассыпающий наслаждения, разбрасывающий дары. Ребенок из вечности. Изобилие плодов юга, гастрономические пиршества природы, человеческое цветение, кажется, входят в органическую рифму с его нескудеющим сочным воображением, с обильной образной продуктивностью, с раблезианским экстазом густых, но текучих смыслов в его стихах. Здесь бродит брага, заквашенная крепким и ласковым хмелем.

Мир сегодня довольно банален. Из него ушла тайна. Ушла мистика. Социум слишком обычно примитивен и скучен, директивен и демагогичен. Опыт человека тривиален, а сам человек часто скуповат на дары и подвиги. На этом фоне Кабанов торчит занозой. Он — подарок из иной реальности.

Он не ходит проторенными путями, предпочитая первозданность земных и небесных троп и бездорожий, радость блуждающего странствия. Образы его неповторимо оригинальны, причудливы и гротескны. Он стыкует неблизкие, подчас полярные контексты. Мысль толкают вперед ассоциации, часто остающиеся неразгаданными. Он недоговаривает, хотя говорит немало. Он открыт, но непонятен. Его стихия неокончательна. Кому-то это в минус, а ему в плюс.

Его продуктивность ненасильственна, непринудительна, вариативна, а не директивна. Он вне готовых правил и не прециозен. Вкус для него — это то, что горчит или сладит, но это не салонные правила и нормы.

Его ум далек от рассудочной нивелировки. Он не формирует жесткие смысловые полярности, скорее создаваемые им смыслы неидеологично прорастают, гнут синтаксис, метафорически входят друг в друга, неперестанно актуализируя и совокупляя далековатые

1. *Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?*

контексты, взаимно оплодотворяясь и плодонося, как индийский космос. «Поэзия — предательство рассудка, / Одним — жена, всем прочим проститутка».

Кажется, и звук у него семантичен, заряжен смыслом. Но это такая семантичность, которая неопишима. Ее можно только предъявить и заставить вибрировать.

У него умный юмор, легко при случае оперирующий скепсисом и иронией, но не отравленный ими. Кабановские причуды, кабановские каламбуры вмещают в себя неопишимо разновекторный потенциал отношения к реальности. Причем, возможно, автор оставляет читателю возможность определиться и скорректировать это отношение.

Он приглашает к соучастию. Его поэзия — театр, где актер — читатель/зритель, а поэт — режиссер. Но из этого перманентного фонтанирования не рождается общезначимая, нормативная, линейная логика, приемлемая для всех. Не строится иерархия. Он расширяет сознание лишь тех, кто к тому подготовлен.

Его стихи похожи на экспромты, они легко дышат, они сказались без усилия и живут без принуждения. В его мышлении отсутствует акцент на детерминизм. Наоборот, там много бродяжеской свободы, расшатанные болты, нестесненное дыхание, игра, полет, вольные плаванья.

Его мотивы иногда просты, но никогда не элементарны. Он жизнелюбив, но не без горечи. Он смел, а не робок. Шумен и ароматен. Его пантагрюэлизм учитывает и даже предполагает буйное цветение телесности, он обонятелен, осязателен, пахуч. Но стих его — это не только плоть мира, смысл этого стиха не равен телесности, бывает внезапно спиритуален, воздушен и звезден. Он эротичен, даже, если хотите, сексуален, но не пошл.

Станным образом из этого тотального хаоса рождается новая гармония. Рождается музыка, которая берет в плен и начинает звучать уже в тебе самом.

Вольное казацкое, сечевое, индейское начало претворилось у Кабанова в ткань стиха и зажило небывалой жизнью на русском языке, которым он непринужденно, без лишнего пиетета оперирует по праву и кровного, и удостоверенного радикально личным выбором родства.

Вообще он и многое еще присвоил по тому или иному праву, как это и должен сделать поэт, — и играет свою музыку, вольно цитируя и варьируя контексты. Драматические акценты южной ночи, юродивый иронизм соприсутствуют там и соучаствуют в мистерии смыслокачества, разбавленные идиллией и одой, фельетоном и чуть ли (подчас) не анекдотом.

В стихах Кабанова мало окончательных акцентов. Поэтому не так просто искать у него завершенные суждения, оттиски мировоззрения. Возможно, для Кабанова мир полон жизни, а неживого вовсе нет. В принципе стихи его — про то, что любовь сильнее смерти, а память сильнее забвения. Но и в любви у него есть смерть. А в памяти забвение. Ласки злы. Проклятья нежны. Мироздание стихийно диалектично, но часто саднит.

Кабанов — поэт не социальной темы, не биографии и не культурной среды, он поэт экспромта, а также географии и общего состояния мира.

В стихах мы не найдем подробного отчета о своем житье-бытье. Перед нами поэт без отчетливой биографии, внешней стиху. Ее присутствие в стихах смазано. Он ушел в слово, в язык — и сделал их своей судьбой.

У него есть и явный, вполне искренний лиризм, которому, было время, отказывали в правах на существование в современной поэзии. И это лиризм точечных импульсов, остро схваченных и выраженных моментов существования. Такие импульсы формируют, впрочем, не нервные вспышки и не психологическую паутину, в которой человек безвылазно застревает. Его предмет — довольно законченные переживания,

-
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
 3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

названные, правда, очень по-своему, очень лично — и не всегда поддающиеся расшифровке.

Кабанов не акцентирует отчетливую конфессиональность. Его религиозность сокровенна. Его вера наощупь. Она состоит из догадок, а не из схем. Он любит священную историю как чудесную легенду и как повод для молниеносной сшибки смыслов.

Он совершил побег и отныне-навсегда свободен, а потому абсолютно нечуток к соцзаказу. Это поэт без явного социального ангажмента, без окопа. Его непросто записать в союзники. В противники, впрочем, тоже нелегко. Он не индифферентен, но движется по какой-то касательной к общезначимому смыслу. Он политичен, но не демагогичен и чужд популизму. Вообще не монологичен, безгосударственен, анархист и, вероятно, пофигист. Он не знает ни *parteigenossen*, ни отцов-командиров. Он не сторож империи или нации.

Его география — это Киев, море, тугая струя Днепра, степь до горизонта, южная ночь, горячий ветер, вольная даль.

Состояние мира, которое предьявляет и исповедует Кабанов, — это измерение творческих метаморфоз. Фаза творческой отомобилизованности. Но это мобилизация, принимающая форму личного прорыва в небывалое.

Анастасия Ермакова назвала Кабанова трагическим шутком. А Юрий Володарский отправляет поэта в цирк... Да, что-то от высокой клоунады есть в его словоплетении. Шутовство и клоунада — средства от пафоса, от обесценившейся сугубой серьезности, от свинцовых идей.

Кто такие «Волхвы в планетарии» из названия его сборника, представляющего избранное за четверть века? Это гости, пришедшие неведомо откуда в здешний мир, попавшие в «храм науки», где все подчинено однозначной логике, упрощающей реальность так, чтобы она была насквозь понятна. Хорошо хотя бы, что это планетарий, а не крематорий. И сам он, возможно, один из этих волхвов.

Зачем они здесь? «Поэты, подобно волхвам, как и в былые времена, свидетельствуют о божественном чуде, вот только слова их нынче звучат в приземленном, технократическом антураже, где вместо подлинного неба — искусственный купол с нарисованными звездами», — рассуждает тот же Володарский.

Весть Кабанова — о том, что в основе мира загадка Сфинкса. О том, что сущее не делится на разум без остатка. О непочтительном сакруме повседневности. О непостижимом счастье и горе бытия, подаренного человеку.

В итоге Александр Кабанов удивителен. Он был и остается очень непростым, замысловатым существом, вероятным зверем или птицей, загадочным диким чудом-юдом из парнасских дебрей. Мир ловил его, но не поймал. В этом много интригующего. Эта странность заставляет им восхищаться, но не всегда и не всем дает возможность его полюбить.

3. *Нон фикшн*. Здесь я за всем явно не уследил. Мои фавориты минувшего года — книги «Вот жизнь моя. Фейсбучный роман» Сергея Чуприна, «Справа налево» Александра Иличевского, фейсбучные дневники (блоги) Андрея Ракина, Елены Кадыровой, Марины Шаповаловой, Максима Кантора, Дмитрия Лучихина, Диляры Тасбулатовой, Максима Горюнова, Андрея Десницкого и других.

Новая тенденция очевидна — нон фикшн сегодня часто вырастает из сетевого блога, еще чаще — сростается с ним.

Елена Зейферт, поэт, доктор филологических наук (г. Москва)

Резонанс эпохи

1. Читаю много — и по желанию, и по роду деятельности (работаю профессором кафедры теоретической и исторической поэтики в РГГУ, веду литературный клуб «Мир внутри слова» и мастерскую при нем).

Возможно, я оптимист, но на мой взгляд, диапазон возможностей литературы становится шире, полярнее, сущностной нехватки в отдельных гранях литературы и явных пустот в ней нет. 2016 год в первую очередь показывает полноту литературы, многообразие стилей, жанров, форм, приемов. Русская литература находится в своем зените, ни о каком ее упадке речь не идет, несмотря на то, что писателям не созданы условия оплаты их ювелирной, глубинной работы.

Мой читательский вкус с его разнообразной гаммой насыщен современной литературой. Проза от крупных и средних форм (здесь мои кумиры Александр Иличевский и Евгений Водолазкин) до короткого рассказа (к примеру, разнообразная «Антология короткого рассказа», изданная «Русским Гулливером»). Роман Александра Иличевского «Справа налево» с присущей автору метафизикой ландшафта. Точеная голая простота «Авиатора» Евгения Водолазкина. «Аппендикс» Александры Петровой с созданным в романе призраком Рима. 2016 год радостно дразнил мой интерес к метафизике метафоры, метаморфозах языка, произведениям, героем которых является язык. Метареалист Андрей Тавров издал в этом году четыре (!) книги: «Державин» (стихи), «Снежный солдат» (лирическая проза), «Поэтика разрыва» (эссе), «Нулевая строфа» (близкий к полному корпус его эссе). Все жанры — знаковые для необычной оптики и энергии зрения Таврова. А его повесть «Клуб Элвиса Пресли», с намеренно небрежной кромкой слова, остатками руды рядом с зёрнами золота (публикация в журнале «Волга»), выйдет книгой в начале 2017 года. В эссеистике мне интересен Александр Скидан с его ювелирным броском слова, многомерностью зрения, способностью оживлять в критической колбе произведения минувших дней.

Я в первую очередь страстный читатель лирики. Европейская традиция метафоры мне близка у германского поэта Яна Вагнера, с его бережным, шелковым языком. Мастер резкого поэтического дара, с пружинящей, «застенчивой» экспансией, Ян Вагнер отличается резко индивидуальным взглядом на реальность. Ни на кого не похожий автор, чья сила во внутреннем ландшафте, — Алексей Александров с его малотиражной книгой «ручной работы» 2016 года «Труба-зимы» в малотиражной авторской серии «Free Poetry». Книга стихов Ильи Семененко-Басина «Лирика для диких зверей» изумляет самодостаточностью, герметичностью, непохожестью стихов на устоявшиеся в читательской традиции. Даша Суховей со свойственным ей саморазвитием языка в малотиражной книге «Малый свет». Очень своеобразная, живая, пружинящая книга Наталии Черных «Четырнадцать». Из книг переводов открытием стала филигранная работа Алексея Прокопьева «Андреас Гриффийус. Сонеты».

Концентрация лирики интересна мне и в не лирических книгах. Экзистенциальный, пластичный дневник Ольги Балла «Упражнения в бытии». Ряд критических книг с их экспрессией. Здесь Сергей Чупринин с его «Фейсбучным романом», внутри которого словно прозрачный панорамный лифт и многочисленные лестницы от факта к факту. Валерия Пустовая и ее глубокая многослойная вещь «Великая легкость».

-
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
 3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Очерки культурного движения». Обзорная, состоящая из слепков литературного времени книга Людмилы Вязмитиновой «Тексты в периодике».

Последней в перечне заинтересовавших меня книг (точку ставить все равно придется, а перечислять хорошие книги я еще не устала) назову книгу о вечной жизни, книгу — театр памяти. Это подготовленная Борисом Кутенковым и его инициативной группой антология литературных чтений «Они ушли. Они остались», посвященная безвременно ушедшим молодым авторам.

2. Меня поразили украинские поэты в переводе Марии Галиной — Галина Крук, Катерина Калитко, Олег Коцарев, Марианна Кияновская. Здесь совпадение метафоры с реальностью, европейского и русского, пребывания и отсутствия. Сдержанной энергией, интенсивностью переживания мне интересна поэзия армянского автора Ваге Арсена, открытым поиском, месторождениями чувственных смыслов стихи латвийского автора Артура Пунте.

Один из центральных интересов моего чтения — литература российских немцев. Многие из них раньше жили в странах СНГ, а теперь, большей частью, проживают в Германии. Меня приятно удивили коллективные сборники, подготовленные к печати Артуром Розенштерном, в том числе специальный номер германского журнала «RHEIN!» с высокохудожественными произведениями немцев из России. Здесь хорошие вещи самого Артура Розенштерна, Элеоноры Гуммель, Вальдемара Вебера, Мелитты Ротт и других писателей — российских немцев. В 2016 году узнала о виртуозном, ювелирном таланте российско-немецкого переводчика Венделина Мангольда, редкий дар.

3. Одна из тенденций — стремление создать как можно более полный контент, более точный слепок явления. В качестве примера хочу назвать «Биографию театра», написанную Розой Штейнмарк и подготовленную в 2016 году к печати Международным союзом немецкой культуры. Роза работала заведующей литературной частью в Немецком драматическом театре в Темиртау и Алма-Ате, в свое время опубликовала ряд статей в российских и казахстанских СМИ об истории Немецкого театра. С 1992 по декабрь 2000 года как главный редактор и ведущая немецкой телепрограммы «Guten Abend» на Первом канале государственного телевидения Казахстана она выступила автором документальных театральных передач об актерах и режиссерах Немецкого театра. Все эти бесценные материалы были рассыпаны, но наконец собраны в книгу. Новое издание — документальный слепок жизни советского немецкого театра, построенный на свидетельствах очевидцев, фиксации зрительской рецепции, синтезе очерковой, мемуарной и дневниковой ткани.

Другая тенденция — возникновение авторского лирического нонфикшн. Такова, к примеру, книга «Возвращение в Сухуми» Гурама Одишария, вышедшая в издательстве «Культурная революция».

Кстати, в этом же издательстве появилась еще одна феноменальная книга-нонфикшн — «Клеймо» Оксаны Дворниченко, произведение, построенное на основе видеосвидетельств с бывшими военнопленными. В ней исповедальность двух десятков героев, чьи свидетельства охватывают всю Вторую мировую войну и частично послевоенное время. Запись резонанса эпохи, на ее далеком излете, дает определенный эффект не возмущения, а выпрямления восприятия. Это еще одна особенность сегодняшнего нонфикшн.

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

Алёна Каримова, поэт, переводчик (г.Казань)

«Мне гораздо интереснее литература, где есть сюжет, где есть история»

1. Вы знаете, книги я читаю небыстро, поэтому, может быть, получается с небольшим сдвигом. Например, книга Сергея Чуприна «Вот жизнь моя. Фейсбучный роман», вышедшая в 2015 году, стала для меня событием 2016-го. Или книга Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Нам в этом году на Конгрессе переводчиков в Москве сделали царский подарок — раздали участникам флешки с текстами современных авторов — я их читаю потихоньку. После совсем недавнего получения Петром Алешковским Русского Букера за роман «Крепость» — начала читать этот роман тоже, и пока нравится.

А вообще я, конечно, больше читаю поэзию, и тут трудно сказать, какое событие — ведь это, в основном, подборки в журналах. Вот читаю и перечитываю книгу Олега Чухонцева «Выходящее из... уходящее за...» (издательство ОГИ) — это какой-то новый Чухонцев, другой, но не менее прекрасный. Для меня это событие.

Так уж получилось, поскольку я принимаю участие в Программе поддержки национальных литератур народов России, то довольно много в этом году читаю национальных писателей. Там встречается разное интересное. Кстати, вот вы спросили о тенденциях, и могу сказать, что в последние пару лет, а может и раньше, появилась явная тенденция — интерес к этническому компоненту. Я думаю, и удивительный успех дебютного романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» в прошлом году был связан в первую очередь с этим. Замечательная появилась книжка Ирины Богатыревой «Кадын», совсем «свежая».

Детская литература в последнее время радует. Анастасия Строкина — ее книга «Кит плывет на север». Мне кажется, так сказать, в этом сегменте литпроцесса, вообще стало как-то повеселее, появились новые интересные авторы.

2. Стихи авторов «ближнего» зарубежья читаю регулярно, и их довольно много. А прозу... Так сразу не вспоминается даже... Сухбат Афлатуни. Начинала читать его «Поклонение волхвов» очень давно, в журнале «Октябрь», если не ошибаюсь, а недавно собрала и прочла роман целиком. Очень понравилось. Я вообще люблю прозу такого рода.

3. Я уже упоминала книги Сергея Чуприна и Леонида Юзефовича. Специально за нон-фикшн не слежу, поэтому про тенденции мне говорить сложно. На днях прочла в ФБ пост одного посетителя Книжной ярмарки «Non fiction» этого года, и его вывод абсолютно совпал с моими собственными наблюдениями: смотришь на обложки и названия книг, и такое ощущение, что авторы (и издатели) начинают все больше и больше уходить в детализацию, в какие-то сугубо частные вещи — вот не просто история жизни N, а история его недельного пребывания в городе Z с подробным описанием соответствующего географического и психологического ландшафтов. Вот не просто письма А к В, а те, в которых обсуждается С... Все это, безусловно, кому-то интересно, но мне трудно представить, чтобы это привлекло внимание широкой читательской публики. От многих людей, особенно старшего поколения, можно услышать: «Я люблю мемуары, мне интересен нонфикшн, художественная литература — меньше». Но это, мне кажется, связано с возрастом тоже, со складом характера. Мне пока гораздо интереснее читать именно художественную литературу, причем ту, где есть сюжет, где есть история.

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Павел Крючков, литературный критик (г. Москва)

«Осязание страниц еще не отменилось»

Сначала о грустном. Есть в «Википедии» такая опция: «Умершие в ...году». То есть значимые в политике, экономике, науке и культуре люди. По всему миру, на каждый день года. Списки, списки. Я туда зашел, чтобы проверить себя — не забыл ли кого из дорогих, ушедших, — ведь с этого же хотел начать, с грустного. А там просто планета теней. Мириады имен. Я побыл чуть-чуть и ушел, тяжело. Ладно, думаю, кто же сразу мне вспомнится из наших, о ком особенно саднит? Фазиль Абдулович Искандер, Новелла Николаевна Матвеева, Андрей Михайлович Турков.

В их незримом присутствии существовалось и работалось как-то полегче. И вроде бы всем за восемьдесят было, а Турков так и десятый десяток разменял. И ничего, казалось бы, неестественного в этих уходах нет. А есть. Очень даже. И это долго еще не пройдет, не успокоится. Вот как Елена Цезаревна Чуковская — два года минуло, уж и памятник на могиле сооружен, все вроде бы в прошлом. Нет — свежо и больно — для многих.

Последней премией у Новеллы Матвеевой оказалась премия Чуковского. Мне славно думать, что был я к тому причастен, что ездил тогда, год назад, в ее дачную Сходню, привозил ей всякое чтение. Захотела она как-то, помню, за Энтони Троллопа взяться, так наши музейные достали — и как же она радовалась, совсем по-детски!

А самой последней книжкой Фазиля Искандера оказались, кажется, стихи. Свои и жены, Антонины Михайловны Хлебниковой, — под одной обложкой, к золотой свадьбе.

«Снег и виноград». Море удивительных фотографий и острова удивительных слов: «Не материнским молоком, / Не разумом, не слухом, / Я вызван русским языком / Для встречи с Божьим духом. // Чтоб, выйдя из любых горнил / И не сгорев от жажды, / Я с ним по-русски говорил, / Он захотел однажды».

...И как же хорошо, что турковские книжки выходили одна за другой именно в этом, для него уже совсем новом веке! О Чехове, о Твардовском.

И особенно воспоминательные: «Что было на веку...» (2009) и «На последних верстах» (2014). Вот что нам читать-перечитывать. Спасибо «Дружбе народов» за прошлогодний июньский разговор с ним: ценнейшая беседа.

А рядом — и светло-утешающее.

Юбилей Александра Кушнера и два его «избранных» — первое — прямо вслед новейшему «Земному притяжению» — издательством журнала «Звезда» выпущенное, «за все годы». Второе — необыкновенно красивое, «ленинградско-питерское» собрание: приношение родному городу. От гения места — тому самому месту. И оформлен это изящный томик картинками из собрания Государственного Эрмитажа. Тут, верно, легендарный редактор Елена Михайловна Стрельцова постаралась.

Что до тенденций — не знаю, не разобрался еще. Вот, в прямом смысле слова дышат на ладан наши «толстые» литературные журналы, разве это не тенденция?

Некоторые говорят, что это, мол, объективный процесс.

Это *их* субъективное мнение. Осязание страниц еще не отменилось.

Впрочем, кажется, никто из нас пока не погиб — переехали в новый год, слава Богу.

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

...В год с очень неприятными — для меня — цифрами на конце всей даты.

Тут я к книгам все теснее подхожу. К удивительному и очень страшному фотоальбому (читай: монографии) «Революция и Гражданская война в России. 1917—1922 годы». Взгляд на трагические события, потрясшие наше отечество, представлен здесь с тем историческим подходом к вещам, который обычно именуется *духовным*. Это взгляд верующего человека. Такого, кто рассматривает все происходящее, думая о тайне Божьего промысла, о тайне Божьего попущения. Почитательски благодарен всем, кто причастен к этой книге, — прежде всего, ее составителям: научному редактору — Руслану Григорьевичу Гагкуеву, Василию Жановичу Цветкову — и их многочисленным коллегам, а также — сотрудникам русских и зарубежных архивов, собравшим документы и фотографии.

Надо бы, конечно, не забыть мандельштамовскую тему. Его же был год. Много издано — и журналами и издательствами. Новомирские номера у нас так просто и шли — с логотипом-портретом Осипа Эмильевича на задней обложке, от января к декабрю.

Те книги ушедшего года, что меня по-настоящему зацепили (разными путями попадали они в дом, случалось — дарились, случалось — и покупались), — я научился в течение долгого времени держать вместе, даже специальные полки им выделил.

Вот и оглядываюсь на них. По именам да названиям поведу взгляд, не всегда называя, уж простите, издательские марки.

Книги воспоминательные.

Новые, дополненные мемуары легендарного золотодобытчика Вадима Туманова («Все потерять — и вновь начать с мечты...»). Острые, чудесно переведенные Виктором Голышевым воспоминания Эллендеи Проффер «Бродский среди нас». Тихая «Книга детства», любовно созданная краеведом из Вышнего Волочка Евгением Ступкиным, тем самым, что героически написал в 2012-м о Ясеновском восстании «зеленых» (на тот его «Июль 1919...», бывший еще в рукописи, тепло отозвался Солженицын).

Тут же — героический труд Оксаны Дворниченко «Клеймо» («Культурная революция»), о судьбах советских военнопленных Второй мировой. Книга писалась двадцать лет. На клапане — отзыв Елены Чуковской.

Юбилейный том «Симонов и война». Вослед известным текстам — «из особой папки» — не публиковавшееся прежде.

В «ЖЗЛ» — заветная работа литературоведа Павла Фокина (известного, помимо прочего, своей просветительской, «вересаевской» серией «Без глянца») — об уникальном человеке и философе Александре Зиновьеве... Предсмертный труд эссеиста Самуила Лурье, посвященный писателю Л.Пантелееву («История моих сюжетов»)...

Счастливым и утешительным (от слова «тишина») чтением стала для меня в ушедшем году «Вологодская тетрадь» Дмитрия Шеварова («Древности Севера») — его признание в любви городу, на долгие годы ставшему родным. Даже не верится, что подобные книги пишутся-издаются в наше время.

Теперь филологическое. В столичном ОГИ собрали литературоведческие эссе Вадима Перельмутера, и вот он, его «Дарёный конь», с изрядным — что для меня особенно ценно — сюжетом о поэте Корнее Чуковском. А совсем недавно, в «Библиотеке для избранных» («SAM&SAM») — «Мысли разных лет» Сигизмунда Кржижановского, собранные, понятно, автором «Дарёного коня». Вспоминаю, какая

-
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
 3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

тихая была презентация у этого полукарманного, квадратного томика в Доме Лосева, с очень личностным выступлением артиста Авангарда Леонтьева.

...И хотя на титуле стоит цифра «2015», я помню, что следующая книга пришла к нам именно в прошлом году. Посему — кантаты и оды изданию Государственного литературного музея, в серии «Тарковские. Из наследия»: «Стихотворения и поэмы». Тот самый «серый» том, составленный в 1982 году самим поэтом.

Разумеется, не факсимильное переиздание, но обновленное, с заполнением всех — видимых и невидимых — цензурных брешей. Составляли и комментировали Марина Арсеньевна Тарковская и Вячеслав Михайлович Амирханян.

Несколько слов о прозе. Три истории дороги мне особо. Во-первых, два томика Бориса Екимова, выпущенных «Никсеей» («Возвращение» и «Осень в Задонье»).

Ко второму из них — предисловие-эссе упомянутого Д.Шеварова, названное «Господь испытует». Эпиграф к нему — из аксаковского письма Анне Тютчевой: «Мириться с пошлостью и подлостью нельзя, но мир души, почерпаемый из Бога, сам умудрит человека, как воевать ему с мерзостью и пошлостью, прощая людей и не оскорбляя их».

...В «Редакции Елены Шубиной», конечно, много чего вышло в тот год, но я сейчас думаю о «Авиаторе» Евгения Водолазкина (пусть и отмеченном премией «Большая книга», но кажется, по-настоящему не оцененном нашим гуманитарным «полем»; впрочем статья Виталия Каплана на страницах православного журнала «Фома» мне весьма дорога).

И о «Крепости» Петра Алешковского (также награжденной по высшему разряду, «Букером», но странно-несправедливо обруганной некоторыми просвещенными критиками). У меня есть некоторые соображения, отчего так происходит, но вослед Майе Кучерской я, пожалуй, на сей счет помолчу. Книги эти для меня действительно важны.

И с поэзией в этом году было тоже хорошо, интересно.

Вот новый, долгожданный Олег Чухонцев («Выходящее из... уходящее за...» / ОГИ), разновекторный, разнопружинный, с наплывами экспериментальных полей-дыханий, совсем не похожий на «Фифиа», и это, наверное, хорошо; читайте Артема Скворцова, как говорится. Вот — «воймеговские» урожаи: чудесные «Дни» Геннадия Русакова, тонко вылепленный «Южак» Ирины Васильковой, юбилейный Герман Власов («Девочка с обручем»), интригующие верлибры Василины Орловой («Мифическая география»), нежное «Радио скворещен» Натальи Поляковой, горячие, исповедальные монологи Ольги Шиловой («Скит»)... В «Русском Гулливере» — головокружительные этюды жительницы подмосковного Протвино Инги Кузнецовой (ее четвертая книга стихов «Откровенность деревьев») и тяжелая, симфоническая «Медленная луна» уроженца приволжского Рыбинска Максима Калинина. Это его третья книга стихов, к которой мне, кстати сказать, посчастливилось написать предисловие.

И — чтобы не уходить далеко от имени — все тот же Максим Калинин в столичном «Водолее»: «Сонеты о русских святых» — беспрецедентный для нашей поэзии опыт. Совсем не механический, не ради «формы» или «проекта». Своего рода молитвенный эпос, обжатый по годовому кругу, по дням памяти. Выбирая из жития святого какой-либо конкретный сюжет-эпизод, какую-либо «линию», автор одухотворяет ее своей личной поэтической оптикой, помноженной на усилие сердечной мышцы, — и результат, как правило, удивителен. Не могу, пользуясь случаем, не

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

поблагодарить здесь поэта, переводчика и редактора Максима Амелина. Именно он пару лет тому назад открыл мне имя и стихи своего замечательного тезки.

А еще тот же «Водолей» одарил поэтической книгой издавна чтимой мною Светланы Кековой — «Нездешним гостем». Ее классические стихи дополнены тут новыми, еще обживающимися в тревожном поэтическом воздухе стихотворениями. Вышли новые книги и у Владимира Салимона (его поистине рукотворный, и в общем-то «самиздатский» разноцветный трехтомник, с прелестными рисунками Юрия Кононенко на обложках у меня теперь в долгом чтении), и у Олега Хлебникова («Крайний»), и у Ефима Бершина («Граненый воздух»). Вот они, мои читательские праздники ушедшего года.

Очень тронула выпущенная «Алконостом» первая книжка стихотворений Екатерины Полетаевой «Клетчатый день». Думаю, что ее отец — легендарный Александр Сопровский (1953—1990) был бы доволен. Совсем незаемный голос. И талантливо.

То же и мать — Татьяна Полетаева. Таинственной, «многослойной» сказочной повестью в семнадцати главах с прологом и эпилогом, то есть «Четырьмя королями», она, кажется, завершила свой маленький «детский» эпос, очерченный на сегодня тремя книгами. Это — хорошее чтение, любому мальчику или девочке младших-средних классов с легкостью пожелаю. С королями, внештатным корреспондентом «Приморского листка» Манюней и милой Катямой, поверьте, познакомиться стоит.

Вообще говоря, издательское море вынесло на мой берег множество замечательных книг, посвященных детству, детям и написанных для детей. Тут от питерского сборника «Золотых ступенек ряд», сложенного нашей старейшей исследовательницей детлита Евгенией Оскаровной Путиловой до первой большой отечественной книги об Эдуарде Успенском «Ковчег для всех». Это пера той самой Ольги Тимофеевны Ковалевской, что создала в свое время вдохновенный труд о поэте Олеге Григорьеве, то есть «Ковчег для одного». А еще мне хочется упомянуть полюбившийся мне сборник сказок и сказов игумена Варлаама «Кампан» (издательство «Время»). Кажется, чуть ли не первый случай, когда светское издательство выпустило художественную книгу, написанную монахом...

Что же до ближнего зарубежья, то я продолжу держать палец в чернилах за тот самый журнал, в который пишу эти беглые заметки. Где еще эту литературу-то и считаешь — со всею ее *палитрой*?

И все же, на прощание, поклонюсь, пожалуй, братьям-армянам. Купил на ярмарке, не смог удержаться, знаменитую антологию — «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», составленную Валерием Брюсовым. Факсимильное издание осуществлено совместно издательствами «Лингва» и «Антарес» к столетию книги. Да еще: «издано по госзаказу». Да еще: «по решению ученого совета Ереванского государственного университета языков и социальных наук»...

Университета имени... ну, как раз — составителя. Сей фолиант я с детства помню — в оригинале. В старом шкафу, у бабушки. С расписным титулом.

Только того издания давно след простыл. И вот — пожалуйста.

Так что — спасибо. Шноракалутюн.

-
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
 3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Елена Сафронова, литературный критик, публицист (г.Рязань)

«Вектор моего чтения был направлен на литературу историческую»

1. Для литературного критика событиями становятся все книги: и те, с которыми ему довелось иметь дело как рецензенту, и те, которые он «просто» прочел. Правда, коллеги меня поймут — чтение не ради рецензирования выпадает нам не так часто. Начну с книг, которые мне довелось обозревать в уходящем году.

Безусловным событием для меня стало открытие феномена писателя Эдуарда Веркина, знакомство с комплексом его книг, по итогам чего я написала обзорную статью «Настоящие приключения Эдуарда Веркина». Веркин, конечно, не новичок в литературе: он творит уже давно, а его книга «Облачный полк» стала финалистом и лауреатом ряда престижных литературных премий. С «Облачного полка» я и начала чтение книг Веркина. И этим романом (многие читатели почему-то в отзывах окрестили «Облачный полк» повестью, не согласна — это полноценный роман, удивительно точно и художественно достоверно сочетающий правду о Великой Отечественной войне и правду характеров) настолько увлеклась, что прочитала несколько книг автора. Включая роман 2016 года «ЧЯП». Отечественная литература нынче, на мой взгляд, бедна книгами для детей и подростков и про детей и подростков, несмотря на формальное изобилие в книжных магазинах фэнтези для юношества и детских сочинений. Приглядевшись к детскому ассортименту, понимаешь: в основном это переиздания советской детской классики, книг, на которых выросло не одно поколение. Проза Эдуарда Веркина продолжает традиции лучших советских книг для детей и о детях, ибо удачно сочетает увлекательность, великолепную литературную составляющую и умелую постановку перед читателями вопросов — то вечных, гуманистических, то остросоциальных, злободневных.

Событием этого года стал для меня также роман Елены Крюковой «Солдат и Царь», лауреат ряда международных литературных премий и золотой дипломант Седьмого Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Это творческая попытка переосмысления революции 1917 года и падения монархии в России. Несмотря на многочисленные ранее созданные книги на эту тему, полностью ни раскрыть, ни объяснить, ни дать полномерную оценку грандиозному историческому событию, на пороге столетнего юбилея которого мы стоим, писатели пока еще не смогли. Роман-эпопея Крюковой, на мой взгляд, вносит щедрую лепту в литературное понимание тех исторических потрясений.

Так совпало, что вектор моего чтения в 2016 году был направлен на литературу историческую, ориентированную в прошлое, а не в настоящее. С некоторой натяжкой можно назвать историческим сочинением и «Путешествие из Конотопа в Москву. Мемуары поручика Ржевского», вышедшие в «Эксмо». Но это мистификация, а не историческое открытие, чего не скрывает автор книги, предстающий в ней как составитель и публикатор Е.Н. Элемент мистификации в этих «мемуарах» подавляет все прочие мотивы автора, и это снизило мне интерес от чтения. А вот книга Бориса Акунина «Нечеховская интеллигенция», скомпонованная из записей в его блоге «Любовь к истории», также в массе своей ретроспективных, произвела приятное впечатление серьезной, практически научно-экспериментальной попыткой определить природу интеллигенции.

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

Также среди моих «событий» 2016 года были толстожурнальные публикации: повесть Славы Сергеева «Гнев» в 1-м номере «Знамени» — снова историческая реминисценция на тему Большого террора 1937-1938 годов, повесть, породившая сочувственный отклик. Повесть Антона Ратникова «На районе» рисует картины рождения новой, капиталистической жизни в России на примере одного ее «района» — но тому, кто был очевидцем этого процесса, повесть не так любопытна.

Отмечу тенденцию уходящего года: художественной литературы, «углубленной» в историю, выходит все больше. Над этой тенденцией не властно даже сужение книжного рынка России, которое началось в кризис 2008 года и до сих пор, увы, продолжается. Значит ли сей факт, что российские писатели чувствуют настоятельную потребность осмыслить прошлое — от личного пережитого до глобальной картины? Поживем — увидим.

2. Такой цели я себе не ставила, но, пока была одним из членов жюри Международного литературного конкурса имени А.И.Куприна, я прочитала порядка пятисот рукописей. Безусловно, среди них были и произведения авторов из ближнего зарубежья. Уровень произведений, подаваемых на этот конкурс, вырос буквально на глазах: по сравнению с 2015 годом конкурсный подбор рукописей превратился в состязание профессиональных авторов. Приходится читать авторов ближнего зарубежья и в специфической сфере литературной критики: на семинар критики Союза писателей Москвы подала обзор литературы для детей обозревательница из Беларуси Наталья Медведь. Правда, в поле ее зрения в основном книги европейских писателей... Боюсь, это проявление той же тенденции, о которой я говорила в связи с прозой Веркина: в России и Беларуси для детей пишется книг и много — и мало.

3. Что касается нон-фикшна, первая и очевидная тенденция — расширение сегмента нехудожественной литературы на отечественном книжном рынке. Конечно, в торговый ассортимент входят и научно-популярные книги, и различная справочная либо просветительская литература, и травелоги. Кстати, отмечу растущую популярность направления травелога. В этом поле мне пришлось по душе книга Екатерины Рождественской «Мои случайные страны», сочетающая писательскую непосредственность с богатой фактографией и зоркой наблюдательностью. Но травелоги — это лишь составная часть многоликого нон-фикшна, причем не всегда подобная «прикладная» литература удовлетворяет цели и смыслу нон-фикшна. Мне близко определение нон-фикшна как «литературы, содержащей в себе все признаки художественности — за вычетом вымысла», данное критиком Сергеем Чуприниным. Образец такого высокохудожественного нон-фикшна для меня — «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича, «Национальный бестселлер» 2016 года и один из претендентов на «Большую книгу» этого года. В целом в нон-фикшне проявляются те же тенденции, что и в «фикшне»: для него характерна тяга к истории, к семейной саге, к выявлению некоей «связи времен». Некоторые специалисты считают, что это общемировые тренды, а не особенности только российской литературы.

Как критика меня всегда радует издание критических книг, и здесь похвалю издательскую серию «Лидеры мнений» издательства «Рипол-Классик», специально созданную «под» выпуск критических статей. На сегодня в этой серии уже четыре книги: Евгения Лесина, Льва Данилкина, Валерии Пустовой и Сергея Чуприна; как говорится, дай Бог не последние, чтобы вышли в серии и другие имена. Вероятно, издание критики — еще одно проявление интереса нашей литературы к размышлению, к осмыслению мира и своего места в нем. В декабре 2016 года вышел сборник «молодой критики» «Целились и попали», составленный Валерией Пустовой и Еленой Сафроновой. Так что к формированию текущего облика нон-фикшна ваша покорная слуга тоже руку приложила.

-
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

Давид Фельдман, литературовед (г. Москва)

«Выбор средств определен спецификой целеполагания»

1. Для меня литературные события года связаны с работой «букеровского» жюри. Современную русскую прозу давно уже не читал в таком объеме.

На мой взгляд, есть сильные романы. Если перечислять в алфавитном порядке авторов, то «Крепость» Петра Алешковского, «Крук» Анны Бердичевской, «Мальчик, идущий за дикой уткой» Ираклия Квирикадзе, «Жук золотой» Александра Купера, «Рассказы о животных» Сергея Солоуха. Все перечисленные вошли в лонг-лист «Русского Букера», есть среди них и финалисты, и победитель.

Но, к примеру, оказался за рамками роман Виктора Юнака «Мир потрясенный: Исторический фантом». А проза интересная. То же самое могу сказать о книге «Офирский скворец» Бориса Евсеева. Аналогично — «Арена XX» Леонида Гиршовича.

Подчеркну, что это — на мой взгляд. Свои, ну, скажем так, поклонники у Сухбата Афлатуни, Сергея Лебедева, Бориса Минаева и т.д. Все, кто вошли в лонг-лист и шорт-лист, вполне профессиональны. И за рамками остались тоже хорошие писатели. Впрочем, не только они.

О современных литературных тенденциях — не меня бы спрашивать. Свое мнение соотношу только с 2016 годом. Про другой период — сведений мало. Не занимался этим.

На мой взгляд, сегодняшняя тенденция — интерес к отечественной истории, стремление осмыслить закономерности, обусловившие прошлое и настоящее. Это соотносится еще и с приемами, обычно свойственными не столько историческому роману, сколько фантастике.

Парадокса тут, по-моему, нет. Выбор средств определен спецификой целеполагания.

Кроме того, вполне очевиден уклон в публицистику. Иногда даже откровенную.

Но и тут парадокса нет. Считается, что беспристрастным положено быть историографу, только это отнюдь не всегда, точнее, почти никогда не удается: вчера — позавчерашнее завтра. Ну а писатель заведомо пристрастен. Остальное — вопрос меры. Так, не вошел в лонг-лист роман Владимира Войновича «Малиновый пеликан». Сильная книга, но, по мнению большинства жюри, публицистика все же оттеснила литературу.

Наконец, заметно стремление романистов к жизнеподобию, что обычно соотносят с реалистичностью повествования. Полагаю, такой выбор тоже обусловлен спецификой постановки романной задачи. В том числе и публицистичностью. Фантастика в данном случае — прием, создающий своего рода контрапункт. Правда, не всем это удастся.

В целом, полагаю, рассуждать о деградации русского романа неуместно. Романские традиции, формировавшиеся веками, ныне вполне актуальны. Это уже не только мое мнение.

2. Что до пресловутого «ближнего зарубежья», то мои познания крайне скудны. Изучение этой литературы не входило в задачу.

Прочел лишь книгу Леонидаса Донскиса «Малая карта опыта». Перевод с

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2016 года?

литовского издан в 2016 году. Автор — философ, публицист — достаточно известен, так что мои комментарии, полагаю, излишни. Он умер в сентябре.

3. Про «жанр» нон-фикшн рассуждать профессионально не возьмусь. Расскажу про самые интересные — с моей точки зрения — книги этого года.

В алфавитном порядке авторов — монография Натальи Громовой «Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы».

На мой взгляд, чрезвычайно удачная книга. Советский литературный процесс и быт 1920—1930-х годов. Причем Громовой интересны не только «звезды», но и те, кого многие другие литературоведы попросту не замечают. Работа немалая, документальная основа весьма солидна. В общем, все как обычно — удачно. Я не беспристрастен: эта монография лично мне нужна.

Далее, соответственно, монография Олега Лекманова — «Осип Манделштам: ворованный воздух. Биография». Книга, опять же, лично мне нужная.

Ждал и прочел мемуары драматурга Семена Лунгина «Виденное наяву». Эта книга соотносима с недавним «интеллектуальным бестселлером» — воспоминаниями Лилианы Лунгиной «Подстрочник».

Интересную книгу подготовил Вадим Перельмутер. Я имею в виду сборник Сигизмунда Кржижановского «Мысли разных лет».

Наконец, Сергей Шаргунов выпустил книгу «Катаев: "Погоня за вечной весной"». Сегодня это лучшая биография Валентина Катаева. Лучше — не сделали.

Вика Чембарцева, поэт, прозаик, переводчик (г.Кишинев)

«Мы тоскуем по утраченному времени»

1. Событием 2016 года стало вручение «Русской премии» за роман «Кана» Роману Кожухарову из Молдавии, точнее из Приднестровья. И потому что соотечественник. И, в особенности, потому, что при оторванности от метрополии, несмотря на культурную и языковую резервацию, русский язык продолжает развиваться в литературе русскоязычных авторов Молдавии. Развиваться со своими особенностями, по своим законам. Этим, в принципе, и интересна любая качественная русскоязычная литература вне российского пространства — она вбирает в себя особенности среды, наполняя, расцветивая и обогащая язык, но сохраняя при этом свою аутентичность.

Очень *болела* за Сухбата Афлатуни, надеясь на победу его романа «Поклонение волхвов» в финале «Русского Букера».

С удовольствием и одновременным душевным потрясением прочла «Витюшу» Фарида Нагима в «Литературе». Произведения Фарида никогда не оставляют равнодушной, настолько точно и тонко он умеет говорить с читателем, настолько глубоко воздействует на подсознательное, общечеловеческое, близкое и понятное каждому.

Открытием стали рассказы якутского автора Анатолия Слепцова на русском и в переводах с якутского. Я думаю, у этого автора есть серьезный потенциал. Это заявка на новую, современную якутскую литературу, с которой сегодня мы, к сожалению, так мало знакомы.

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Наиболее интересные книги и новые тенденции в жанре нонфикшн.

2. В этом году в руки попал сборник современного грузинского рассказа «За хребтом Кавказа», изданный «Дружбой народов» еще в 2014 году. В книге собраны рассказы грузинских авторов журнала, опубликованные в ДН в разные годы. Часть из них удалось прочесть в свое время в самом журнале, но открытием стала повесть «Больной город» Шота Иаташвили, которого раньше знала только как поэта. Потрясает и долго не дает вернуться в реальность повесть Тамты Мелашвили «Считалка», опубликованная в этом же сборнике.

С особым удовольствием прочла «Город дырявых теней» Вадима Муратханова и «Дом на горе» Александр Эбаноидзе. Малая родина в рассказах этих авторов, несмотря на разность и географическую удаленность, предстает чем-то щемяще родным и близким читателю. Но наверное все мы тоскуем не только по месту, где родились, но более всего по утраченному времени, времени нас тех, которых уже не вернуть. Как мало нужно нам для того, чтобы *вернуться домой*, и как безмерно много в этом.

Всегда радуют новые публикации прозаика Ильи Одегова из Казахстана, Ованеса Азнауряна из Армении.

С грустью читала переводы рассказов Левона Хечояна и интервью Натальи Игруновой с ним. Если бы прочесть эти интервью раньше!.. Как читались бы прежде его рассказы, в сопоставлении с личностью автора!

3. Сложно говорить о тенденциях. Качественная документальная проза всегда интересует своей большей достоверностью. В этом смысле, думаю, жанр всегда будет востребован вдумчивым пытливым читателем.

Из того, что заинтересовало — книга Владимира Байкова «1956. Венгрия глазами очевидца» издательства «Нестор-История». Именно давность описываемых событий дает читателю возможность уловить два авторских видения: документально подкрепленные воспоминания о самих событиях изнутри происходящего, и их переосмысление автором по прошествии времени, извне. Хотя это не совсем нонфикшн.

(Окончание в следующем номере)

Плата за русскость?

Рубрику ведет Лев Аннинский

«Раньше у нас ничего не было — ни Б-га, ни архангелов и ни пророков, ничего!.. Но все было на своем месте: в небе космонавты, на земле трактористы — и никто не валял дурака и не морочил голову бабьими сказками! А тут нате: все кинулись молиться!»

Евгений Гассель. «Возвращение»

Еще из романа Гасселя:

«Еврей внедряется в чужеродную почву, как червь: традиции, святость, веками возделанный слой — что за лакомый аппетитный кусочек!.. Все по вкусу чужаку, все внятно плотоядному сердцу!.. Вот он в косоворот ке отплясывает казачка, а вот, возомнив себя славянским баяном, умиляется над березкой, — хотя кто он березке, что ему березка?!»

Достаточно? Или еще?

«— Еврей... умеет только фиглярствовать!.. Он так и останется лицедеем, шутком, пока не исторгнет из се бя эту скверну, этот загноившийся в крови племенной инстинкт!..»

Еще:

«Он переживает еврейство как родовое проклятье, прой пытается себя обмануть: бывает, всплакнет под сытопочку над родными осинами, станет бить себя в грудь и за родину разорвет рубаху!.. Но и на мигне забывает он, кто он по крови, и стоит ему заглянуть в себя, он обнаружит там только еврея!.. Стало быть, постороннего, лишнего, чуждого всему и всем!..»

И еще:

«Вот ведь угорадило родиться евреем — всю жизнь как диверсант на задании, ей Б-гу».

«Кто мы? Неужели всего лишь клоуны в дурацких колпаках, мелькнувшие на минуту в кулисах вечности?»

«Мы всегда на виду, мозолим глаза и своим еврейским задним умом действуем всем на нервы...»

Что это? Коллекция злобных поношений из антисемитского репертуара позднесоветских лет? Есть у Гасселя и такое — крупным и корявым почерком — на плакатике, брошенном его героям под ноги:

**«ЖИДЫ! КРАПИВНОЕ СЕМЯ! НАПИЛИСЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КРОВУШКИ?!
ВАЛИТЕ В СВОЮ ЖИДОВИЮ!»**

Но не это православное остервенение поражает в романе Гасселя, посвященном возвращению евреев в Израиль из ослабшей советской Державы. Юдофобские

прощальные проклятья тех лет и памятные, и понятны. Поражает другое: процитированные выше беспощадности сняты с уст самих евреев! Это они бросают друг другу оскорбительные определения, которые висят в воздухе еврейских дискуссий, окрашивая и сам воздух повествования невыносимой вонью.

Я это объясняю исходя из поразительных оговорок и проговорок. Евреи знают, что обрусели, и ждут расплаты за это обрусение. А если расплачиваться будет нечем? Тут без страдания не обойтись! Не только потому, ячто отбывая на доисторическую родину, придется оплачивать «обратный билет» уровнем бытоустройства. Дело сложнее, и тоньше, и горше, если вдумываться в такие переметывания из нации в нацию. Всякий переброс туда или сюда пропитан если не горечью, то грустью. Необъяснимой печалью. Чувством неотвратимой потери, непоправимой пустоты, невосполнимой утраты. А если неатает сил на сваетлку грусть, то и возникает — взаимно! — пошлость презрения, а то и вонь ненависти!

Вот ее-то и боится обнаружить Гассель.

Но разве только это калечит души? Разве переход в состав великой нации не дает нравственного обогащения?

Дает! Еще какое! Конечно, при условии, что вхождение в состав великой нации — добровольно. Если оно принудительно, и то реакция будет другая: непримиримая! Но если и добровольная — все-таки в ней нет однозначности. Это выбор не по крови только, а больше по неотвратимой ситуации, главное же — это выбор души, навсегда.

А если не навсегда? Душа терпит.

За величие нации надо платить. Грустью неизбежных потерь.

Очень многое получают желтые, красные и черные обитатели Америки, входя в национальный состав великой страны, провозглашенной Вашингтоном. Но перестают быть тем, чем были. А китайские племена — входя в Великоханьскую общность? А народы Индостана?

Так я о евреях... Евреи, прочно вросшие в великорусскую общность. — не обрели разве самоощущения грандиозности культуры, играющей мировую роль?

Да, обрели. И, влившись в великую русскую культуру, внесли в нее свой весомейший вклад. Который многие приняли. А многие отвергли. С болью.

Едва уловимый оттенок боли неизбежен в таких грандиозных передислокациях. Неизбежно в родословной памяти остается след беды. Что-то уходит навсегда... И у евреев, и у всех народов, вошедших в русскость. Да и русские делаются другими... многое утрачивая из достопамятной древности. И получая неизмеримо больше.

Прощальная память немыслима без грусти. И ее чувствуют, (или предчувствуют) русские евреи, решаясь перестать быть русскими.

Я думаю, что это существенное психологическое наблюдение. Великие нации строятся на самоотверженности. Они предполагают расплату за величие своих задач. И это неизбежно, как неизбежны в общечеловеческой истории великие нации, составляющиеся из многих... из многих вкладов» в мировую культуру.

Надо ли приводить великие имена?

Имена, вписанные в историю великой русской литературы и вобравшие в свое самосознание нерусские истоки? Для этого необязательно лезть в архивы и скрести родословия — потому что эти авторы свободно размышляют о своих нерусских началах и ценят их..

Вот они, имена таких непоколебимо русских писателей: И их нерусские начала.

Татаро-ордынское: Ахматова, Ахмадулина.

Татаро-крымское: Карамзин, Державин.

Абиссинское: Пушкин.

Шотландское: Лермонтов.

Турецкое: Жуковский.

Итальянское: Тютчев, Ахмадулина.

Германское: Фонвизин, Толстой, Фет, Волошин, Блок, Фадеев, Цветаева, Евтушенко.

Польское: Баратынский, Некрасов, Ходасевич, Цветаева.

Украинское: Гоголь.

Курляндское (или латышское?) Берггольц.

Грузинское: Вознесенский.

Армянское: Хлебников.

Абхазское: Искандер.

Сербское: Войнович.

Наконец, еврейское: Ходасевич, Пастернак, Мандельштам, Багрицкий, Алигер, Слуцкий, Самойлов, Гроссман...

...Пишущий по-русски прозаик Евгений Гассель — в каком списке должен обрести место?

Коренной москвич. Родился на следующий год после смерти Сталина. Окончил московский университет. Обрел научный статус психолога и философа. В начале 90-х годов переехал в Израиль. Сделался там писателем.

Роман «Возвращение» — исповедь. Сбивчивая и искренняя. В ткани — полно неизжитых «московизмов». Вплоть до грамматических «ляпов», которые должна была бы выправить издательская рука. Но при всех этих редакторских недосмотрах — ощущается талант литератора, переживающего драму душевного статуса.

Приведу последнюю цитату:

«Лестница уводила... наверх, в служебные недра помещения».

В недра — если по-нашему — это не *наверх*, это *вниз*.

А может, это не «ляп» редакторского недосмотра, а художественный перегляд «верха» и «низа», когда они меняются местами?

Грустно терять еврейство ради русскости. Грустно терять русскость ради еврейства.

Жизнь вообще грустна. Не оставляет величия без расплаты.

За величие надо платить.

За утрату величия — тоже.

Summary

Anna TUGAREVA. Inshallah. Chechen Diary

Harsh, tough novel about the tragedy of the people in exile personified in the cruel private life story of the protagonist, about love, about the taming of the wolf.

Veniamin BLAGENNIJ. In His Letters

We don't know much about Veniamin Aizenshtadt named Veniamin Blagennij (blessed) as a poet. Still less — about him as a person. Poems? Subtle scraps of biography? His letters written to Grigorij Korin, Elena Makarova, Inna Lisnyanskaya and Semen Lipkin at different times are slightly opening to us various facets of personality and image of this strange and not enough read poet.

Poetry

Piercing and ingenuous poems by the gifted poet from Volgograd Vladimir Vasilyev who passed away last January have something in common with the lyrics by Vladimir Salimon. Not only in their poetry but in the real life too they were friends.

Andrej RUSAKOV. The Country of Various Speeds

«It's the success in the formation of practices and standards of intersupporting development of various ways of life that may determine the place of Russia in the world tomorrow... Neither oil nor spiritual life, neither economy nor technology or geopolitics but those social practices significant for the whole world may become the main contributions of Russia into the XXI century», -- believes the author of this conceptual article.

Yourij KAGRAMANOV. They No Longer Dance on the Place of Bastille

Culturologist Y. Kagramanov is investigating: what do French historians think about the French Revolution which not so long ago used to be called «Great» and what public opinion is now being formed in the West, in France in particular, on this question?

Traditional DN's Yearly Round-Table Discussion by Correspondence

Appraisals of the literary year are just contrary. From «2016 was a happy and intensive readers' year» to «The harvest of the home prose is modest, especially in comparison with 2015». The experts' opinion on the tendencies is practically unanimous: the conservative turn is taking place in the social and cultural life, History is dominating in the fiction.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhiba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Верстка Елены ЖИРНОВОЙ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»